

# СОВРЕМЕННОИИК



SOVREMENNIIK

NO. 43-44

ТОРОНТО

# СОВРЕМЕННОК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ



Благодарю Тебя, Творец, благодарю,  
Что мы не скованы лжеудростию узкой,  
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.  
Что пламенем одним с Россией я горю.

*Аполлон Майков*

1979

№ 43 — 44

1979

---

Торонто

Канада

# СОВРЕМЕННОК

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ

в 1960 г.

Главный Редактор с 1963 по 1975 гг. – В.Л.Савин.  
Главный Редактор с 1975 по 1979 гг. – Л.Е.Фабрициус.

Журнал издает Редакционная коллегия

Главный Редактор – А.Г. Гидони  
Ответственный Секретарь – Г.А. Румянцева

**Subscription prices:**

For institutions – \$30.00

Individual subscriptions – \$20.00 for 4 issues.

Senior citizens – \$15.00 per year.

Single copy – from \$7.00 to \$10.00

*Copyright © 1979 by The 'Sovremennik' Publishing Ass'n Inc.*

Sovremennik Publishing Ass'n Inc.

SOVREMENNİK  
P.O. Box 2217, Station 'C'  
Downsview, Ontario  
CANADA M3N 2S9

# Sovremennik

## CONTENTS

Contents in English.....	3
Summary.....	5
Appeal to the readers on occasion of the twentieth anniversary of founding of <i>Sovremennik</i> .....	6

### *Creative Prose, Esseys, Criticism, Poetry and Translations*

Lev Fabricius, Passion for Mike. Novel.....	8
N. Voeykov. Montreal night. Poem.....	20
A. Guidoni. Joseph and his non-brothers. Novel.....	21
M. Volkova. Two poems.....	54
M. Gendlin. The executed fifty years.....	56
G. Panin. Acrostic.....	67
A. Udodov. The wonderful Sweden.....	68
J. Burkin. Two poems.....	72
G. Rumiantseva. Autumn poems.....	74
E. Vertlib. From Gogol to Hegel, or Dead Souls in Stepanchikovo Village by Dostoyevskiy.....	77
G. Ryskin. From 'Diary from communal quarters'. Poems.....	86
V. Kazakov. Poem.....	88
N. Avseenko. Women's images in Solzhenitsyn's novel <i>In the first circle</i> .....	89
S. Petrunis. Poems. Notes by A. Gindin.....	97
Ivan S-kiy. The roads you cannot by-pass.....	99
S. Tol. Two poems.....	104
K. Akula. <i>Sovremennik</i> . Its alleged sins or plot against it?.....	105
A. Rostovskiy. Two poems.....	111
V. Zukerman. Literary Odessa today. Creative work of Arkadiy Lvov.....	112
A. Shelvakh. Two poems.....	118
V. Seduro. Play of triumphant success.....	120

### *Historiography and Philosophy*

P. Boldyrev. Dictatorship of the masses and the fate of Russian culture.....	131
I. Gennadiy (Eykalovitch). What is knowledge?.....	153

A. Guidoni. Spanish Republic of 1873 as portrayed by Russian press	162
E. Karmazin. Lacquering of Israel's history .....	177

### *The Literary Heritage*

V. Pereleshin. Russian poets of Harbin .....	181
A. Dynnik. A.S. Griboyedov .....	185
E. Kuleshov. About symbolics and ending in the satire of Saltykov-Shchedrin's <i>History of one town</i> .....	190

### *Forum*

D. Panin. Rebuttal to Solzhenitsyn .....	199
K. Akula. Maximov deliberates. ....	204
Editor's notes. Clowning and principles.....	208
V. Kalnynsh. The so-called re-establishing of the Soviet regime in Baltic states.....	213
A. Druzhinin. Two jubilees of Yanus (Stalin and Trotsky).....	220
V. Rudinskiy. Alleged and real provocation .....	228
The Editor's correspondence .....	232
M. Armalinskiy. Sexual counterrevolution in the US .....	238
E. Karmazin. Look back in anger, <i>Russkaya Mysl</i> .....	247
A. Udodov. The Soviet- China war .....	251
Chronicle -.....	257

### *Bibliography*

K. Akula, O. Bukov, George Guidoni, I. Gennadiy. E. Karmazin, V. Rudinskiy .....	258 – 280
---	-----------

### *Supplement*

Letter to <i>Russkaya Mysl</i> .....	281
<i>The official announcement of the organizing committee For the Russian Nation State (Russia without colonies) .....</i>	285
Advertisements .....	288
Contents in Russian .....	291

## S U M M A R Y

The current issue of *Sovremennik* introduces the first chapters of two new works. In his novel *Joseph and his non-brothers*, Alexander Guidoni pictures the last years of Stalin's reign, intrigues within his inner circle, and particularly a possible coup against his master contemplated by secret police chief Beria. Lev Fabricius bases the plot of his novel *Passion for Mike* on Canadian reality.

*Sovremennik* continues its line of strengthening ties between Russian writers and representatives of brotherly Slavic literatures, primarily Ukrainian and Byelorussian writers. The present issue of our magazine reaffirms this policy. Well-known Byelorussian writer Kas-tus Akula contributes two articles: *Sovremennik. Its alleged sins or plot against it?* and *Maximov deliberates...* The first article unmasks the scheming of the chauvinists against *Sovremennik* caused by the magazine's support of captive nations' struggle against the Soviet colonialism. In his second article Akula argues against an awkward political Utopia of Vladimir Maximov, editor of Paris-based Russian-language magazine *Continent*.

*Sovremennik* also publishes one Ukrainian critic who devotes his attention to the book of memoirs of popular Ukrainian writer Ulas Samchuk. The reprint of an article by Latvian historian V. Kalnynsh (taken from New York magazine *Facts and Ideas*) informs us about the Soviet aggression against the Baltic countries in 1939-40.

In the column *Historiography and philosophy* we find Peter Bol-dyrev's very interesting article *Dictatorship of the masses and the fate of Russian culture*; conclusion of Igumen Gennadiy (Eykalovich's) article *What is knowledge?*; polemical article by E. Karmazin *Lacque-riug of Israel's history*, and A. Guidoni's article *Spanish Republic of 1873 as portrayed by Russian press*.

Noted are the contributions by professors of American universi-ties. E. Kuleshova dwells on the subject of Saltykov Shchedrin, A. Dynnik - on Griboyedov, Nina Avseenko analyzes creative works of Solzhenitsyn, Valentin Zukerman writes about works of Arkadiy Lvov.

The issue presents the poems of the following poets: M. Volkova, G. Panin, A. Rostovskiy, G. Riskin, S. Petrunis, G. Rumiantseva, S. Tol and others.

In *Bibliography* we find K. Akula, Oleg Bukov, George Guidoni, Igumen Gennadiy (Eykalovich), Evgeniy Karmazin, Vladimir Rudins-kiy.

Considerable space is occupied by *Forum*, with contributions from Dimitriy Panin, Vladimir Rudinskiy, Alexander Udodov and others.

In response to two centennial jubilees (birth of Stalin and Trotsky) Andrey Druzhinin devotes his feature piece entitled *Two jubilees of Yanus (Stalin and Trotsky)*.

## К ЧИТАТЕЛЯМ "СОВРЕМЕННОКА"

Журнал "Современник" приближается к своему двадцатилетию. Это немалый для эмигрантских условий срок существования. Основанный в 1960 году, журнал проделал интересный путь развития, внося свой посильный вклад в русскую литературу Зарубежья.

За последние годы особенно четко определилась позиция нашего журнала, стремящегося продолжать в новых исторических условиях традиции русской журналистики, заложенные Пушкиным, Гоголем, Некрасовым и другими выдающимися людьми, стоявшими в основании знаменитого "Современника" прошлого века. Журнал стремится быть независимым и демократическим по духу, руководствуясь в литературном плане прежде всего эстетическими критериями, а в социально-политическом аспекте — идеями защиты свободы, общественного прогресса, а также принципами борьбы против коммунизма и всяческих форм угнетения личности.

"Современник", следуя гуманистическому пафосу русской литературы и подлинно национальной мысли, занял также твердую позицию содействия национально-освободительной борьбе всех народов, поработанных коммунизмом. В первую очередь, естественно, мы поддерживаем освободительные стремления украинцев, белорусов, прибалтийцев, кавказских и среднеазиатских народов, насильственно включенных в сферу советской империи, а также народов восточно-европейских стран. Мы считаем, что будущая Россия не должна быть колониальным государством. Величие России — не в империи, а в ее освобождении от коммунизма. Этой задаче должны быть подчинены усилия всех друзей дела свободы, как русских, так и нерусских.

Независимая позиция журнала "Современник" привела к тому, что против нашего журнала сложился блок великодержавных шовинистов и всякого рода нечистоплотных политиканов. Используя национальные предрассудки, нас обвиняют (не заботясь о логике) то в "руссофобии", то в "антисемитизме", то, наоборот, в "просионизме" и в прочих смертных грехах. Многие органы русской эмигрантской прессы систематически клеветают на нас или пытаются подвергнуть бойкоту.

Такова — в сложных условиях нашего времени — расплата за стремление соединить дело русского патриотизма с принципами свободы и гуманистической мысли. И мы бесконечно благодарны тем нашим друзьям, читателям и авторам, которые, несмотря на клевету против "Современника", правильно понимают смысл наших усилий, направленных на то, чтобы расширить, а не сузить понятие о Русской Идее, чтобы обеспечить условия, когда само имя России будет связываться не с представлением о депотизме, рабстве и национальной нетерпимости, а, напротив, с понятиями демократии, гуманизма и толерантности.

Мы призываем всех истинных демократов и друзей русской литературы к поддержке журнала "Современник". Условия издания журнала в эмиграции очень сложны. Несмотря на рост числа наших подписчиков, мы заинтересованы в дальнейшем увеличении подписки на наш журнал. Мы просим также всех, имеющих возможность помочь деньгами "Современнику", сделать это, прислав по нашему адресу чеки или мани-ордера. Средства от этих пожертвований пойдут на укрепление технической базы журнала и будут, в конечном итоге, содействовать развитию русской культуры За-рубежья.

*РЕДАКЦИЯ "СОВРЕМЕННОКА"*



ЛЕВ ФАБРИЦИУС

## СТРАСТИ ПО МАЙКУ

### П о в е с т ь

Столб, как столб – старый, весь в трещинах, будто старческое лицо в морщинах. Но простоит он еще долго. Снизу он покрашен белой краской с двумя красными полосами. Издалека видно, что это автобусная остановка. Он такой толстый, что за него можно от дождя прятаться – неважное прикрытие, но все-таки... Надо только посмотреть, откуда ветер дует, а тогда зайти за столб. На этой остановке, кроме Майка, почти никто никогда не садится и не сходит.

А Майка здесь видно каждое утро – иногда и в субботу, иной раз и в воскресенье – это в том случае, если на складе много запасных частей накопилось и за неделю нельзя было управиться.

Летом это ничего, а вот осенью или ранней весной, когда идет мокрый снег или хлещет косой дождь, стоять на остановке невесело. Обычно, когда автобус подкатывает к тротуару, Майк влезает, обменивается несколькими словами с кондуктором и садится.

Народу еще немного, всегда можно усесться, а вот дальше, два-три квартала спустя, дело другое – в автобус садятся целыми кучами итальянцы, работающие на стройке. Сразу начинает пахнуть чесноком. Итальянцы говорят громко, быстро; каждый старается перекричать других. Кажется, что вот-вот начнется драка и свалка. Но Майк привык и на галдеж не обращает внимания. Поездки на "Ватиканском экспрессе" стали для него обычным делом. А итальянцы должны кричать и размахивать руками – иначе они друг друга не поймут.

Через сорок минут автобус останавливается. Майк вылезает, с наслаждением втягивает в себя свежий воздух и идет к воротам. В маленьком домике, где круглые сутки сидит охрана склада, отбивают на контрольных часах свои карточки служащие. Кроме контрольной будки, на всем плацу два больших здания: громадный гараж и такой же громадный склад, где Майк работает. В гараже более пятидесяти человек, всё больше автомеханики, а на складе, не считая самого Майка, всего трое: заведующий складом Билл и двое рабочих – лысый и толстый Дик Нолан, по прозвищу "Кэрли" и Сэм Кросски – еще молодой, но уже совсем спившийся. У

него в шкафчике, в раздевалке, всегда бутылка виски, а когда он приходит в понедельник утром на работу, то у него руки трясутся. К обеду, после нескольких глотков из бутылки, спрятанной в шкафу, он в состоянии работать, но до того от Сэма пользы немного. Он два раза сидел в тюрьме – первый раз за драку, второй – за кражу. Билл много раз предупреждал, что выкинет его за прогулы, но это не помогает: Сэм клянется, что что больше не будет и через несколько дней его опять нет. – Снова пьянствует, – говорит Билл. Ему и жалко Сэма, и не хочется связываться. Билл скоро уходит на пенсию, как-нибудь он дотерпит и с Сэмом. Да и куда Сэму деваться – у него жена и сынишка. Жена служит, и на ней вся семья держится.

Майк переодевается в синий ковералл и идет на склад. Вместе с ним шагают и "Кэрли" с Сэмом. Кэрли отпирает дверь, ведущую на погрузочную рампу. Если на дворе тепло и погода хорошая, то он обыкновенно поднимает дверь – все-таки свежий воздух, а если холодно, то она так и остается спущенной.

Склад громаден: в нем можно было бы развезжать на автомобиле, не будь он весь загроможден. В нем можно найти подходящий мотор для любой машины всех американских фирм, а если понадобится, то и десять таких же моторов. При желании, из запасных частей, сложенных здесь, можно составить несколько десятков автомобилей – считается, что на складе хранится частей на сумму более двух миллионов долларов.

За свою работу Майк получает девяносто шесть долларов в неделю: после всех вычетов остается около семидесяти пяти. Не Бог знает что, но прожить можно.

Много ему и не надо. Живет он в маленькой комнатухе с такой же крохотной кухней и платит за нее двадцать долларов в неделю. Сам готовит; после обеда целый вечер сидит перед телевизором и пьет пиво.

Когда его жена в один прекрасный, а, может быть, и совсем не прекрасный день, взяла их трехлетнюю дочку и куда-то уехала, Майк даже и телевизором перестал интересоваться; лежал целыми вечерами на кровати, пил пиво и о чем-то думал. Думанье не помогало, жена не вернулась. Майк переменил квартиру на комнатуху с кухней. Зачем одинокому человеку целая квартира, да еще с воспоминаниями?

В Америке и Канаде – миллионы Майков, серых, незаметных и никому не нужных, даже самим себе. Впрочем, где их нет? От незаметного человека до неудачника всего один шаг. По мнению Майка, он родился неудачником. С этим ничего поделать нельзя, это так же неизменно, как родиться горбатым. Борьба с этим невозможно, а сам человек тут не при чем.

Такая философия помогала Майку, снимая с него чувство ответственности. Чем же он, Майк, виноват, если родился неудачником? Зачем же стараться что-то сделать или чего-то достичь, если все обречено на неудачу заранее?

Началось неудачничество Майка с того самого дня, когда он решил бросить школу и поступить в магазин продавцом. Двадцать пять долларов

в неделю — это было заманчиво. На карманные расходы отец давал два доллара, а тут — двадцать пять, и никому никакого отчета. Трать, как хочешь. Можно пофинтить перед бывшими товарищами: я, дескать, при деньгах, а вы что?.. Конечно, эти старые дураки — мать с отцом, были против, но что они понимают?.. Да и что может дать школа Майку? Потерять еще три года, только для того, чтобы получить какую-то бумажку?..

В магазине Майк проработал два месяца. Выставили его за постоянные опоздания. В следующие три года Майк сменил мест десять и нигде не задержался. Начиналось всегда очень хорошо: Майк принимался за работу с усердием и работал так недели три или четыре, после чего всё ему надоедало. Он начинал опаздывать; хозяин или заведующий магазином начинали удивляться. Через неделю ему делали первое замечание, потом второе. Еще через месяц, вручая ему конверт с недельной зарплатой, ему сообщали, что магазин в нем больше не нуждается. Через несколько дней Майк находил новую работу, и та же история повторялась...

Спустя три года Майк поселился отдельно от родителей — старики ему надоели, особенно отец. Какое тому дело, если сын поздно домой приходит? Майк — человек взрослый... Потом эти вечные рассказы о войне. Подумаешь, как интересно!.. Какой-то "Монти" в дурацком берете, да что он сказал, да что он сделал!.. Как ему "Монти" орден вручал. Страшно интересно!..

Связь с родителями вскоре почти совсем порвалась. Мать несколько раз просила Майка навещать их, но сын всё отнекивался. Потом Майк уехал в Виндзор и о родителях совсем перестал думать. Напомнила о них полиция, сообщившая об их смерти — оба погибли во время автомобильной катастрофы. Мать была убита сразу, а тяжело раненый отец вскоре скончался в госпитале. Розыски Майка заняли несколько дней, и на похороны он уже не попал. Просто съездил на кладбище, постоял перед могилой. На ней лежал небольшой венок от соседей, уже увядающий. Ветер столкнул венки с могилы. Майк положил его на еще не осевший бугорок, вздохнул и пошел к своему автомобилю.

\* \* \*

Несколько тысяч долларов, выплаченных Майку страховым обществом по случаю смерти отца, пришлось очень кстати, как, впрочем, и родительская квартира, где он поселился. Он купил новый автомобиль. Можно, конечно, было ездить и на старом, но зачем отказывать себе в удовольствии? Да и странно, если богатый человек, каким считал себя Майк, ни с того, ни с сего будет раскатывать на каком-то драндулете! Точно так же было бы странно, если б за рулем новенького автомобиля сидел оборванец — пришлось приодеться...

Надо было подумать о работе и Майк начал искать ее. Впрочем, можно было заработать деньги более приятным способом, чем пятидневное вкалывание в магазине или на складе. Существовал ипподром — там и решил Майк попытать счастья. Решение странное, если принять во внима-

ние, что Майк считал себя неудачником. Может быть, он полагал, что полоса невезения кончилась и ему улыбнется удача. Два или три раза он выиграл — не так уж много, но, во всяком случае, больше, чем он мог заработать в магазине за неделю. Это окрылило Майка. — Если ставка в пять долларов приносит мне пятьдесят, то пятьдесят долларов дадут мне пятьсот, — решил он, и на следующий день рискнул. Домой он вернулся с проигрышем в двести долларов.

Надо было отыграться — это повело к новым проигрышам.

\* \* \*

Встреча с Рози явилась несомненной удачей в жизни Майка. Произошла она в большом магазине, где Рози работала продавщицей.

Рози не была сложной или загадочной женщиной — простая канадская девушка, мечтавшая выйти замуж, иметь семью и мужа, на которого можно во всем положиться. Пусть он считает себя главой семьи, пусть даже изредка немного и попивает — только бы работал. Пределом мечтаний Рози был собственный дом.

Вскоре они поженились. Майк нашел работу в том же магазине, где работала Рози; в ближайшем банке они открыли общий счет и каждую пятницу после получки вносили на него около трети своего заработка.

Постепенно Майк стал находить, что жизнь вовсе не так уж плоха, как ему представлялось. Он любил Рози и она отвечала ему тем же. Ее предложение копить деньги на дом, к которому он сначала отнесся скептически, начало казаться вполне дельным. В целом Рози трезво смотрела на жизнь — это импонировало Майку.

— Почему бы тебе не пойти на какие-нибудь курсы? — спросила она однажды. — Учился ты неплохо, мог бы и снова начать... — К чему мне это? — возразил Майк. — Среднее образование ничего не даст, на высшее у нас денег нет. Лучше уж я буду матрацы на складе укладывать... — Вот этого я не хочу, — сказала Рози. — Получи специальность — будешь больше зарабатывать, чем на своих матрацах. Ты сегодня в метро видел плакат курсов бухгалтерии? — Нет, — ответил Майк, — никаких плакатов я не читал. — А я читала и сразу подумала о тебе. Учиться всего год, два раза в неделю по вечерам. И не заметишь, как курс закончишь...

\* \* \*

Майк поупрямился немного для вида и согласился.

Аккуратно два раза в неделю по вечерам он стал уходить из дому — чисто одетый, в белой рубашке, с тщательно повязанным галстуком. Выпроводив мужа, Рози принималась за нескончаемую работу по дому: стирать белье, штопать износившиеся мужнины носки, убирать кухню. Работа не мешала ей мечтать: Майк кончит курс, будет зарабатывать больше, они накопят денег, купят дом, дети будут...

Последний пункт программы был проведен в жизнь раньше других — Рози стала чувствовать себя слабой по утрам, иногда это сопровождалось

тошнотой. Доктор подтвердил предположения молодой женщины. Вы совершенно здоровы, это – беременность, – улыбаясь, сказал врач.

\* \* \*

Майк был очень счастлив. После рождения маленькой Розы, как называл он появившуюся на свет дочку, он почувствовал себя полноценным человеком. Именно он и никто другой, должен заботиться о "девочках" – большой и маленькой Розы. Жена долгое время после родов все еще чувствовала себя слабой и не могла работать. Бюро труда, правда, продолжало платить ей еженедельное вспомоществование, но это было вдвое меньше того, что она зарабатывала. Майк взял подсобную работу на ближайшей заправочной станции. Теперь его не бывало дома и по уикэндам. Он похудел, чувствовал себя все время усталым, и все-таки был счастлив.

Так прошел год. Розы теперь уже бегала по всей квартире и отчетливо выговаривала "мама" и "мимми", что должно было значить "Джимми" – имя бездомного рыжего кота, пришедшего неизвестно откуда и ставшего четвертым членом семьи.

Судьба, преследовавшая Майка, казалось забыла о нем. И все же она преподнесла ему свой новый сюрприз.

В пятницу, перед обеденным перерывом, заведующий складом, вручая Майку конверт с недельной платой, сказал: "У нас стало меньше работы, вы, наверно, и сами замечаете. Директор приказал мне уволить двух служащих. Вы и Джонс самые последние, поступившие сюда на работу. Как мне ни жалко, но, вы сами понимаете... – Заведующий сочувствующе пожал плечами и отошел от Майка.

После этого щелчки посыпались на голову Майка градом. Всё, за что он ни брался, не удавалось или выскальзывало из рук. Не помог и диплом бухгалтерских курсов: всюду предпочитали кандидатов с опытом в этой отрасли, а какой же опыт мог быть у только что окончившего курс Майка? – Не звоните нам, мы сами вам позвоним... – канадская формулировка отказа ищущему работу. Этот вежливый отказ Майку пришлось слышать много, много раз...

Испортился мотор в автомобиле и на ремонт пришлось взять из еще оставшихся в банке сбережений...

\* \* \*

С вечера Майк отчеркивал в газете, в отделе объявлений, предложения работы, не казавшиеся слишком безнадежными, и утром отправлялся по этим адресам. Как-то раз, возвращаясь домой в жаркий летний день, Майк зашел в пивную на кружку пива и сделал интересное открытие: пиво стоило ровно столько же, сколько билет на трамвай или метро. Отсюда последовало логическое заключение: если в поисках работы не ездить на трамвае, а ходить пешком, то у него каждый день останется на две, а то и на три кружки пива. Он этим никого не обманывает. Эти деньги он все равно истратил бы на трамвай, а если он их тратит на пиво, то...

Вскоре это вошло в привычку. Выпьешь две-три кружки, становится веселее, перестаешь думать о всех этих неприятностях...

Окончательно добила Майка встреча с бывшим одноклассником – событие незначительное, но подействовавшее на него глубоко и разрушающе.

Идя по улице, Майк заметил рыжеволосого высокого господина. Что-то в фигуре этого человека показалось ему знакомым. Рыжеволосый подошел к автомобилю, стоящему у тротуара, и оглянулся, словно отвечая на пристальный взгляд Майка. – Рэд! – окликнул его Майк. Да, это в самом деле, был Рэд – одноклассник Майка, с которым он когда-то дружил, а подчас и дрался (его прозвали Рэдом за темно-рыжую шевелюру). Майк не встречался с ним за все эти годы, но мельком слышал, что тот приобретает известность как выдающийся психиатр.

– Рэд! – повторил Майк, подходя к остановившемуся у автомобиля. – Ты разве не узнаешь меня, Рэд? Я – Майк Бэллоу. – Оценивающий взгляд скользнул по лицу и фигуре Майка. Неаккуратно выбрит, одет чисто, но бедно, поношенные ботинки... – Простите, мистер Бэллоу, меня ждут, – смотря в сторону, сказал Рэд, садясь в автомобиль.

\* \* \*

Майк всё чаще засиживался в пивной и приходил домой позже. Роза стала молчаливой и больше не смеялась. Она не упрекала мужа ни в чем, но и не разговаривала с ним, как раньше. Майк понимал, что ей тяжело и это почему-то его злило. – Не говорит, но думает... Думает, что я виноват, а я-то при чем?.. Не могу найти работу, но ведь я ишу ее... Ребенка тоже от меня отучает, совсем девочка ко мне не идет. А раньше...

\* \* \*

– Да, ваш муж снял на этой неделе триста долларов, миссис Бэллоу, – вежливо сказал клерк (банковские служащие всегда убийственно вежливы). – Сегодня вы положили на ваш счет двадцать. В итоге на нем – восемьдесят долларов и тридцать девять центов. – Да, я совсем забыла, что муж хотел взять деньги на что-то. – Роза улыбалась. Люди часто улыбаются, когда им больно. Большие глаза смотрели невидяще мимо клерка. – Благодарю вас, – сказала она тихо...

Ждала ли Роза в тот вечер Майка или нет, – сказать трудно, тем более, что и сам Майк вечером в пятницу домой не вернулся. Не вернулся он и в субботу.

– Она, наверно, в церковь с девочкой пошла, – думал Майк в воскресенье утром, отпирая квартиру. Он прошел через гостиную в кухню...

В кухне на столе лежала записка от Розы.

\* \* \*

Об этом Майк редко вспоминает и никогда со своими сослуживцами не говорит, а те его не спрашивают. Это хорошая черта канадцев – не лезть в чужие дела. К работе же Майк привык и считается хорошим слу-

жащим.

Он стал скуповатым. Хоть с его жалованья много не сэкономишь, но после каждой полочки он кладет хотя бы несколько долларов в банк. На что он копит – трудно сказать. Так, на всякий случай.

На женщин Майку особенно жалко тратиться. Каждый раз после ночных любовных походов он недовольно ворчит и подсчитывает в уме, во сколько ему это удовольствие обошлось. Но бороться с природой трудно: Майк еще сравнительно молод – в тридцать пять лет жить отшельником нелегко.

С Кэрли и Сэмом Майк уживается, да и поводов для ссор у них нет. Конечно, когда Сэм запивает, а работы много, они с Кэрли поминают Сэма нехорошими словами, но вообще – черт с ним!..

С Биллом у Майка отношения хорошие. Билл его ценит. На Майка можно положиться. Не заметно, чтобы он подворовывал, а на складе есть что красть. Поэтому, когда надо поработать в субботу, а то и в воскресенье, Билл поручает это Майку. Майк не протестует – сверхурочные в субботу оплачиваются в полтора раза, а в воскресенье – даже вдвое.

Если Биллу надо уехать со склада на пару часов, он оставляет Майка своим заместителем. Биллу известно, что Майк кое-что понимает в бухгалтерии. Правда, обязанности заведующего складом несложны, но все-таки нужно знать, что и куда занести и где записать. Билл уже замолвил слово перед директором, чтобы после ухода его на пенсию именно Майка поставили на должность заведующего складом. Это сулило Майку прибавку на двадцать пять долларов в неделю.

\* \* \*

О Рози Майк почти никогда не думает; иногда ему кажется, что ничего подобного в его жизни и не было, иногда проскальзывает что-то вроде сожаления. Большая Рози, маленькая Рози, какие-то мечты о каком-то маленьком счастье. Да было ли это вообще?..

Майк до сих пор не может понять, почему ушла Рози? Ну, пил он, но не так уж страшно. Пил с горя, а теперь вот совсем не пьет. Две бутылки пива за вечер – это не пьянство, это никому не мешает. Работу он искал и ведь здесь, на складе, он уже целых семь лет работает. Билл уходит, он будет заведующим. Что бы Рози на это сказала?..

Дом. Да, всё думали, как дом купить, деньги собирали. Кое-что уже и в банке было, потом стало меньше. Когда Майк снял со счета триста долларов, осталось шестьдесят и с центами.

Пожалуй, это и добило Рози. А впрочем, не все ли равно? Ничего тут не исправишь... Маленькая Рози теперь, наверно, большая... Вот была бы Рози, был бы дом, всё было бы иначе... Был бы дом, семья, кот, вроде Джимми, или собака...

\* \* \*

Дождевой червяк отращивает оторванный хвост, человек старается

восстановить утраченное. Если не всё, то хотя бы часть того, что ему было дорого и что он потерял. Так было и с Майком.

Можно было начать с дома — и Майк начал с него. Даже не с дома — без денег и собачьей будки не купишь. Надо сначала накопить денег на первый взнос. Чем больше, тем лучше, — меньше платить процентов придется. Самый поганый домишка стоит тысяч пятнадцать, а немного получше и с какой-то зеленью — тысяч двадцать, двадцать пять. А зелень совершенно необходима. Откуда у Майка была эта тяга к зелени — сказать тяжело. Возможно, от матери, выросшей в шотландской деревушке и рассказывавшей о ней маленькому Майку много раз со всеми подробностями: какие деревья там росли, какие кусты, сколько вереска было...

Фантазией Майк никогда не обладал, но на мечты о доме ее хватало. Настоящую развалину нельзя покупать, конечно. Майк не такой уж мастер на все руки. Билл — тот всё умеет, ну, а ему до него далековато. Проводку он может починить, оконную раму новую сделать, а вот с водопроводом ничего не выходит, да и инструментов у него нет. Впрочем, там видно будет, посмотрим...

А это приятно — вернуться с работы в свой дом, поесть, вечером полить траву. Потом на веранде посидеть, кошка тоже рядом сидит. Куда тогда Джимми девался?.. Розы уехала, через неделю и кот ушел. Правда, Майку не до кота было, едва ли он кормил его в те дни, но ушел кот. Может, на улице переехали... Столько этих котов гибнет, собак... Можно собаку завести... Или не стоит? Будет лаять, соседи станут жаловаться, а кот — тихий, никому не мешает...

\* \* \*

Майк приободрился, апатия пропала. Снова у него была цель. Сам по себе дом, конечно, Майку был совершенно не нужен — на кой ляд одинокому человеку дом? С семьей — другое дело, особенно если ребята.

Но Розы не вернешь, маленькой Розы — тоже. Сколько ни скопи, а их не купишь. Дом-то Майк купит и... Майк боялся думать об "и", оно было слишком нереально — почему кто то должен вернуться только потому, что есть куда вернуться? Чепуха всё это! Но наперекор логике, в подсознании Майка жила глупая, ни на чем не основанная надежда.

\* \* \*

Двадцать пять долларов в неделю больше — это неплохо. Майк получил место ушедшего на пенсию Билла. Ну, государство из двадцати пяти долларов выкусывает шесть, но все же девятнадцать остается. А эти девятнадцать — в банк, в банк!.. В год это составит тысячу долларов лишних, да, кроме этого, Майк и так каждую неделю откладывает по пятнадцать долларов. Надо бы класть по сорок, тогда за год можно скопить две тысячи. Майк задумывается...

Заведующий складом, как там ни верти, а все-таки шишка! Небольшая, но шишка. Майк уже не переодевается в ковералл, когда приходит на работу. Он снимает пиджак, вешает его в шкаф и надевает белый халат. Ко-



вераллы синие, а халат белый. В таком же халате ходит и сам директор, когда заглядывает в мастерские или сюда, на склад.

Работа несложная, не надо только ее запускать. Привезли тебе пять моторов – запиши. Прислали двадцать глушителей – запиши. Выдал по ордеру два карбюратора – тоже запиши сегодня же, а не завтра. Забудешь, а в конце месяца отчет нужно составлять. Правда, Билл шутил, что бухгалтер этот отчет вместе с конвертом в корзинку бросает, но это не его дело. Майк свои отчеты составляет аккуратно, а что с ними в дирекции делают, это его не касается.

На складе всё идет по-прежнему. Прислали нового рабочего – Джэйкоба. Он – черный, а зубы белые, и всё смеется. Говорит он на каком-то странном английском языке и понять его трудно. Впрочем, много тут говорить не приходится. На складе работа: то – сюда переставить, это – туда перенести; тут и глухонемой может справиться.

\* \* \*

Майк сидит в своей крохотной комнатухе, носящей громкое название конторы. В ней стоят потертый письменный стол, занимающий почти всю комнату, два стула и небольшой шкаф. На столе – телефон. Майк только что съел свой сэндвич и допил кофе из термоса. Его клонит ко сну. На складе тихо. Кэрли куда-то уехал, Джэйкоб спит на груде мешков в дальнем конце складского помещения. Майк потягивается и достает из ящика стола утреннюю газету – его интересует бейсбол. Из всей газеты он читает только спортивный отдел, политика его не волнует. Иногда он просматривает и комиксы.

В контору входит Сэм. Он садится на стул, достает сигарету из пачки и закуривает. Майк дочитывает описание вчерашнего матча, кладет газету на стол и смотрит на Сэма. – В чем дело? – спрашивает он. – В чем дело? – переспрашивает Сэм насмешливо. – Дело в том, что денег нет. – Ну, это новость небольшая, – в тон ему отвечает Майк, – ничем тебе помочь не могу.

Сэм долго елозит окурком сигареты по доньшку пепельницы, вытирает пальцы о свой замусоленный ковералл, искоса смотрит на Майка. – А я думаю, что можешь, – говорит он. Его голос теряет насмешливость. – И мне можешь помочь, да и себе. – Майк настораживается и смотрит на Сэма внимательнее, однако ничего не говорит. – Слушай, Майк, – продолжает Сэм, – я хочу тебе кое-что сказать. Только не беги в дирекцию, пока я не кончу. – Он ухмыляется. – А когда я кончу, ты к директору не побежишь... – Что такое ты придумал? – спрашивает Майк. Он начинает беспокоиться и сонливость с него слетает. *Так* Сэм никогда с ним не говорил. – Сколько ты сейчас зарабатываешь в неделю, Майк? – спрашивает Сэм и сам отвечает: "Сто тридцать долларов. У Форда рабочий получает сто шестьдесят в неделю, а ты – все-таки босс, а платят тебе меньше, чем рабочему у Форда. А мне и еще меньше, ты это знаешь..." Взгляды Майка и Сэма встречаются и Майк утвердительно кивает головой: здешняя дирекция щедростью не отличается, это верно. – Сами за-

рабатывают миллионы, а мы?.. – В голосе Сэма звучит озлобление. – Директор получает тридцать пять тысяч в год... А нам гроши платят!.. – Сэм начинает кашлять, а затем продолжает, уже спокойным голосом: "Вот мы и подработаем на них же. Так сделаем, что никто и знать не будет. Я уже всё обдумал. Теперь всё от тебя зависит." – Он начинает шарить по карманам ковералла, ища сигареты. Майк продолжает сидеть и молча. Ему и любопытно, что такое Сэм придумал, и вместе с тем жутковато. – Так вот, – продолжает Сэм, вытаскивая новую сигарету, – ты лучше моего знаешь, сколько всего уходит с нашего склада к заказчикам. Одних моторов мы отпускаем штук тридцать, а то и сорок за неделю. Если один мотор в неделю мы спустим налево, никто и не догадается, а я уже с одним владельцем гаража договорился... – Красть собираешься? И меня уговариваешь? – гневно спрашивает Майк, поднимаясь из-за стола. – Да ты сядь, сядь, босс!.. – насмешливо говорит Сэм, – не волнуйся! На честности далеко не уедешь, все нищие – честные люди... – Он протягивает Майку сигареты. Майк берет одну и опускается на стул. Сэм продолжает:

– Скажем, дирекция получает заказ от какого-то гаража на три мотора. Заказ пересылают на склад, то есть, передают тебе. Ты выдаешь покупателю три автомобильных мотора. На этом дело и кончается. В конторе дирекции не отмечают заказ, на какие моторы, на сколько моторов, да кому, да когда, – просто передают тебе. Ты заполняешь при выдаче квитанцию. Получатель расписывается в получении и уезжает с моторами. Он с собой увозит и верхний листок. Второй листок – копию, ты отсылаешь в бухгалтерию вместе с выполненным заказом, третий остается у тебя. По твоей копии ты делаешь месячные отчеты. Бухгалтерия посылает заказчику счет: столько-то долларов и центов за то-то и то-то. Вот теперь слушай внимательно, Майк, – произносит Сэм с ударением, – если на твоей копии будет цифра "4", а не "3", у тебя окажется один лишний мотор. Понял? – Дурак ты, Сэм, – улыбается Майк, – бухгалтерия знает, сколько моторов продано. – Конечно, бухгалтерия знает, но никогда не подсчитывает, сколько и чего продано. Она знает, сколько получено за проданные, скажем, моторы, она *могла бы знать* и сколько моторов продано, но в такие пустяки бухгалтерия не суется. Статистика не ее дело. – Откуда ты всё это знаешь, Сэм? Ты же не бухгалтер, – удивляется Майк. – Я не бухгалтер, но я и не дурак, – усмехается Сэм и плюет на пол. – Я и Билла расспрашивал, сначала из любопытства, потом на всякий случай. Одного тут из бухгалтерии сколько раз домой подвозил. Заведешь невзначай разговор: как это у вас в бухгалтерии все сложно, да какие вы все там умные, да как вы всё это делаете? Ну, дурак и тает, начинает объяснять, а ты слушаешь, а потом говоришь, что спасибо: хоть ничего я не понял, но послушать интересно. А через неделю опять. Сначала поговоришь о хоккее, а потом на бухгалтерию переходишь. Бухгалтер думает, что дурака просвещает, а выходит, что дурак куда умнее бухгалтера. – Сэм отрывисто смеется, затягивается сигаретой и продолжает:

– Тут даже и риска большого нет. В конце года ты сдаешь копии кви-

танций в бухгалтерию, их там держат год и выкидывают. Никому и в голову не приходит сверять их с теми листками, что ты прислал раньше. Да и к чему? Трата времени... Ну, а когда через год твои копии выбросят, ты и сам не сможешь ничего доказать... Понятно, босс? — насмешливо заключает Сэм и уходит. Через минуту он возвращается с бутылкой. — Давай, дернем за наш план, босс, — говорит он. — Нет, я не согласен, — отвечает Майк, отстраняя рукой протянутую бутылку. — Я думал, ты умнее, Майк, — вполголоса произносит Сэм, — но раз ты дурак, то вот что я тебе скажу. — Хрипловатый голос Сэма снижается еще. — Раз ты не согласен, я и Кэрли пойдем оба к директору и скажем, что ты нас на такой вот план подбиваешь. — Как? И Кэрли тоже? — Майк чувствует, что его начинает засасывать куда-то. — Кэрли тоже, — насмешливо подтверждает Сэм. — А ты думаешь, что Кэрли есть и пить не хочет? Ну как, по рукам?.. — Видя, что Майк колеблется, Сэм говорит: "Я всё с Кэрли обдумал. Джерри (знаешь, это "Гринграсс Моторс", — поясняет он Майку) платит нам за мотор двести долларов. Восемьдесят тебе; нам с Кэрли по шестьдесят. — Джэйкоб об этом ничего не знает? — спрашивает Майк, протягивая руку к бутылке.

\* \* \*

Сэм очень доволен — жена его не грызет больше. Все полученные в пятницу деньги он передает ей. Пьет же он за сверхурочные. По крайней мере, так Сэм объясняет жене, откуда у него деньги на выпивку.

Майк тоже доволен — восемьдесят долларов в неделю, никаких вычетов. Но надо быть осторожным: если вклады Майка в банк вдруг ни с того, ни с сего увеличатся на триста долларов в месяц — это может выглядеть подозрительным. Поэтому он открывает счет в другом банке и носит туда деньги нерегулярно, как попадетсЯ. Иногда снимает с этого счета несколько десятков долларов, потом вносит их вместе с другими деньгами обратно.

Продажа моторов "налево" функционирует безукоризненно. Раз в неделю Майк через копирку приписывает лишний мотор на своем экземпляре квитанции, конечно, уже после того, как заказчик расписался в получении. И все счастливы — покупатель обслужен, бухгалтерия знает, за что предъявлять счет заказчику, Майк тоже доволен.

Майк даже благодарен Сэму — каждую неделю такой бонус! Совесть Майка не грызет, он крадет моторы не у соседей, а у компании. Что для такой компании несколько тысяч долларов в год?... Смешно говорить!... Покупка дома приобретает реальные формы. За последние два года Майк накопил почти двенадцать тысяч. Одно плохо — Сэм совсем свихнулся. Видите ли, мало зарабатываем... Почему один мотор в неделю, если можно два продать?.. Майк начинает трусить — если все выйдет наружу, он человек конченный. Сэму, конечно, наплевать — два раза в тюрьме отсиживал, но Майку такая перспектива не улыбается. И какой черт в Сэма вселился? Кэрли вот доволен и ничего не хочет, а этот дурак... Подождем, может, Сэм образумится.

К сожалению, Сэм не образумливается. Проходит еще три-четыре месяца и в одно прекрасное утро Сэм заявляет категорически Майку, что нужно больше моторов списывать и насмешливо добавляет: — Меня что-то совесть за последнее время мучает... Так вот и тянет пойти к директору и покаяться в грехах. — От этого пьяницы всего ожидать можно, — думает Майк, — он уже сам не понимает, что делает и что говорит...

Но зато Майк все хорошо понимает. Пора сматывать удочки. Он ждет до августа, когда Сэм берет отпуск, и заявляет директору, что уходит со службы. Удивленный директор пробует его уговорить подождать немного, но Майк не хочет. Удивляться директору, впрочем, нечему — люди у него работают, пока не найдут что-то получше. Находят и уходят. В конторе Майк получает расчет и даже рекомендацию как добросовестный служащий и хороший счетовод. Конечно, здесь небольшое преувеличение, какой, к черту, Майк счетовод! Но клерк в конторе знает Майка. Майк парень хороший, почему же не написать?..

\* \* \*

От Торонто до Ванкувера две тысячи миль с лишним. Проехать это расстояние можно в четыре дня, если спешить. Но куда Майку спешить? Приедет он в Ванкувер во вторник — хорошо. Приедет в среду или четверг, тоже хорошо. Он не торопится, проедет сотни две миль и остановится у ресторана, выпьет кофе, пожует сэндвич, посидит, покурит и едет восвояси. Майк родился и вырос в Торонто, прерий он никогда не видал. Поражают его бесконечные поля пшеницы, уже желтеющей и нагнувшей свои тяжелые колосья. Поля эти безграничны, сливаются с горизонтом. Кругом ни души, даже на серой ленте дороги, пересекающей золотую бесконечность, никакого движения. Похоже, что Бог создал прерии, засеял их пшеницей и забыл про них.

Майк съезжает на обочину и вылезает из машины: надо размять затекшие ноги. Некоторое время он ходит по мягкому асфальту, потом вынимает из машины старое одеяло, расстилает его на траве и ложится. Лежит он на спине и смотрит в небо, светло-голубое и такое же безграничное, как и пшеничное поле. Высоко над ним, очень высоко, самолет тянет за собой серебряный след — тонкую ниточку, медленно расплзающуюся по бледной синеве. Майк поворачивается на бок, подкладывает локоть под голову и засыпает.

Просыпается он, потому что кто-то трясет его за плечо. Первое, что он видит, это полицейский мундир. Майк вздрагивает: — Неужели!?. — И моментально спохватывается: — Нет, это невозможно! Полицейский без фуражки, хоть это и не полагается в служебное время, но уж слишком сегодня жарко. Его наклонившееся над Майком лицо почти черно от загара, а лоб куда светлее. — У вас все в порядке? — спрашивает он и выпрямляется. Полусонный Майк ухмыляется: — Все, решительно все! И, встав, начинает шарить по карманам, ища сигареты. Полицейский протягивает ему свои. — Ну, и жара же сегодня! Куда едете? — спрашивает он Майка. Он

еще молод, ему лет двадцать шесть – двадцать восемь, и у него светло-голубые глаза, под стать небу. – В Ванкувер, – не спеша раскурив, отвечает Майк. Полицейский кивает и направляется к своему автомобилю.

Зашвырнув одеяло на заднее сиденье, Майк с силой хлопает дверцей и срывает автомобиль с места.

*(Окончание в следующем номере)*

НИКОЛАЙ ВОЕЙКОВ

### МОНРЕАЛЬСКАЯ НОЧЬ

*(Романс на мотив "Андалузская ночь")*

Монреальская ночь бесконечно тиха,  
Безмятежно заснула Канада.  
Лишь вдали за рекой виден крест золотой  
И горы Королевской громада.

Там, меж скал и камней и древесных ветвей,  
Сокровенно журчат водопады.  
И тростинки ведут в поднебесный редут –  
Там услышите сердце Канады...

Вдаль столетья ушли – европейцы пришли,  
Населили Лаврентьевский остров.  
Монреальскую ночь ярким светом прожгли,  
А вокруг – понастроили монстров.

Вековую ковыль без остатка смели,  
Загудели фабричные трубы.  
И исчезли вигвамы с индейской земли,  
Заменили их дикие срубы.

Но лишь спустится ночь, вспоминает гора  
Те былые просторы и волю,  
Когда дикий шакал там порой пробегал  
И олени носились по полю...

ИОСИФ И ЕГО НЕБРАТЬЯ

П о в е с т ь

*"Смотри, как на речном просторе,  
По склону вновь оживших вод,  
Во всеобъемлющее море  
За льдиной льдина вслед плывет".*

*Ф. Тютчев*

1.

Он сидел на унитазе, скрючившись от сосущей желудок боли. Поистине, он перебрал в последний раз, когда надо было остановиться и не пьянствовать больше. Но под пристальным взглядом Х о з я и н а попробуй остановись! Уж лучше желудком пострадать, чем головы лишиться. И Берия, чувствуя, как его рыхлое тело словно содрогается от изнуряющего поноса, с тоской подумал: доколе? Господи! – само собою пришло столь партийно-несозвучное слово. – Доколе же он – фактически самый сильный человек в государстве, будет терпеть выходки Сталина?.. Ведь выживает Старик из ума, определенно выживает, но скольких еще людей он переживет, скольких замучит!..

Последняя спазма желудка принесла видимость облегчения. Берия поднял голову и уже с интересом почти оглядел керамический настил туалетной стены, набор заграничных озонаторов и одеколонов на столике возле позолоченной раковины умывальника; пальцами босых ног приятно вдавил упругую податливость ковра, которым был застлан пол. Оторвав нежные куски розовой туалетной бумаги из нависавшего над головой рулона, он уже не без веселости вспомнил сталинское: "Жить стало лучше – жить стало веселей!" Оно понятно: без поноса куда веселее...

В голову влезла совсем уж смехотворная мысль: интересно, сколько людей на земном шаре в эту же самую секунду корчится от поноса? Вот любопытное измерение статистики, коим никто не занимался – подсчитать среднюю величину ежесекундного заражения планеты человеческим дерьмом. Может, поручить причандалам из научного отдела МГБ провести соответствующие расчеты? Под грифом "совершенно секретно", разумеется. И ведь проведут, и доложат об успехе, и даже всяческие цитаты из Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина присобачат.

Он встал с унитаза, одернул пижамные штаны и, отфыркиваясь лениво, прополоскал над умывальником лицо и руки. Потом с наслаждением вытерся и, увидя в зеркале, что мешки под глазами не так уж и набрякли, как он ожидал, а значит, и за сердце беспокоиться не стоит, пришел почти в хорошее расположение духа. — Ничего, генацвале, — подмигнул он зеркальному двойнику, столь же иронически посмотревшему ответно, — мы еще поживем...

Статистика, о которой подумал на момент Лаврентий Павлович Берия, так и осталась нереализованной в расчетах, однако именно в ту же секунду, когда в роскошной туалетной комнате своей московской квартиры всеильный чекист номер один мучился поносом, именно тогда — надо же случиться совпадению! — на обмерзшем стульчаке дощатой, продуваемой насквозь, лагерной уборной — за тысячи километров от Москвы, в зоне одного из колымских лагерей, сидел, дергаясь от поноса, пожилой ээк-доходяга. Конвульсивные спазмы желудка — вот единственное, что уравнивало в этот момент могущественного заместителя Сталина и никому не известного заключенного — одного из миллионов "врагов народа", разбросанных по одной шестой территории планеты — в "большой зоне" СССР.

Впрочем, заключенный, сидевший в нужнике, не был так уж совсем никому не известен. Понятно, что знало о нем лагерное начальство, знал оперуполномоченный зоны, и — как ни странно — знал сам Лаврентий Павлович Берия. Конечно, не под лагерным номером, который заменил его фамилию, и даже не под той *вымышленной* фамилией, которой его наградили для лагерной администрации, а под настоящим именем бывшего врача-кардиолога профессора Лукомского. Только вспоминать о том, что он *был* Лукомским, ээк номер 0-693 боялся под угрозой неминуемого расстрела. Да и какой смысл был в воспоминаниях, только растравлявших душу и внушавших нелепую надежду на перемену к лучшему? Никакой перемены не будет — вечная Колыма, синеватые снега тундры, фейерверочно-яркие всполохи северного сияния, подобные костру, где сгорела его прошлая жизнь; черные силуэты лагерных вышек — словно эшафоты всякой надежды — вот его бессрочный путь к смерти... И все-таки перемена произошла. К лучшему или худшему — сказать трудно, ибо о погребенном заживо Лукомском вспомнил Берия. Вспомнил, чтобы уже не забывать...

О судьбы людские! Несет вас в потоке жизни неиссякаемая струя Рокка. То водопадно обрушивается она с уступов славы и власти, то кружит тихой заводью неизвестности и лениво-уютного мещанства, то затягивает в омуты, то хмельной пеной выбрасывает на предмогильный песок. В каждой молекуле человеческой есть свой заряд воли и страсти — только слаб он — единственный — пред многоликой волей Судьбы. Бедная молекула — бедный, маленький человек!.. Даже и наряженный в мундир генералиссимуса, ты молекулой остаешься: хлопнет судорога по сердечной артерии, лопнет капиллярчик около мозга — и где твое величие? А уж о других что и говорить? Живут, строят планы, покупают дома, совокупаются, полу-

чают военные чины и научные звания, карабкаются по лестницам карьер, пьют водку, а потом нарзан для утоления болей желудка; изобретают водородную бомбу или – вторично – велосипед; рожают детей и убивают себе подобных; глотают наркотики или одурманивающие идеи – и сливаются в одно темное, струеобразное целое – поток, именуемый человечеством. В этом потоке молекулы слитны и разделены, непробиваемо-нейтральны и активно-враждебны. Несутся они к "одной мете", как сказал некогда Тютчев. Он – в стиле декоративного девятнадцатого столетия – воспользовался образом льдины; понятно, что "льдина" поэтичнее, чем молекула! Краски там всякие, переливы и прочее: "речной простор" и живописный эффект соединения сини небес, темной глубины реки и белизны льдин. Нам в двадцатом веке сложнее живописать: иссушили мозг абстракциями, привыкли к формулам и моделям – если убивают миллионами сразу, то где уж тут вырисовывать детали индивидуального портрета. Вот и появляется на смену "льдине" этакая безликая "молекула", этаким невыразительный символ абстрагированной судьбы. Скучнее всё как-то, скуперее краски, истощеннее слова. Лишь Некто сверху может различить с пронизательностью сверхчеловеческой "особость" в пути той или иной молекулы; он же и подправить путь ее может. Только вмешается ли Он, захочет ли снизить, или доверит всё хаотической силе бегущей струи? Кто знает, кто скажет? И нам остается одно по размышлению зрелом: сказать молекулам, чтобы текли они себе по собственному руслу, не надеясь на Провидение...

Впрочем, стоп! Без Провидения все-таки нельзя. И если пересекается путь двух молекул, можно сказать молекулушек – настолько не видно их по отдельности в общем потоке – то кто-то же запрограммировал это пересечение! Люди скажут потом: Бог или Дьявол. Проще говоря, – это и есть Судьба.

И вот по такой именно игре случая (дьявольской игре, скорее всего!) случилось так, что в 1952 году Лаврентий Павлович Берия вспомнил о профессоре Лукомском, который уже почти пятнадцать лет сидел на Колыме по его личному распоряжению. Изнуряющий приступ поноса принес мысль о том, что кое-что можно сделать, если разобраться с этим Лукомским. Хотя, в сущности, "разобраться" нужно было не с ним, а с тем человеком, который один стоял на пути Берии к верховной власти, – с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

## 2.

– Номер 0-693! На вахту с вещами!

Голос надзирателя легко покрыл голоса эзков, доканчивавших в закопченном, но хотя бы теплом бараке последний час положенного им "свободного времени" после работы. Тускло горели маломощные лампы на потолке; тускло поблескивал латунный обод бочка с питьевой водой возле входной двери; длинные двухэтажные нары словно проглатывали и без того слабый свет. На нарах копошились полураздетые люди; спертый воз-



дух, пропитанный запахом пота, махорочного дыма, мокрых портянок, вырываясь за раскрытую дверь, смешивался с клубами морозного пара. Надзиратель стоял на пороге. Выругавшись с ленивой растяжкой в голосе, он повторил:

– Номер 0-693! Ты что, уснул?.. На вахту с вещами!

Полусгорбленная фигура номера 0-693 маячила в одном из отсеков нижнего этажа нар, сгребая нехитрый скарб заключенного: оловянную миску, сверток с тряпицами и парой пересушенных сухарей, махорочный кисет, залатанные, но еще крепкие валенки. Всё это он сложил в деревянный, самодельного производства, чемодан и – хоть не тяжелым он был, чемодан этот, – однако, сгибаясь невольно от его веса, пошел доходяг-зэк к двери.

– На этап что ли берут, начальник? – робко-заискивающе спросил он надзирателя.

– Идем на вахту. Там узнаешь! – коротко отрезал тот.

И они поплелись по утрамбованной сотнями ног снежной тропинке по направлению к линии запретки, возле угла которой находилось здание лагерной вахты. Оба не торопились: зэк привык к тому, что от перемен лучше не бывает, а хуже, как будто, быть не может. Надзиратель же, сделав главное, то-есть, заставив зэка поспешать в бараке, поскольку приказано ему было не допустить, по возможности, общения номера 0-693 ни с кем из его сотоварищей по бараку, не видел теперь нужды торопиться. Да и морозы за последние несколько дней отпустили, так что шли надзиратель и зэк рядом, словно два приятеля на прогулке. Так и дошли до вахты.

Здесь зэку приказали посидеть в каптерке, где несколько дежурных надзирателей резались в домино, попивая чаек с сахаром вприкуску. От запаха крепкого чая и уютного тепла (печку себе надзиратели топили, не скупясь на дрова – не то что в бараках) закружилась у зэка голова и потянуло ко сну. Ох, до чего ж не хотелось идти на этап! Сейчас бы завалиться на нары и уснуть, ничего не ощущая вокруг и ни о чем не думая... А на этапах иной раз и не поспишь. Одно утешение: если этап, то завтра на работу его не погонят. Всё – отдых!..

Зэк, совсем было задремавший, очнулся от того, что его кто-то потряс за плечо. Ох ты, Господи! Сам начальник режима лагеря – капитан, известный строгостью необычайной, стоял перед ним. Ну, пропал, – мелькнуло в голове. – На самой вахте закемарил в неположенное время. За это, пожалуй, и в Шизо угодить можно, несмотря на этап. – Зэк быстро вскочил на ноги, однако капитан глядел на него с непривычной мягкостью и не только не закричал, но сказал вроде бы извиняющимся тоном:

– Идите со мной. С вами хотят поговорить товарищи из Москвы.

Что-то дрогнуло в груди. "Товарищи из Москвы" – это, наверняка, новое следствие или срока прибавка. Ему и так уже дважды прибавляли: сначала к первым пяти годам прилепили вторую пятерку; потом добавили еще десять лет – и всё начиналось с того, что приезжали "товарищи из Москвы", зачитывали решение Особого совещания, которое, как известно, не обжалуешь, и раскручивался его срок в явном направлении к пожизнен-

ной каторге. Но прежде хоть понятно было: увеличивали срок в тот момент, когда теоретически на волю должен был выходить. А теперь что же? Неужели к "вышке" приговорят?

У него подогнулись колени, когда он шел по коридору, да и чемодан проклятый отяжелел; грохнул он им о выступ какой-то стены, так что кусочек штукатурки отбил. С ужасом взглянул на сопровождавшего его начальника режима: что будет? Но тут произошло чудо настоящее: капитан улыбнулся и сказал: "Тяжело вам нести чемодан, наверное? Дайте-ка, помогу!" – И сразу вытянул у него из рук чемоданчик, играючи вскинул его на свои руки и, распахнув обитую клеенкой дверь какого-то кабинета, прошептал: "Проходите внутрь, а за вещи свои не беспокойтесь – у меня они будут вас дожидаться. Проходите."

И эзк оказался внутри кабинета оперуполномоченного зоны. Только самого "кума" там не было. За столом сидел какой-то незнакомый полковник, а сбоку худощавый брюнет в штатском. Оба курили. Эзк потоптался на пороге, кашлянул и сказал нерешительное: "здравствуйте". Штатский быстро подошел к нему и подвел к пустому креслу. – Садитесь, профессор, – проговорил он шутливо-серьезно. – В ногах правды нет.

– "Профессор"? – с ужасом подумал про себя эзк, переводя взгляд со штатского на петлицы полковника (петлицы были чекистские) и штатский, конечно, тоже был чекистом, только переодетым. – Они называют меня профессором! Они провоцируют меня... Нельзя поддаваться.

– Я не понимаю, – тихо сказал эзк номер 0-693. – Я не профессор. Вы ошиблись.

– Мы не ошибаемся никогда, – строго, но без окрика в голосе, проговорил полковник МГБ, листая какие-то бумаги на столе. Вы – профессор Лукомский, и у нас к вам дело...

При слове "дело" эзк похолодел до кончиков ногтей. Значит, прав он в своих худших предположениях. Новое "дело" шьют ему, а поскольку называют его настоящей фамилию, которую он сам не должен упоминать под угрозой "вышки", значит, к тому оно и идет...

Он попытался спасти положение, начав умоляюще бормотать.

– Простите, но я – заключенный номер 0-693, а фамилия моя... – И он назвал ту фамилию, которую ему некогда дали в качестве его собственной. Он надеялся, что его преданность этой версии смягчит страшных собеседников. Полковник махнул рукой.

– Вы профессор Лукомский, – повторил он и, как показалось перепуганному эзку, рассердился не на шутку.

Но тут заговорил штатский. Мягким, вежливым голосом заговорил.

– Не волнуйтесь, пожалуйста, профессор. Мы к вам приехали с хорошими вестями. То, что вы повторяете вашу "легенду", делает честь вашему умению соблюдать тайну, но сейчас это излишне. Вы интересуете нас под вашей собственной фамилией – не под какой другой, и тем более не под вашим номером заключенного.

К слову сказать, профессор Лукомский, с этого момента вы освобождаетесь из-под стражи. Надеюсь, это вас не пугает.

Зэк номер 0-693 смотрел на штатского отрешенным взглядом. Было видно, что до его сознания не доходят слова собеседника. Изможденное, заросшее седой щетиной лицо зэка, с дрожащими от волнения, совершенно обесцвеченными губами, казалось маской страха. Штатский невольно отвел глаза в сторону, а затем протянул зэку пачку папирос "Казбек".

– Курите, профессор?

Зэк по-прежнему молчал. Легким щелчком ногтя тогда штатский выбил из пачки одну папиросу и снова повторил вопрос:

– Курите?

На этот раз зэк кивнул и робко взял папиросу. Вспыхнула зажигалка, протянутая штатским, и сладкий аромат зашекотал ноздри, отвыкшие давно от столь изысканного курева, как дорогой "Казбек". Лукомский затянулся несколько раз, а потом выдохнул тихое:

– Спасибо!

– Ну вот и лады, – сказал штатский. – Кажется, теперь вы в состоянии разговаривать спокойно. Наверное, и подкрепиться чем-нибудь вы не прочь, профессор?

Подкрепиться? Еще бы! Спрашивать такое у зэка-доходяги – это все равно, что интересоваться у волка его отношением к нежному барашку. Лукомский кивнул головой, продолжая затягиваться папиросой. Но, осмелев немного и переварив, наконец, смысл слов штатского о своем освобождении из-под стражи, он спросил:

– Но что же все-таки произошло... граждане? – Он запнулся, подыскивая подходящую форму обращения, смущенный тем, что явным "гражданином начальником", выражаясь на эковском языке, был полковник МГБ, но нутром угадывалось, что штатский, вроде бы, выше его по положению, а вот звания его он не знал.

– Вы можете называть нас "товарищи", – любезно подсказал штатский. – Вы теперь свободный человек и решением Верховного Суда СССР полностью реабилитированы. Мы приносим извинения за судебную ошибку в отношении вас... Прямо скажем, несколько затянувшуюся ошибку, – добавил он саркастически, переглянувшись с полковником, который тоже усмехнулся.

– Но я не писал никаких жалоб, – сказал Лукомский, все еще недоверчивый к навалившейся не весть откуда радости освобождения. – Кому я обязан пересмотром своего дела?

– Лично товарищу Берия, – ответил штатский и лицо его приняло торжественное выражение. – Он распорядился, чтобы приговор был пересмотрен.

– Берия! – с ужасом подумал Лукомский. – Этот страшный человек посадил его и он же его освобождает!.. Вот уж воистину ничего понять нельзя в этом государстве. То заставляют забыть собственное имя, то извлекают человека из небытия; то тебя сажают по приказу палача, то сам палач оказывается твоим освободителем... Ну да, ладно. Сейчас главное, что я выхожу на волю. Всё остальное – второстепенно...

Лукомский попытался выдавить улыбку на лице. Она вышла подобо-

страстно-неестественной.

— Могу я через вас... товарищи, — проговорил он, — передать мою глубокую благодарность Лаврентию Павловичу? Я когда-то имел удовольствие его встречать.

— Конечно, можете, — весело отозвался штатский. — Более того, профессор. Вам придется совершить вместе с нами путешествие в Москву, где вы, наверное, увидите с товарищем Берией. Так что давайте знакомиться, — он протянул Лукомскому крепкую, но выхолненную руку с отполированными ногтями. — Полковник Саркисов, а это — он кивнул в сторону сидящего за столом военного, — полковник Градов, мой помощник. Прошу любить и жаловать.

Лукомский постарался возможно более сильным рукопожатием выразить свою признательность Саркисову. С Градовым он обменялся вежливым кивком, и дальнейшее происходило словно в полусне. Событий было слишком много, чтобы фиксировать каждое. Перейдя в вольную столовую поселка, расположенного около зоны, Лукомский съел отличный гуляш и даже пригубил предложенного Саркисовым коньяка. Пить много боялся — отвык, да и слабость почувствовал непомерную, едва попробовал. Собеседники его не настаивали слишком; сводили после обеда в вольную парикмахерскую, где его побрили и наодеколонили, словно цветочную клумбу. Начальник режима угодливо принес лагерный чемодан бывшего ээка, но Саркисов брезгливо поморщился: с *этим* ехать? — Немедленно заметить на что-нибудь приличное!.. — И через несколько минут сам начальник режима переложил его шмотки в новехонький, с блестящими металлическими нашлепками, чемодан. Саркисов одобрил перемену молчаливым кивком головы, и начальник режима поспешил доложить, что машина уже подана. Так и осталась в памяти Лукомского последняя лагерная сцена: он, Саркисов и Градов усаживаются в легковую машину, а бывший гроза его — Лукомского — капитан, начальник режима, услужливо придерживает дверцы, а потом, когда машина рванулась на полотно заснеженной трассы, застывает с рукой под козырек. Ничего не скажешь, галантное прощание с Колымой!..

Полностью вошло в Лукомского осознание его бытия *вольного* человека не в машине, где тряслись часы десять, добираясь до железной дороги, а уже в купе поезда Москва—Пекин. Втроем они начали убивать время за картишками и выпивкой. Саркисов и Громов деликатно не говорили ни о чем, связанном с тюремно-лагерными делами. Всё больше — о женщинах да кино. Анекдотами пробавлялись тоже; за некоторые из них, — подумал про себя Лукомский, — смело можно схлопотать срок "за антисоветскую агитацию". Ну да этим, видать, всё позволено...

Ночью — как ни ворочался на мягчайшем матрасе с чистейшим — вперые за много лет — бельём, уснуть не удавалось. Вышел в коридор покурить. Стоял у окна, вглядывался в пролетающую мимо ночь, с кругами и квадратами станционных огней; с белесыми сугробами снега вдоль пути. Вглядывался и думал.

Из одной неизвестности мчит его судьба в другую. Куда? — кто зна-

эт и ведаёт?.. Собственно говоря, к взлетам и падениям в жизни пора бы давно привыкнуть.. Был он в свое время блестящим медицинским светилом, потом засекреченным ээком. Чем не занимательная парабола? В качестве медика, считался он специалистом по сердцу. Практически всё знал о механизме красного комочка, отсчитывающего годы и секунды людской жизни. Но много ли понимал он в человеческой душе? А ведь она есть – душа эта – есть, вопреки всем заклинаниям материалистов от "всесильного учения" академика Павлова, который, впрочем, тоже того-с... не слишком строгим материалистом был, если разобраться. Еще на воле, до внезапного ареста, переломившего его судьбу пополам, словно щепку, заброшенную в бурлящий водоворот, встречал он множество людей: хороших и плохих, честных и лживых, красивых и уродливых. В лагере, по существу, то же самое: хоть и обезличены на первый взгляд все лагерной одеждой и голодом, но сколько смеси человеческих темпераментов, смелости и трусости, цинизма и недорастоптанной человечности, скрывается за общим ликом ээковского удела! Сам он, сохранился ли как личность после страшных лет каторги? Нет, пожалуй. Если б его спросили начистоту, чего он хочет теперь больше всего: славы, карьеры, денег, женщин, он попросил бы совсем немного: покоя и элементарной сытости в желудке. Сверх этого ничего и не надо. Честолюбие и большие чувства умерли в нем – замерзли, словно наивные цветы на кочках, вылезающие в короткое колымское лето на свет Божий, чтобы исчезнуть вскоре под снегом многоярусным. Да, ничего грандиозного ему больше не требуется. Лишь бы дали ему уютный покой и способность забыть о Колыме навсегда. Ради этого он готов сделать всё, что от него потребуют. А в том, что его везут в Москву неспроста, и что-то потребуется от него, – можно не сомневаться. И хорошо, и ладно! Он заранее готов на всё. Он не будет ни от чего отказываться – лишь бы страшный человек с кругляшками пенсне на квадратном лице – Лаврентий Павлович Берия, дал ему возможность дожить остаток жизни на воле. От одной мысли о Берии холодило не меньше, чем от колымских воспоминаний. Дрожь пробежала по телу и невольно уткнулся он лбом в оконное стекло, как бы отгоняя от себя призраки.

Кто-то дотронулся до плеча. Саркисов, одетый в пижаму, возвращался в купе из туалета.

– Часов через пять Москва будет, профессор. Вы бы поспали до утра. Днем, может, и не удастся отдохнуть. Дела будут...

И он, не дожидаясь ответа, скрылся в купе.

Слово "дела" обожгло Лукомского своим вторым, тюремно-следственным смыслом. Только непохоже, чтобы Саркисов намекал *на это*. Для чего тогда весь балаган с его "освобождением"? Но, как говорится, пока *суд да дело*, самое умное – отоспаться. Тут Саркисов прав стопроцентно.

И Лукомский, крадучись, стараясь не привлекать лишнего внимания грозных компаньонов-стражей, пробрался на свое место и тут уж уснул, как убитый.

### 3.

Как всегда, на даче в Кунцево пировали много и долго. Роль тамады, вопреки обычаю, Сталин поручил не Берии, а Булганину, и тот старался во всю: произносил тосты – по-русски, конечно, но длинные, имитируя кавказскую витиеватость; чтобы развеселить Х о з я н а, пытался остерить – и довольно пошло; а когда Сталин все же засмеялся, сам затрясся от хохота так, что дрожание холеной бородки, вздрагивающей в такт сталинским смешкам, начало казаться Берии бесконечным. – За эту бородку бы тебя да и подцепить, старый козел, – подумал он, представляя себе породистое булганинское лицо искаженным не от услужливой смехоты, а от гримасы боли. Это на мгновение успокоило, но только на мгновение... Х о з я н я явно сердится на него, если предпочел Булганина на роль тамады. Что он в ней понимает? Не больше, чем в военном деле – "министр обороны" липовый! Ну да ладно, как с поста военного слетел, так и на застольи осрамится. Ишь ты, заговорил вроде с кавказским акцентом, – под грузина подделывается!.. Только С т а р и к у фальшивых грузин не надо, если настоящие имеются...

И в самом деле, Сталин лениво махнул рукой. – Нэт, Булганин, ты это брось... Произношение у тэбя как есть взликоросское. И хоть мы всегда пили, пьем и будем пить за взликий русский народ, однако преувеличивать его способности нэ станем. Ни один русский нэ сможет сыграть под грузина. А вот грузин под русского – сможет...

Поскольку говор самого Сталина никак не подтверждал этой смелой гипотезы, все немного заерзали на своих местах: потупился подслеповатый, вечно шурящийся Андреев; Василевский сделал вид, что особенно увлечен неподдающимся крылышком цыпленка; Каганович шумно глотнул лимонад, а Хрущев занялся созерцанием двух фруктов, лежащих перед ним на блюде: груши и огромного – едва ли не мичурина – яблока. Только находчивый Микоян не побоялся поддержать рискованную тему.

– Верно подмечено, – сказал он, как бы в задумчивости легкой. – Вот хотя бы роль Сталина в кино. Когда Геловани играет, он говорит по-русски с акцентом, конечно, но естественно, а когда Дикий старается передать грузинский акцент, так и чувствуется наигрыш.

Сталин улыбнулся благосклонно. Упоминание о любимых кинолентах (хороши все-таки были и "Сталинградская битва", и "Падение Берлина", и "Третий удар"!)) приятно пощекотало. Но все же решил Микояна поправить.

– Ты, Анастас, нэмого нэ туда загнул. Геловани, конечно, хорош как актер. Однако типаж он все-таки нэ русский. А я имэл в виду способность пэревоплощения в русского человека. Полного пэревоплощения. Такого, чтоб и отличить нельзя. У пэдставителей какого народа лучше всего такое получилось бы, а?..

Одутловато-пьяненький Маленков неожиданно выпалил:

– У евреев.

Выпалил и сам замер. Замерли и остальные. Упоминание евреев едва ли улучшит настроение Х о з я н а. Все знали, что кампания против

сионизма набирала силу необъятную. С чего ж бы это Маленкова так нестати поволокло на скользкую тему? Но Сталин, как будто, не рассердился чересчур, хоть и посерьезнел лицом немного.

– Во-пэрвых, Георгий Максимилианович, свэт ты наш дорогой, – начал он гортанным голосом, а так как отхлебнул при этом винца и дал ему хорошо пройти вовнутрь, то наступила пауза. Все молча ждали, когда она кончится. – Так вот! – многозначительно поднял палец Сталин, – во-пэрвых, евреи – нация, а нэ народ; во-вторых, ты, Георгий Максимилианович, в этом деле нэ судья; уж если кому и говорить об этом, то Лазарю.

И, хохотнув, Сталин ткнул локтем сидевшего рядом с ним Кагановича. Тот вежливо-нехотя осклабился.

– Что ж тут толковать? Есть свеженький анекдот. Один еврей спрашивает другого: "Что будешь делать, если погромы начнутся?" – А мне погромы не страшны, – отвечает тот. – Почему? – Да я уже давно по паспорту русский. – Ну, знаешь, – говорит первый еврей, – бить-то будут не по паспорту, а по морде...

Сталин благодушно захохотал; остальные его поддержали.

– Молодец, Лазарь!.. Хороший анекдотец припас. Конечно, наш Прокурор, – и тут Сталин, кажется, впервые за весь вечер прямо в лицо Берия взглянул, – он тэбе срок за антисоветскую агитацию мог бы дать, прослушав такую клевету на нашу действительность. Шутка ли, еврейские погромы в стране победившего социализма! Как, Лаврентий, дал бы ты срок Лазарю?

Похоже, что доброжелательность Ст а р и к а восстанавливается, раз заговорил, да еще и "Прокурором" назвал, – подумал про себя Берия, а вслух проговорил:

– Срок – дело нехитрое. Срок и телеграфному столбу припать можно. Но я друзей не сажаю, а у нас с Лазарем Моисеевичем всегда дружба бо-ольшущая была. Не правда ли, Лазарь?..

– Твоя правда, Лаврентий, – подтвердил Каганович, прищуриваясь и становясь в этот момент особенно похожим на грузного, лысеющего кота. Только Берия, к сожалению, не был мышкой, которую проглотить можно. – Твоя правда... Вот я бы и хотел провозгласить тост за дружбу, если наш тамада Николай Александрович не будет против того, что посягаю на его полномочия.

– Он нэ будет против, – заверил Сталин. – Хорош тамада, который позабыл предложить тост за дружбу!.. Придется нам, товарищи, Булганина разжаловать. У Прокурора нашего руководство питием всегда выходило лучше. Пожалуй, ему и карты в руки. А пока, как говорится, дернем за дружбу!

И Сталин поднял свой бокал с любимым кавказским вином. Сам отпил несколько глотков; зато другие старались во всю – главным образом, по части коньяка или водки. Пить не слишком крепкое вино и пить понемногу – это была исключительная привилегия Сталина во время кунцевских застолий.

– Кстати, – сказал он, глядя на Берия так, будто хотел пробуравить

взглядом стекла пенсне своего "Прокурора", – ты, Лаврентий, своих чекистов подраспустил нэмого. Знаешь об этом?

– Что, перебарщивают, Х о з я и н? – по-грузински спросил Берия, удивленно подумав, с чего бы Сталину ударяться в гуманизм? Наверняка до Старика какие-нибудь детали из области всяких "недозволенных" методов следствия. А как без них обходиться, без "недозволенных"? Ни одного приличного дела не слепишь без них.

Сталин, однако, не принял предложенной игры в доверительность и ответил Берии по-русски.

– Пэрэбарщивают, говоришь?.. Наоборот, нэдобарщивают... Вот я специально товарища Игнатьева поставил на госбэзопасность, чтобы он подкрутил гайки, нэ взирая на всех твоих протэжэ, Лаврентий. И ты ему нэ вздумай мешать. Уж нэ знаю, почему ты евреям покровительствуешь, – сам, вроде, нэ из прэдставителей семени Авраамова, а сионистов проглядел. И сильно проглядел, скажу тэбе откровенно...

Кровь отхлынула от лица Берии. Старик явно дразнит его, чуть ли не провоцирует. Уже давно поговаривают, что в мингрельской крови Берии есть сильный душок еврейства. Да и создание Антифашистского Еврейского комитета в годы войны приписывают его желанию потрафить сионистам. Тот же Каганович нашептывал Х о з я и н у, что евреи потому и подраспустились, что Берия подтолкнул их к этому своим няньченьем. А теперь вот и в Чехословакии над Рудольфом Сланским сгущаются тучи. Старый друг Рудольф виноват, разумеется, только в одном: он – еврей. Но и лизоблюд Каганович – не великоросс, а – поди же! – в друзьях у Х о з я и н а числится неизменно. Выходит, Сталину можно вести дружбу с евреями, а для него – Берии – это преступление. Положительно, Старик потерял свою хваленую логику.

Берия снова попытался воззвать к земляческим эмоциям шефа, заговорив по-грузински.

– Х о з я и н, я подтяну всех виновных в утрате бдительности. Можешь мне верить, подтяну...

И опять Сталин не выразил кавказской солидарности, ответив на своем гортанно-глуховатом русском:

– Надеюсь, что подтянешь, Прокурор ты мой бэсценный... А что до веры, то тэбе я верил прэжде и верю тэперь... *Пока* верю...'

Это жутко-подчеркнутое "пока" потрясло всех присутствующих, но Берия вдруг почувствовал себя спокойней. Если Старик и привередничает немного, то гарантия доверия – пусть и временного – всё же дается, а это главное. В конце концов, между ними всегда понимания сердечного было больше, чем между остальной бражкой сталинских прихлебателей. Хоть и не хочет Старик переходить на грузинский язык, а всё же не сегодня-завтра останутся они один на один, вспомнят минувшие годы, и полетят вино вместе с байками о том, о сём, и напомнит он Сталину, как чистил он для него родную Грузию, где не слишком-то любили вначале "отца народов". Кто-кто, а Берия хорошо знал, что преданность грузин дороже Х о з я и н у, чем раболепие русских. В Грузии слишком много



людей знало родословную Сталина, кое-что о его молодости — не безупречной; для Грузии, в конце концов, Сталин был если и кумиром, то сначала *грузинским*, а потом уж *Богом*. И никто иной, как он сам — Берия — постарался убрать кого нужно из шептунов с длинными языками и воспоминаниями, чтобы Сталина превратить в Божество без всяких ограничений. А такое не забывается. И кто из сидящих за этим столом, кроме него, смог бы оказать Сталину подобной ценности услуги? Нет пророка в своем отечестве, а в Грузии Сталин пророком сделался благодаря ему — Берии.

Вот почему зря чванится надутый Каганович; напрасно свиноподобный Хрущев смотрит на него с лицемерным сожалением — дескать, сочувствую, друг-Лаврентий, твоему закату, но сделать ничего не могу. А заката никакого и нет. Раз Старик "*пока*" ему доверяет, во власти Берии продлить это "*пока*" на очень долгое время. А там видно будет...

Сталин, между тем, продолжил разговор на большую "еврейскую тему".

— Нэудобно мне ссылаться на самого себя, но приходится, — сказал он веско, обращаясь уже ко всем, сидящим за столом. — Помните, как я всегда говорил: чем дальше мы продвигаемся по пути социализма, тем злее происки наших врагов? И сионисты сейчас — опасность номер один! Я, разумеется, погромов еврейских нэ допущу. Об этом нэ может быть и речи. Однако если люди требуют очистить нэмого русскую избу от еврейских квартирантов, почему бы этого и нэ сделать? Вот нэдавно взял я статистику по Москве только, и в ужас пришел. Что срэди инженеров ведущих, нэ говоря уж об артистах и режиссерах всяческих, что срэди врачей — евреи в процентном отношении идут впэреди всех. А так ли уж это хорошо? Мнэ, например, нэдавно сигнал поступил, что кое-кто из кремлевских врачей диагнозы нэверные ставит, ошибаясь, словно нэопытные студенты-медики. А могут ли такие солидные врачи ошибаться случайно? Навэрняка, нэ могут! Значит, здэсь врэдительством пахнет...

Микоян скептически пожал плечами, что не ускользнуло от внимания Сталина.

— Ты что же, Анастас, вроде соневашься? — спросил он.

Микоян ответил уклончиво:

— Я не знаю всех обстоятельств. Но возникает естественный вопрос: кто в состоянии проверить правильность диагнозов?

— А вот тэбя отправят на тот свет, как Щербакова, — сердито проговорил Сталин, — тогда узнаешь, кто в состоянии.

Говоря это, Сталин смотрел, впрочем, не столько на Микояна, сколько на протрезвевшего почти Маленкова. Хмель отпустил того не случайно. Разговорчики о том, что именно Маленков на банкете в честь окончания войны отравил своего соперника Щербакова, ходили неистребимые. Если Сталин сейчас смотрит на него чуть ли не в упор, это может предвещать жуткую развязку.

Но это, к счастью для Маленкова, ничего не предвещало. Сталин, как частенько повторялось, просто играл на слабых местах одного за другим

всех своих сотрапезников. У каждого из них были свои грехи: помельче и покрупнее и, собственно говоря, Сталин считал, что это даже удобно. Безгреховных людей держать возле себя опасно, а так любого подцепить можно в любой момент. Вон как побелело женоподобное лицо Маленкова с двойным подбородком, который, словно медицинский бинт, нависал над воротником его френча. Сталин вспомнил, как Жданов некогда сообщил ему прозвище Маленкова – "Маланья" и усмехнулся. Все-таки "Маланья" была преданным человеком, а это главное. Вот только с Берией он что-то последнее время чересчур подружился. Это подозрительно...

– Х о з я и н! – раздался вкрадчивый голос Лаврентия. – Позволь мне воспользоваться правом тамады и сказать новый тост..'

Сталин откинулся на спинку кресла.

– Ладно, скажи, – устало почти прошептал он, и сам с удивлением заметил, что прошептал это по-грузински. Вот уж льстивая бестия этот Лаврентий – так-таки и подбил его на интимность ненужную.

Берия встал и, проблестав стеклами пенсне над скрещенными на нем взглядами, заговорил торжественно:

– У нас, на Кавказе, принято произносить длинные тосты. Но мы с вами в России, а не на Кавказе. И я буду краток. Пусть в том бокале, что я поднимаю, сольются вместе кавказское солнце, русское гостеприимство и – нельзя же не сказать в доме хозяина о самом хозяине! – сталинская мудрость. Если бы в моей чаше вина был самый сильный яд, то и он превратился бы от такого соединения в сладкий нектар, и выпил бы я его, не задумываясь. Итак, за Хозяина нашего, за нашу верность ему, за Сталина!

И Берия залпом опорожнил бокал. Тост был явной кульминацией вечера. Все шумно загалдели, стараясь пить тоже до дна, хоть и получалось это не просто. Сам Сталин отпил и на этот раз всего пару глотков, однако на Берию взглянул почти с хмельной дружелюбностью.

– Хорошо сказал Прокурор! Цветисто нэмого, но от души, видать. Спасибо на добром слове, Лаврентий!

Берия понял, что настроение Сталина определенно колебнулось в его пользу. Он еще раза три повторял тосты, после чего роль тамады можно было и свернуть: все упились настолько, что никакие речи уже не требовались. Только Сталин сохранял голову ясной – пил по-прежнему мало, а остальных определенно подбадривал.

Берия же, хоть и нагрузился водкой изрядно, все-таки пьян был, как говорится, не в стельку...Пенсне запотело; он несколько раз протер стекла его, и все-таки лица Сталина и других казались размазанными легкой туманностью. И сквозь туманность эту проплывали в сознании неожиданно четкие, до резкости минутной, яростные мысли.

Вот сидит он за столом величайшего диктатора мира. Пьет его вина, вкушает его яства. Вместе с ним сидят те, кто ненавидит один другого ненавистью смертельной и кого уравнивает лишь общий страх перед верховным – Иосифом. Поистине: Иосиф и его *н е б р а т ь я*. Поредели ря-

ды основных конкурентов Берии в годы джунгли, ведомой лишь самым посвященным в дела Кремля людям, борьбе за власть возле страшного в гневе, да и в милости своей, вождя. Нет Шербакова, которого действительно красиво убрал Маленков; нет Жданова, который перестарался немного, пытаясь убрать сразу и Маленкова и Берию; расстреляны выскочка Вознесенский и фатоватый недоумок Кузнецов с его ленинградской бандой. Впали в немилость и не допускаются на кунцевские пиры Ворошилов и Молотов. Первому пришлось наклеить ярлык "английского шпиона"; у второго – загнать в тюрьму властную женушку. Их песенка, можно сказать, спета; в качестве конкурентов они не опасны. Самый близкий к Сталину человек – Маленков, искусно обработан его – Берии – дружелюбием. Много тайн связывает их вместе, а ничто лучше не связывает людей, чем общая тайна. Кого же стоит принимать всерьез как соперника? Микояна? Хитер – армянская лиса, но мелковат, пожалуй, для игры на *первую* роль. Кагановича? – Этого можно списать как еврея. Для того, чтобы еврей стать вождем в СССР, ему надо быть вторым Троцким, а второго Троцкого не будет. Шверник – фигура чисто декоративная; Булганин – того же плана. Поскребышев если что-то и значит, так по милости Сталина, а вообще выше мелких интриг этот сплетник не прыгнет. Может быть, Хрущев?.. Но он – просто мужик; в колхозах и "агродородах" своих он еще что-то понимает, но до большой политики ему не дотянуть. Куда опасней Васька Сталин! Сынок, конечно, повторить отца не сможет – Сталина никто не повторит! Но пока он командует московскими ВВС, легко ждать любого подвоха. Ваську не купишь и не подговоришь против отца – уж он-то ему предан на все сто процентов. Одна надежда: сам Сталин бывает в гневе, когда узнаёт о похождениях и пьянках своего наследника. Вот на этом его и подцепить можно. Состряпаем такую "аморалку", что Старик ужаснется. А если он Ваську от дел отставит – пусть себе пьет Василий Иосифович дальше. Пьяница в отставке – это дело личное; пьяница во главе авиации – проблема государственная...

Было уже около четырех утра, когда Сталин дал знак, что пора по домам. Кое-кто поднабрался сверх меры. Охранники вытаскивали под мышки полусонных Поскребышева и Шверника. Микоян с Хрущевым, в обнимку, пританцовывая, доплелись до двери, а Сталин, идя рядом, отбивал такт в ладоши: дескать, пляшите, ребята! Прощаясь с Берией, Х о з я и н был ласков: "Завтра загляни, Лаврентий, к вечерку. Посидим в одиночестве, вспомним Грузию!" Берия удовлетворенно перевел дух: всё идет, словно по графику. Старик возвращает ему свое покровительство. Значит, хозяином ситуации останется он – Берия, и никто другой. Никто, включая и самого Х о з я и н а...

В машине, на пустынной автостраде между Кунцевым и Москвой, где черными призраками одиноко проносились правительственные автомобили, Берия вздремнул. Голова немного побаливала, но следы опьянения почти исчезли, когда он вошел в свою московскую квартиру на Малой Никитской. Собственно говоря, спать уже не хотелось, но впереди был загруженный

день, а перед вечерней встречей со Сталиным следовало накачать бодрость. Так что хочешь – не хочешь, а надо в постель.

Какая-то ускользающая мысль металась в сознании перед тем, как Берия закрыл глаза. Что это Старик наговорил о врачах? Всюду ему мерещатся заговоры. Сам Гиппократ, пожалуй, не убедил бы Сталина в медицинской лояльности, а уж над гиппократовой клятвой врачей он просто смеется... Ладно... Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Последним же должен быть не Сталин. От этого зависит слишком многое. Можно сказать, от этого зависит всё.

#### 4.

Лукомский сидел неестественно прямо – словно готовый вскочить по первому знаку своего собеседника.

– Да вы не волнуйтесь так, профессор, – усмехнулся Берия. – Расслабьтесь. Выпейте вот этого коньяку, почувствуйте себя, как дома. Выпейте, выпейте, – повторил он, видя, что Лукомский колеблется.

Лукомский залпом опрокинул коньяк и закурил.

Одетый в прекрасно сшитый костюм, чисто выбритый, уже пополневший немного с лица после двух месяцев сытой жизни на изолированной, но – признаться – сверхкомфортабельной подмосковной даче, он внешне ничем не напоминал недавнего ээка-доходягу. Правда, только внешне. Прежний страх загнанного человека жил в нем, то и дело заставляя думать, что происходящее, со всем его благополучием и комфортом, – какой-то дикий розыгрыш судьбы и что сейчас вдруг ворвется дюжина надзирателей с наручниками, скрутят его и поволокут на Лубянку "шить" новое "дело". Поневоле теперь, в квартире Берии, Лукомский поджимался и содрогался внутренне – ни выпитый коньяк, ни – спокойное по виду – выкуривание сигареты за сигаретой не помогали.

Берия, одетый в серый, дымчатого оттенка костюм, играл роль радужного хозяина, предлагающего всё от чистого сердца: и вино, и закуску, и доброжелательство. Надо было приручить напуганного профессора; не просто повелевать им, а именно сделать *своим*, что называется не за страх, а за совесть. Привыкнув доминировать над людьми, трудно переходить на равную с ними ногу, да и вообще *понижение* не в характере Берии. Но в случае с Лукомским ему хотелось добиться чувства интимной солидарности в их будущих отношениях; самого профессора – при всех его ученых заслугах и званиях – он не мог уравнивать с собой: не тот профиль. Оставалось самому держаться попроще, сняв, по возможности, то парализующее других впечатление, которое производил обычно его взгляд. Почти гипнотический, – как утверждал его интимный друг Будиани – сам *настоящий* гипнотизер и вообще спец по всякой там "черной магии". Утверждение насчет "гипнотичности" его взгляда страшно льстило Берии, тем более, что он точно знал: Будиани – не как другие его близкие – не льстец.

Берия и Лукомский сидели в просторной гостиной с высокими окнами, выходившими во двор. Снаружи покачивались кроны зазеленевших недавно

деревьев. Куски голубого неба четырьмя квадратами зеркальных, из цельного стекла, окон вливали в комнату ощущение лучезарного покоя. Таким же покоем веяло от дорогого кавказского ковра на полу, от поблескивающей перламутрово серебряной чеканки какого-то орнамента на стене, от мраморной полировки камина в глубине гостиной. Лукомский обратил внимание, что на стенах, не занятых чеканкой, висели картины – очень хорошие и едва ли не модернистские. И это в разгар борьбы против "упаднического искусства гнилого Запада"! Вообще вкус к иностранному в пристрастиях Берии явно преобладал: коньяк был французского производства, сигареты – американские; костюм – неопределенной национальной принадлежности, но *определенно не советский*.

– Если б в довершение ко всему наше свидание происходило не на советской территории! – невольно подумалось Лукомскому, но тут же он постарался отогнать от себя крамольную мысль, стараясь как можно лучше вслушаться в то, что говорил ему Берия.

А говорил он вещи поистине удивительные.

Первым ошеломлением для Лукомского был момент, когда Берия протянул ему какую-то фотографию. Лукомский взглянул на нее и сначала не понял: его это фотография или не его? Лицо сфотографированного было лицом самого Лукомского – только помолодевшим лет на десять. И к тому же белый воротничек, галстук... Лукомский точно видел, что фотография не относится к его *дотюремному* периоду жизни; не могла она быть сделана и с него – *сегодняшнего*. И в то же время это, несомненно, был он.

– Узнаёте, профессор? – спросил Берия.

– Не совсем, – ответил Лукомский, вертя фотографию в руках. – Это должен быть я, но когда бы я мог быть таким?

– Это не вы, профессор, – сказал Берия. – Это человек, который все годы, пока вы находились в заключении, жил под вашей фамилией и делал медицинскую карьеру в качестве профессора Лукомского. Он тоже врач – неплохой, но хуже вас... Настоящую его фамилию вам знать не к чему...

– Значит... – растерянно пробормотал Лукомский, – у меня был двойник?..

– Как видите.

– А где... где он теперь?..

– Далеко, – улыбнулся Берия. – Как говорится, "далеко от Москвы". А если точнее – в тех самых местах, где вы находились совсем недавно и куда вам не хотелось бы вернуться, не так ли? – Поскольку Лукомский молчал, Берия повторил свой вопрос: "Хотелось бы или нет, профессор?"

– Конечно, нет, – почти прошептал Лукомский, бледя лицом и губами. – Чертова привычка пугать людей, – подумал про себя Берия. – Ведь хотел обласкать человека, а нагнал на него ужасу. Все-таки профессия чекиста имеет свои издержки...

И стараясь говорить как можно мягче, Берия подлил Лукомскому коньяк.

– Видите ли, профессор... Я не хочу ворошить прошлое. Ваш арест пятнадцать лет назад был вызван особыми обстоятельствами. Проводилась определенная кампания и вас, что называется, *замели* на ее волне. Все эти годы ваш двойник играл вашу роль. Зачем?.. Уж позвольте мне не раскрывать вам государственную тайну. Примите к сведению, что *так нужно было*...

Голос Берии посуровел и Лукомский поспешно кивнул в знак того, что он ни о чем, собственно, не спрашивает. Берия удовлетворенно хмыкнул.

– Ну так вот, – продолжал он. – Мы знали, что находясь в лагере, вы честно соблюдали поставленное вам условие: никому не раскрывать вашей настоящей фамилии. Вас проверяли в этом пункте и мне лично докладывали об этом. Можете не сомневаться, что если бы вы проболтались, я не имел бы удовольствия сейчас с вами беседовать. А так я убедился, что вы – человек, на которого можно положиться. Которому можно верить. Ну, а в то, что вы ни в каких "преступлениях" не виновны, – это я хорошо знал... Вернее, – быстро поправился Берия, – об этом я *узнал*, разобравшись с вашим делом.

– Строго говоря, – продолжал он, испытующе взглянув на Лукомского, – вас должны были освободить гораздо раньше, если б не бюрократы, которые имеются везде. В системе госбезопасности тоже. Кое-кому я дал нагоняй за это, уж поверьте. Во всяком случае, лучше поздно, чем никогда. Я надеюсь, вы не вполне утратили свою врачебную квалификацию за время, проведенное в лагерях?

– Думаю, что нет, – ответил Лукомский. – Первые годы я работал в лагерных больницах; потом почему-то меня перевели на общие работы и тут, конечно, было не до медицины. – Голос Лукомского дрогнул; под влиянием коньяка, общего тона разговора и как будто бы симпатии, которую выражал к нему Берия, ему стало вдруг нестерпимо жалко самого себя. – Поверьте, Лаврентий Павлович, я едва не умер на этих общих работах. Так тяжело было...!

– Понимаю, – сочувственно кивнул Берия. – Мы, кстати, наказали кое-кого из администрации лагерей за их произвольные действия. Это в высшей степени глупо: золотые руки врача уродовать на лесоповале или ковырянии тундры. Глупо и преступно...

Берия глал вдохновенно; глал, сам себя накачивая убежденностью, что он верит своим словам, сказанным в утешение этому сентиментально слезливому профессору, вернувшемуся почти с того света. Конечно, он никого не наказывал за случившееся с Лукомским. Но ведь *мог бы* наказать, если б захотел! Он вообще всё *мог*... И было приятно чувствовать, что, когда требуется, он может выступить в роли поборника справедливости, утешителя несчастных, заступника за слабых. В конце концов, он не так уж и зол по натуре, как думают о нем. Только кому это знать со стороны?..

Берия вздохнул и заговорил снова.

– Как ни печально всё, происшедшее с вами, профессор, но давайте теперь смотреть вперед – не назад. Вы на свободе около двух месяцев. Я распорядился, чтобы Саркисов снабжал вас новейшей медицинской литературой. Надеюсь, вы ее читаете?

– С большим интересом, Лаврентий Павлович.

– Отлично. Таким образом, будем считать, что вы постепенно входите в вашу профессиональную норму. Это весьма важно. Через несколько дней начнется вторая фаза вашей деятельности как свободного человека. На даче вас подкормили и поправили, но все-таки вы жили таким отшельником. Теперь вы переедете в Москву; квартира вас ждет, работа тоже. Вы должны влиться в коллектив Академии медицинских наук. Ваш двойник был бессемейным человеком – вам не предстоит поэтому никаких сложных объяснений с мнимой женой, детьми и так далее. Что же до некоторых общих знакомых, то, право, если вы не выдадите себя, никто и не догадается о подмене. Помните, что это очень важно. В лагере ни один человек не должен был знать, что вы – профессор Лукомский, а здесь, в Москве, никто не должен усомниться, что вы и есть Лукомский. Впрочем, – коротким смешком засмеялся Берия, – у вас то преимущество, что вы все-таки Лукомский *на самом деле*.

После того, как вы "вратете в коллектив", вам предстоит особая миссия. При этом абсолютно секретная. Вы будете обеспечивать медицинский контроль над здоровьем... – Берия выдержал паузу и добавил медленно... – товарища Сталина.

Лукомского словно отбросило от края стола волной ужаса. Он втиснул себя в спинку кресла, чувствуя, как по спине заструился холодный пот.

– Товарища Сталина? – механически переспросил он.

– Именно так, – холодно подтвердил Берия. Он по-прежнему глядел на Лукомского в упор, но говорить начал теперь с некоей отрешенностью в голосе, словно академически объясняя скучные абстракции, в общем-то понятные, однако нуждающиеся в повторении.

– Последнее время товарищ Сталин испытывает иногда сердечные боли. К сожалению, скептически относясь к врачам, он перешел на самолечение: пьет всякие травяные настойки, гомеопатией увлекается и прочее. Одновременно нет-нет, да и трубку покуривает, хотя ему вредно. И выпивает к тому же. Мы все обеспокоены состоянием его здоровья, особенно из-за сердца. В ближайшие дни я с ним решительно переговорю и уверен, что он согласится допустить к себе врача-кардиолога. Этим врачом будете вы.

– Но это такая высокая ответственность, – забормотал Лукомский. – Я все-таки вышел из практики...!

– Вы войдете в нее, – твердо произнес Берия. – В конце концов, перед врачом все люди равны, и вы должны относиться к товарищу Сталину как к обычному пациенту. Вы сделаете все необходимые проверки, анализы; пропишите самые лучшие лекарства, если это нужно. О каждом ва-

шем рецепте, о каждой мелочи, связанной с лечением товарища Сталина, вы будете докладывать мне. Всё это в абсолютном секрете. Никто о наших контактах не должен знать... Включая сюда и товарища Сталина... Вы меня поняли, профессор?

По лицу Лукомского — серому от страха, по его остановившимся, а потом заметавшимся зрачкам, Берия видел, что профессор если и не понимает его вполне, то согласен делать всё, что от него требуется. Что ж, это самое главное. Понимание всего *до конца* требуется от командира — не от подчиненного. Командиром же Лукомский не был.

Берия встал и сделал несколько шагов по комнате, отхлебывая свой коньяк.

— Вы должны учесть, профессор, что я оказываю вам высочайшее доверие. Такое, каким никто не мог бы похвастаться. После Сталина я второй человек в государстве по степени реальной власти. Таким образом, преданность мне равна безусловной преданности нашему государству.

Поэтому вы не должны удивляться странности или, скажем, необычности поручений, которые я могу вам дать. Здоровье товарища Сталина — это проблема колоссального значения, а мне необходимо получать информацию об этом из первых рук. Мне нужен компетентный и одновременно полностью преданный человек, который бы знал о здоровье Сталина абсолютно всё. И чтобы никаких прикрас, ни малейших искажений истины! Не подумайте, что я замышляю что-то дурное. У Сталина нет более преданного друга — *брата*, можно сказать, — чем я. Но именно по этой причине я должен направлять его лечение. Люди бывают капризны по натуре; люди, облеченные большой властью, капризны вдвойне. Сталин пренебрегает своим здоровьем, как будто оно только его личное дело. А это дело го-су-дар-ствен-ное, и я должен обеспечить лечение Сталина даже вопреки самому Сталину, если угодно. Вы же знаете, что больному врач имеет право дать необходимые лекарства, не спрашивая его согласия на это. Возможно, в случае с товарищем Сталиным придется так действовать в какой-то момент.

Берия поставил опорожненную рюмку на стол.

— А теперь, профессор, нам придется расстаться. Надеюсь, вы поняли меня правильно и не захотите, чтобы я снова воспользовался вашим вашим двойником?..

Намек был — прозрачнее не придумаешь. Лукомский тяжело встал и видя протянутую ему руку, поспешно пожал ее. Рука Берии была холодной и влажной; впрочем, такой же, вероятно, была рука самого Лукомского. Провожаемый до двери гостинной, он чувствовал на себе почти неотрывный взгляд из-под ледышек пенсне. За дверью же стоял наготове полковник Саркисов, как обычно молодежавый и подтянутый.

— Рафик, — сказал Берия адъютанту, — доставишь профессора на дачу, а потом вернешься ко мне. Сделаем городскую вылазку.

И оба: Берия и полковник, обменялись понимающими улыбками.



## 5.

Улыбаться было от чего. На сакраментальном языке Берии "городская вылазка" означала приватную поездку по Москве с выбором на улицах подходящих по вкусу женщин. Такие поездки Саркисов устраивал для шефа систематически, по мере того, как дежурные любовницы надоедали и получали отставку. Новенькие же красотки, часто буквально девочки, бывали настоящим упоением. Что в смысле их полудетского возраста, что по причине нетронутой девственности.

Но пока Саркисов вернется, Берия решил сосредоточиться на мыслях о Лукомском и его врачебной миссии. Сев на диван, он перелистал несколько страниц американского "Плейбоя" и закурил.

То, что Лукомский выполнит всё, порученное ему, — в этом можно было не сомневаться. Сломленный человек — он будет стремиться к одному: выжить любой ценой. К тому же, полностью все карты ему и не открыты — пока не время. "Лечить товарища Сталина" — чем не благородная задача? Ну а каким образом лечить — это уже другой вопрос.

Все-таки хороший узелок завязался, когда в 1938 году он упрятал настоящего Лукомского в тюрьму, заменив его очень кстати подвернувшимся двойником! Ведь сам не знал в точности, зачем это сделал, но чувствовал, что пригодиться может такая подмена. Можно сказать, нутром чувствовал. И пригодилась спустя пятнадцать лет.

Но, разумеется, надо четко проанализировать всё до конца. Двойник Лукомского бывал у Сталина считанные разы и довольно давно. Поэтому Старик ничего не заподозрит. Но, предположим, он даже узнает о замене врача. Что ж тут плохого: ведь в конце-то концов, заменили *мнимого* Лукомского на *настоящего*. Вот если б наоборот — тогда подозрительно. А так — просто торжество справедливости.

В крайнем случае придется поведать Сталину историю 38-го года, когда, мол, недобитые ежовцы, заменив настоящего Лукомского подставным лицом, упрятали его в тюрьму, чтобы замести все следы. Старик на такую версию клюнет: ведь получается, что его лечил в качестве кардиолога какой-то подозрительный двойник. А это пахнет заговором, вредительством, подготовкой убийства!.. И кто же тогда спасает его от страшной угрозы, кто арестовывает двойника, извлекая настоящего Лукомского — честного человека и хорошего специалиста? Всё он — неизменно преданный друг и брат Лаврентий. Бóльшей степени земляческой верности Иосифу и вообразить нельзя. А с дубиной Игнатьевым на посту министра госбезопасности как-нибудь справимся. Абакумов был похитрей и поопытней, но вот начал крутить против Берии, и долго ли продержался?

Самое главное теперь — убрать от Сталина его любимого врача Виноградова. Кажется, для этого золотой шанс нашелся: Старик недоволен кремлевскими врачами. Кто-то наступал на них. Что ж!.. Жаль, что идет это дело через Игнатьева, но прицепить к нему Виноградова будет несложно. Если он уже есть в намеченном списке жертв, то он — Берия — заступаться, конечно, не станет, а если Виноградова обошли, то он под-

кинет на него "материалец". Когда Старик уверует в очередной "заговор", чем больше ему подсунь "заговорщиков", тем лучше. Уж его-то психологию понять нетрудно: тиран если чем и пресыщается, то не кровью и не властью. Это не надоедает.

Берия вздохнул, поднялся с дивана и почувствовал, что от политических размышлений его уже мутит. Надо как-то разрядиться. Он взглянул на часы: Рафик придет нескоро. Пожалуй, стоит просто расслабиться — полежать или послушать музыку. Он быстро прошел в другую комнату: поменьше, с книжными шкафами и новейшего выпуска радиолой-комбайном. Как всегда, приятно пощекотала глаз ласковая полировка автоматического проигрывателя с набором только что присланных из-за границы пластинок. Бетховен... Шуберт... Вагнер... Брамс... Моцарт... Пожалуй, под настроение лучше всего Моцарт... Да, да, именно эту запись...

Он включил радиолу. Анданте из фортепьянного концерта До-мажор номер 21. Пленительная музыка!.. Словно по сердцу проводят эти скрипки, словно волной омывают рояльные вздохи. Да, да, именно так: музыкальной волной полугрусти, полурадости отдохновения. Вспомнилось, что у Стендаля прочитал когда-то об этих мелодиях: "мгновения грез и очаровательной меланхолии — словно поздней осенью идешь в тени старинного замка, по длинной платановой аллее". Очень тонкое наблюдение! Высокую музыку могут понять только высокие духом люди...!

О, если бы кто-нибудь из посторонних мог увидеть Берия в этот момент! Сняв пиджак, распустив галстук на белоснежной рубашке, обмякнув на диванной подушке, плотный, лысеющий человек средних лет мечтательно полузакрыв глаза. Казалось, он дремлет. Лишь тонкая верхняя губа, слегка подергиваясь иногда, как бы от особенно волнующих звуков, выдавала его бодрствование. Да пальцы пухлых рук иной раз цевелились в такт музыке. Вот и всё. В остальном же он — не спал, конечно, а словно растворялся в осознании того, какие добрые, чистые, — наивные, если угодно, — однако до чего же красивые эмоции, переживает его душа. Он верил, что любим и любит, что в глубине своей добр и может рассчитывать на добро, что всё его тело пожившего бурной жизнью, располневшего пожилого мужчины — лишь оболочка, вмещающая неиссякаемые резервуары нежности и сострадания к людям, к этой стране, в которой он живет, даже к Иосифу, которого ему придется скорее всего убить, чтобы спасти самого себя. Но слушая элегическое анданте, ему никого не хотелось убивать. И он смахнул крохотную слезинку.

Звуки радиолы баюкали комнату. Человек на диване баюкал в себе *человека*. Берия слушал Моцарта.

## 6.

Саркисов вернулся после полудня. "Городская вылазка" — соответственно — началась еще позднее. Впрочем, оно было даже к лучшему: перед этим отдохнулось немного и, сев в машину, Берия ощутил незамутненный ничем азарт охотника. Тем более "дичь" предвещала наслаждения

первостатейные...

Главным образом он любил блондинок. Частенько просто – рыжих. Брюнетки, правда, существа более страстные, поизобретательней и по-смелей в постели, но особой смелости в постельных делах он от женщин уже не требовал. Сам был хорошим экспериментатором. В любой позиции, любым способом. Если признаться, то излишняя готовность женщин отвечать на *все* его желания, последнее время раздражала против них. Одно из настоящих украшений женщины – скромность. Даже в момент самого откровенного секса. Строго говоря, это пикантности прибавляет, когда она не раскрывается вся уж так, наизнанку. Некоторые мужчины негодуют на скромных: дескать, лежит, как бревно, никакой тебе отдачи! Но вот здесь-то и смак: когда перед тобой распростерто обнаженное женское тело – податливое и чуть-чуть недоступное еще, трепещущее и замирающее тело, над которым именно ты – обладатель полный (делай с ним – что хочешь и *как* хочешь!), когда ты чувствуешь, что, *входя в это тело*, ты его хозяин больше, чем просто партнер, так сказать, соучастник полового акта, ты испытываешь нечто большее, чем просто секс: ты сопричастен таким сладким тайнам власти над человеческим существом, каких не дает даже власть в политике. Уж кто-кто, а он мог поручиться за обе ипостаси этого сравнения!

Последняя его любовница – актриса провинциального театра, попавшая в Москву на гастроли и приглянувшаяся ему во время очередной "вылазки", накутила довольно быстро именно потому, что при всей внешней невинности, бесом огненным крутилась в постели: что тебе передком, что задком; поддавала так – круги в глазах и пот градом! Уж слишком активно игралась. По части минета пересаливала: настолько опустошенным иной раз чувствовал себя после ночи с ней – хоть в монахи запишись и обет безбрачия прими! Когда тебя, можно сказать, *вытывают* без остатка, не сразу и поймешь, кто в таком поединке играет роль мужчины, кто – женщины!

Полуоткрыв занавеску окна машины, небыстро шедшей вдоль самой кромки тротуара, Берия изучал проходящих женщин и девочек. За рулем сидел Саркисов; шофера не взяли. Машины с охраной двигались, конечно, где-то сзади, но приказано им было держаться на отдалении – не мешать. Хорошего экземпляра – по-настоящему *хорошего* – не замечалось. Само собой, красивых женщин – масса, но ими разве удивишь? Отчего-то не вспыхивало чувство мгновенного и острого желания *обладать*, хоть и раздевал он взглядом всех замеченных женщин аккуратнейше. А ведь азарт к поиску был; и какое-то "тело" требовалось.

– Слушай, Рафик, – буркнул он Саркисову, – что мы всё в центре крутимся. Этак мы на собственных, кремлевских сучек наткнемся. А они уже поперек горла у меня. Поехали куда-нибудь на окраину...

Саркисов понимающе кивнул. На окраину? – это можно. Там, кстати, и охране легче будет вести наблюдение за их машиной.

Еще с полчаса покрутились они по улицам, выехав для начала за Са-

довое кольцо. Добрались до Новодевичьего монастыря; потом завернули в какие-то, уже почти пригородные переулки, где каменные здания начали чередоваться с деревянными бараками и сельского вида домами. Когда проезжали мимо выходящего на берег реки парка с полуобвалившейся оградой — кое-где железно-решетчатой, а местами сколоченной из досок, Берия вдруг велел остановить машину, сказав, что пройдетя немного.

В самом деле, вышел. Надвинул шляпу на голову так, что нависала почти над пенсне, одну руку сунул в карман, другой машинально сорвал веточку с тонкого деревца у самой обочины. По тропке, незаконно протоптанной возле одной из дыр в ограде, прошел в аллею. Саркисов следовал за ним на расстоянии нескольких шагов.

Кажется, удача была еще ближе разделявшего их расстояния. Едва только аллея сделала петлю, вытянувшись совсем к берегу реки, как они увидели баскетбольную площадку. Группа школьниц металась по ней этаким букетом оживших цветов: возбужденные лица, загорелые стройные ноги — словно стебли бронзовеющего колора; разноцветность трусиков и маек. Одна другой лучше! И столько свежести, задора, раскованности! Спортивный азарт баскетболисток — охотниц за бездушным мячом, чертовски перекликался с охотничьим азартом Берии.

Он постоял минут пять возле проволочной сетки, отгородившей баскетбольную площадку от дорожек парка. Саркисов, стоя рядом, дублировал его сосредоточенность. Да, одна другой лучше! Но не всех же сразу?.. Берия невольно усмехнулся мысли провести ночь с двумя женскими баскетбольными командами. Для этого между ног надо иметь по крайней мере баскетбольный мяч. И не один!.. Так какую же все-таки выбрать?

Он отвел взгляд от площадки и оглянулся. Группа штатских мужчин с очевидной выправкой маячила между деревьями. Охрана!.. Уже добрались, ангелы-хранители... И тут его взгляд, отрываясь от фигур охранников, сам собою упал на скамейку, расположенную почти рядом с ним и Саркисовым.

Как раньше он не заметил сидящую на ней девочку? Одета в спортивные трусы и майку с номером, она, по-видимому, была запасной. Но игрою на площадке совсем не интересовалась; держала на коленях книжку и вся ушла в чтение. Лишь почувствовав на себе взгляд человека в пенсне, подняла голову, взглянула на него, задержалась лучистыми глазами, пожалуй что, на Саркисове скорее, чем на нем, и снова уткнулась в книжку. Но какие же глаза!.. Огромные, опущенные ресницами с отливом, голубовато-дымчатые, искрящиеся. Лицо — точеной красоты; аккуратнейший носик, губы идеального рисунка — прямо для поцелуев созданы; овал лица — словно в рафаэлевском исполнении. И фигурка безукоризненна.

Берия понял, что она — искомая. И слава Богу! — найденная. Что до возраста совсем нежного, то это его не смущало: с родителями всегда можно договориться — вопрос, как правило, в цене, а за такую красотку заплатить ничего не жалко. И как удачно, что она в баскетбольной форме. Тело проглядывается почти целиком, а то, что не проглядывается, — вооб-

разить нетрудно. Впрочем, к скромному виду красотики вполне подошло бы и школьное платьице с пелеринкой, и даже монашеское одеяние. "Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!" Воистину!..

– Саркисов, – хрипло проговорил Берия, невольно глотая сладострастную слюну. Воображение разыгрывалось с реактивной скоростью. – Я иду в машину. Распорядись, чтобы *эту девочку* доставили... Все технические детали устрой как можно деликатней. Чтобы родители там не волновались... ну и прочее... Понятно?..

– Будет сделано, – улыбаясь почтительно, проговорил Саркисов. Шеф медленно отходил, помахивая, словно хлыстом, веточкой деревца. Отличный все-таки вкус у Лаврентия Павловича. Будь он – Саркисов, на его месте, сам выбрал бы именно эту. И он сделал знак охранникам.

Через несколько минут изумленно-испуганная девочка, которую, как выяснилось, звали Наташей, уже сидела в одном из автомобилей охраны. Ей было сказано, что везут ее по очень важному делу в ЦК комсомола, что об этом она никому не должна говорить и что всё будет очень приятно. Предложенная молодым, симпатичным грузином-охранником коробка шоколадных конфет подтверждала эту версию самым *сладким* образом. Наташа быстро освоилась в таинственной ситуации. Смущало только одно: прилично ли будет показаться в ЦК ВЛКСМ одетой лишь в баскетбольную форму? Может, сначала заехать домой? Грузин, красиво улыбаясь ослепительно белыми зубами, сказал, что об одежде ее побеспокоятся лучше, чем дома. И от всего этого: улыбки грузина, стремительной скорости, на которой летел их автомобиль, вообще от романтического начала какой-то заманчивой истории, Наташе сделалось покойно и легко. В конце концов, домой она всегда сможет позвонить по телефону. И она с невольным кокетством хорошенькой девочки улыбнулась грузину в ответ. Через несколько минут машина остановилась возле особняка Берии на Малой Никитской.

## 7.

Ночь обещала быть пленительной, но до нее было еще далеко, а пока Берия находился *в плену* дел. Самых разных и не всегда интересных. Телефоны названивали, словно сговорившись между собой. Хорошо еще, что не было звонка от Сталина – Х о з я и н, вроде бы, решил съездить на Юг. Во всяком случае, при последней встрече сказал, что "недели две Москва может вынести его отсутствие". Тут он прав безусловно: его отсутствие Москве только на пользу.

Зато бесконечные "согласования" и "утрашения" вопросов, связанных с госбезопасностью и системой лагерей; с атомными разработками и заграничными компартиями, просто не давали передохнуть. И как-то не клеилось многое: водородная бомба всё еще была в стадии научной фантастики, хотя Х о з я и н торопил с изготовлением дорогой игрушки – словно нехватало ему, что он – Берия – поставил *серийное уже* производство атомных бомб. Так нет же, подавай ему водородное оружие – и прежде,

чем оно появится у американцев! В самой общей форме было известно, что американцы подотстали с этим делом. Разведывательные данные имелись, конечно, скуповатые, но баланс складывался в нашу пользу. Честно говоря, его сын Сергей понимал в этих подробностях гораздо больше отца. Недаром же получил специальное образование и целым НИИ командует за милую душу. Так что есть родной человек, могущий всё растолковать без всяких обманов. Он и поведал, что американцев, кажется, удастся обойти, однако года два еще потребуется на подготовку. А Старик хотел бы получить бомбочку уже в этом году, чтобы преподнести эффект к открытию наконец-то намеченного партийного съезда. Думает, что это так же просто, как открыть "Музей подарков товарищу Сталину". Беда, если дилетант командует наукой!

Впрочем, иной раз специалистов надо подстегивать. Гитлер проморгал саботаж своих ученых-атомников и обанкротился. Могут и у нас оказаться свои саботажники. Проверить их трудно: в этих молекулах да реакция не всякий спец разбирается. Кстати, Сергей говорил об одном молодом человеке, который работает над проектом бомбы. Как его фамилия? Сахаров, кажется? Да-да, именно Сахаров. Уж очень его Сергей превозносил: дескать, способности феноменальные, ум исключительно цепкий, второй Эйнштейн, можно сказать. Вот, пожалуй, и надо этого Сахарова подтолкнуть. Раз такой талантливый – пусть пошевеливается..

Берия взял блокнот и сделал пометку: "Узнать о Сахарове подробней. Через Сергея." Помедлил немного и дописал: "Проверить личное дело".

Опять, в который раз, зазвонил телефон. Внутренняя линия. В трубке послышался голос Саркисова. Нет, нет, с девочкой всё в порядке, но, как и приказано, ее доставят в спальню перед сном. А вот Будиани явился и говорит, что ему назначен прием на сегодня. Как же с ним быть: не отложить ли на завтра?

В первый момент Берия заколебался: в самом деле, не отложить ли? Но потом обругал самого себя: как мог забыть о Будиани? Нет уж, пусть все дневные планы осуществляются до конца. Ночью будет приятнее сознавать, что можно переключиться полностью. Секс требует именно такого переключения.

Будиани был единственным человеком, кроме Сталина, которого Берия боялся и уважал. В Сталине воплощались видимые параметры власти и силы; в Будиани таилось нечто, более сильное, чем очевидность, и хотя Берия не был мистиком, сфера таинственного страшила его именно своей неуправляемостью. Даже Сталина можно было понять, а значит и обезвредить; потусторонние же силы не укладывались ни в какую схему, не поддавались контролю. Будиани являлся их вестником, полпредом, так сказать. Формально он был доктором-психиатром и цирковым иллюзионистом; фактически же – личным астрологом Берии.

Типичный южанин, с огромной, в кольцах кудрявых, кое-где поседевших, но в целом еще черных волос, стройный, высокий, с орлиным носом и

яркой смуглостью кожи, Будиани знал свою власть и умел ею пользоваться. С Берией он был знаком с юности: встретились на работе в Закавказском Чека, где Будиани пригодился как гипнотизер во время допросов. И в тех случаях, когда Берия не мог *выбить* нужных показаний, Будиани умел их *вытянуть*. Они сработались неплохо; даже подружились. От Будиани Берия узнал такие имена, как Нотрсдамус и Сведенборг, Блаватская и Штейнер, получив если не вкус, то некое тяготение к запретным темам, связанным со спиритизмом, астрологией и теософией. Всё это было скорее баловством, нежели устойчивым интересом до той поры, пока Берия на личном опыте не убедился, что не стоит так уж отмахиваться от сферы призраков и предсказаний. Никто иной, как Будиани, предостерегал его от поездки по Кавказу в 1930 году, говоря, что на него будет совершено покушение, хотя – добавил он – покушение не достигнет своей цели. – Откуда знаешь? – спросил Берия. – Не могу сказать, – ответил Будиани, – ты все равно либо не поймешь, либо не поверишь. Но лучше тебе не ездить по Военно-Грузинской дороге. Звезды мне это говорят точно. – Берия рассмеялся: "Звезды?.. Но ведь сам ты уверяешь, что со мной ничего не случится. Вот я и поеду проверять твои отношения со звездами."

И поехал. А когда на перевале Военно-Грузинской дороги посыпались на кавалькаду чекистских машин гранаты, застрекотали пулеметные очереди, ой как вспомнился Будиани! Хорошо, что не подкачал новенький "Бьюик"; проскочил проклятый перевал на полном ходу, умчался в безопасный Тбилиси. Напуган был так, что на всякий случай арестовал Будиани: не верилось, чтобы тот ни с кем, кроме "звезд", не якшался. Но следствие ничего не дало, а во время личного свидания с глазу на глаз Будиани сказал: "Лаврентий! Не испытывай судьбу против меня. Связаны мы с тобой силами неземными. Убьешь меня – сам погибнешь. Не хочешь погибнуть – освобождай!" И было во взгляде Будиани что-то такое грозное, что понял Берия: лучше освободить! Стольких расстреливать приходилось – одним больше – никого не удивишь, себя не потешишь. А пригодиться "звездочет" еще может.

И пригодился. Предсказал много таких мелочей, которых никто другой не смог бы. Был в разговорах груб и резок; дьяволом называл и злодеем, но дело свое астрологическое ведал крепко. Ну и Берия в долгу не остался: карьеру обеспечил для Будиани блестящую – что по артистической линии, что по медицинской. Денег он зарабатывал кучу, стал заслуженным артистом республики и профессором медицины. Но самое главное: был он единственным человеком в стране (опять же – кроме Сталина), который мог резать Берии в лицо правду-матку. Наедине, конечно, без свидетелей.

Крепко запомнился Берии исторический пример, который в назидание ему рассказал однажды Будиани. – Ты, Лаврентий, хоть и считаешься историком, поскольку написал книжонку о Сталине, однако истории настоящей, без всяких там партийных наслоений, не знаешь. А жаль! – вещал Будиани. – Ведь я, поскольку судьба свела меня с тобою, – прямой нас-

ледник Галеотти. — Это Галилея, что ли? — хмыкнул Берия. — Да нет, Галилей тут ни при чем. Марций Галеотти был астрологом французского короля Людовика XI. Однажды король решил испытать его и задал провокационный вопрос: "Если вы умеете точно определять будущее по звездам, то вам должен быть известен час собственной смерти. Вот и скажите мне, когда вы умрете?" Представляешь, в каком положении оказался астролог? Ведь если он скажет, что проживет долго, король убьет его тут же, лишь бы доказать, что звезды лгут. И Галеотти, подумав, ответил: "Я могу, Ваше Величество, определить час моей смерти, но лучше этого не делать." — Почему? — спросил король. — Потому что звезды сказали мне, что я умру за двадцать четыре часа до вашей смерти, — отрезал Галеотти. — Поверил или не поверил ему король, — неизвестно. Но больше он никогда не обсуждал астрологические проблемы. Понял, Лаврентий?

И Лаврентий понял. Будиани был нужен ему не меньше, чем он — Будиани. В конце концов, человек, который говорит правду, — пусть даже смазанную каким-то, черт его знает, мистическим налетом, — сам по себе капитал. Лизоблюдов, поддакивающих каждому слову, сказанному Берией, подобострастно лоящих каждый его намек, всегда хватает. А вот правдолюбцев — в них как-то недобор наблюдается. Хотя удивляться особенно нечему: в стране победившего социализма быть правдолюбцем — вещь опасная. *Смертельно опасная*, — как наверняка бы сказал Сталин, узнай он о такого рода размышлениях Берии. Само собой, он о них не узнает...!

На сегодня Будиани был приглашен с весьма ответственной целью. Очередной гороскоп, составленный им, должен был прояснить: сулит ли неминуемая схватка со Сталиным надежду на успех? Собственно говоря, независимо от предсказаний, единственный способ выжить — это помочь Сталину умереть. По многим, еле уловимым признакам, ясно, что Х о з я и н собирается устроить новую чистку. А поскольку Берия — своего неизменного П р о к у р о р а, он потихоньку отодвигает в сторону, значит, в чистке этой быть перемолотым очень легко. И серая скотинка, вроде Игнатьева, займет его место. Для Сталина, конечно, оно даже выгоднее: Берия, в его глазах, слишком колоритен, чересчур самостоятелен, а лакеи типа Игнатьева безотказны, как пешки. С течением времени пешки заменяются другими — и так без конца. Он же — Берия — фигура! И в шахматной партии, которую он играет против Х о з я и н а, пешечная роль оправдана только одной возможностью: пройти в ферзи...

Все эти рассуждения ушли в подсознание, когда Будиани — сидевший теперь в кресле, хрипловатым голосом разматывал перед Берией цепь предсказаний и намеков. Встряхивая то и дело кудрявой шевелюрой, закинув ногу на ногу и дымя сигаретами, он говорил:

— Лаврентий, ты понимаешь, что я тебе всего сказать не могу и не хочу. Для профанов, вроде тебя, астрология — темный лес. Да и не только в звездах дело. Вот твой гороскоп — погляди на него! Он такой же по



виду, как и те, что я делаю тебе ежегодно. И каждый год ты мне говоришь, что они похожи один на другого, словно "близнецы-братья". А они очень и очень разные.

Будиани протянул через стол бумагу с изображением гороскопа. Берия повертел его в руках, снял пенсне, потом снова водрузил его на нос, а затем перебросил бумагу через стол обратно.

– Каждый раз одинаковая история, – ворчливо сказал он. – Я тебе говорю, дорогой мой колдун, что мне твоей письменной документации не требуется. Что я с ней делать стану? Не на Лубянке же хранить твои гороскопы!.. Ты мне давай устно и четко: чего ожидать, на что надеяться? И вообще, как там расположение твоих звездочек: благоприятное или не очень? Не думай, что я на сто процентов верю в твою чертовщину. И без нее буду действовать, как задумал. Однако я давно дал зарок: при прочих равных обстоятельствах, с Богом и Дьяволом лучше не ссориться. Потому и с тобой якшаюсь, что ты их представитель. Во всяком случае, – хохотнул Берия, – с Дьяволом ты знаком несомненно.

– Правда твоя, Лаврентий, – поддержал игривую ворчливость тона своего собеседника Будиани. – Твоя правда! Ведь мы с тобою знакомы очень плотно. А в святые ты никак не годишься...

Берия как бы в задумчивости развел руками.

– И почему я тебя не расстрелял до сих пор, генацвале, – понять не могу. Столько дерзостей от тебя слышу. Разве мое долготерпение не равно святости?

Блестящие глаза Будиани заискрились еще сильнее от предвкушения словесной игры. Такого рода перепалки с Берией были ему привычны.

– Лаврентий, ты, как всегда, подменяешь понятия. Своей терпеливости ты научился у Сталина, которого объявили Богом. Но если он и Бог, то очень странный. Что-то вроде идола языческого. Святости от него ждать, это все равно, что надеяться на доброту змеи или вегетарианство тигра. И вообще святость предполагает терпение, но терпение не порождает святых. Как тебе нравится такой афоризм?

– Ничего, сойдет, – благосклонно кивнул Берия. – А не боишься ли ты, генацвале, что я тебя с такими афоризмами представлю Сталину, попросив, чтобы ты повторил их ему в глаза? Что тогда будет, дорогой, что будет?

И Берия выразительно прищелкнул языком.

– Будет, Лаврентий, худо для нас обоих. И уж тогда попадем мы в святые на пару. Не за терпение – за мученичество. И знаешь, это даже звучит: "Лаврентий Великомученик"! Только вряд ли прельстит тебя этот титул. Так что повремени с нашим совместным визитом к Иосифу Виссарионовичу. Гораздо полезнее тебе встречаться с ним *наедине*.

И Будиани густо нажал голосом на последнее слово, прозвучавшее оттого особенно зловеще и выразительно. Берия так и вскинулся: стекла пенсне схлестнулись со взглядом отливающих чернью, гипнотирующих, глаз Будиани.

– На что намекаешь? – спросил Берия.

Будиани перегнулся через стол, резко надавил сигарету в пепельнице и перешел на шепот почти:

– Слушай, Лаврентий. Судьба твоя на большом переломе. Крест на пути твоём. Главного врага ты победишь и силу обретишь могучую. Но крест всё же – знак недобрый. Поэтому подумай хорошо, прежде чем начнешь что-нибудь делать в течение года между двух летних месяцев. Июнь-июль – для тебя опасное время. Все остальные знаки в твою пользу. Победишь ты злую звезду, скрывающую твою планету сейчас. Вижу я, как тень уходит, и свет воссияет вскоре. Всё хорошо, только крест падает на летние месяцы. И боюсь я за тебя.

– Может, не мой крест? – шепотно, как и Будиани, спросил Берия.

– Твой, Лаврентий, твой. Потому и предостерегаю тебя. Не зарывайся слишком.

– А значение креста ты истолковал правильно? Вдруг это хороший признак, а?

Будиани покачал головой.

– Если б я не был твоим настоящим другом, я сказал бы тебе что-нибудь утешительное. Но я твой друг, и говорю правду. Крест – опасный символ в твоём случае.

– И это неотвратно?

– Как тебе сказать? – проговорил Будиани, вновь закуривая и выдержав паузу. – В старину считали, что предсказания звезд – все равно, что приговоры трибуналов военного времени: окончательны и обжалованию не подлежат. Современная астрологическая мысль гораздо шире в этом плане. Помимо судьбы, есть человеческая воля, которая свободна во многих своих решениях. Поэтому астрологические знаки указывают не столько на неотвратимость, сколько на возможность, а реализуется она или нет – это зависит еще от многих факторов.

– Понятно, – задумчиво произнес Берия. – Но меня интересует одна деталь. Ты говоришь, что планету мою заслоняет злая звезда, но что она уйдет. Это будет раньше июня-июля, которых ты советуешь опасаться?

– Да, раньше.

– А крест уж потом?

– Крест потом, – подтвердил Будиани.

Стекла пенсне некоторое время буравили его встречный взгляд. Потом Берия резко встал.

– Что ж, генацвале! Спасибо за совет и, как говорится, за любовь и дружбу. Если повезет мне – ничего не забуду. В долгу не останусь. А не повезет – что ж! Как оно поется: "Эх, пить будем, плясать будем, а смерть придет – помирать будем!"

И Берия, с грацией, неожиданной для его располневшего тела, одетого в ниспадающий атласными складками халат, чуть пританцовывая, прошелся по комнате. "Астрологическая аудиенция" окончилась. Будиани распрощался. Берия остался один.

Он размышлял не слишком долго. Та выборочная способность человеческого ума, которая заставляет каждого толковать многозначность символов в однозначно полезном для себя смысле, быстро сделала свое дело. Крест крестом, — решил Берия, — а главный признак предсказаний, бесспорно, хорош. "Злая звезда" — это Сталин и "злая звезда" должна уйти. Всё остальное после этого нестрашно. Если он переиграет *самого* Сталина, найдется ли человек, способный победить его после *такой* победы? В конце концов, как правильно сказал Будиани, существует множество факторов, зависящих от человеческой воли и находчивости. А этими качествами судьба его не обделила. Вот он и должен, устранив *Х о з я и н а*, сделать себя властелином будущего. Только себя и никого больше. Что же до креста, то после устранения Иосифа, наверняка предстоит схватка с его оставшимися "братьями по оружию". Их придется ликвидировать. Так, может быть, тень креста падает именно на них — не на него? Может, именно он должен вбить этот самый крест в могилы сталинских лизоблюдов, которые все — как он знал — боятся его, но вряд ли вполне могут понять его высокое предназначение быть не одним из многих, не "сподвижником", не "учеником", а настоящим учителем народа! Для этой цели сто́ит рискнуть и бороться. Вся его жизнь была борьбой — так ему ли отступать перед символами, которые можно истолковывать и так, и этак? Будиани, конечно, хороший человек и друг настоящий, но именно из-за дружбы своей он может преувеличивать и ошибаться...

Берии довелось убедиться в своей правоте буквально через несколько недель. Было *тридцать первое июля*, когда ему сообщили, что профессор Будиани, находясь в Тбилиси, во время публичной лекции о гипнозе, почувствовал себя плохо, потерял сознание, и, несмотря на все усилия врачей, скончался от острого сердечного приступа. Честное слово, Берия едва не всплакнул! Все-таки Будиани был по-настоящему *своим* человеком...

Он тут же распорядился устроить торжественные похороны и сделать всё, чтобы увековечить память покойного хотя бы в пределах родной Грузии: соорудили соответствующий памятник над могилой, переименовали одну улицу в его честь, издали сборник медицинских статей о проблемах психологии. Но про себя Берия с удовлетворением отметил, что Будиани умер в последний день *июля* — одного из тех месяцев, которые объявил опасными для него — Берии. А себя-то и проморгал, бедный астролог! Вот так и бывает в жизни: нет пророка в своем отечестве, нет познания самого себя; если кто-то и знает о тайнах судьбы больше других людей, всё же тайны ее до конца известны одному Всевышнему. Если он существует, разумеется...

И Берия твердо решил, что он должен действовать, сообразуясь лишь с собственными планами уничтожения "злой звезды". Если исходить из предсказаний покойного Будиани, это должно было случиться очень скоро. А там — будь что будет!

## 8.

"Ночи любви" давно не волновали новизной Лаврентия Павловича. Всё было, в общем, известно и испытано. Но такие вот девочки, как Наташа, в расцвете наивной еще зрелости и нетронутой девственности, могли поджечь чувственность даже опытного и *очень опытного* человека.

Наташу хорошо подготовили к ночному свиданию. Она казалась немног испуганной; глаза то и дело расширялись в каком-то полурастерянном разлете ресниц и бегающих зрачков. Да и личико побледнело заметно. Однако в целом держалась девочка молодцом и улыбалась почти что с кокетством куда более старшей по возрасту женщины.

Увертюра была стереотипной: отличный ужин в полумраке гостиной, уютно задрапированной от всего мира. Мрачности всё же, несмотря на полную изоляцию, не допускалось: во-первых, радиола тихо навевала всякие лирические, но без излишней надрывности, мелодии; во-вторых, сочетания лучших кавказских вин (бутылки их сами по себе создавали красивейший орнамент стола) способны были разогнать любую грусть. Тепло, можно сказать, *солнечно*, делалось на душе от их букета. Уж здесь Берия понимал толк. Не грубая пьянка, как в застольях у Х о з я н а, а тонкое смакование — отдельно аромат, отдельно вкус, отдельно — само разглядывание бокалов то с рубиновой, то с желто-золотистой влагой; надо быть эстетом, чтобы вполне прочувствовать такое. А во сколько раз приятней испытывать это не за себя одного, но и за милую девчушку, сидящую напротив и уже позабывшую, как будто, о смущении. До чего ж все-таки хороша она со своими скромно-грациозными движениями. Симпатюшечка этакая, козочка игривая, конфетка!..

Продолжение наступило в спальне. Полуобнимая Наташу, послушную и только (он чувствовал это, взяв ее за локоть!) слегка вздрагивающую порой, Берия подвел ее к постели и оставил на некоторое время одну. Когда, скинув в другой комнате костюм, в одной пижаме, он вернулся, девочка сидела на кровати, словно застыв, не раздетая. — Всё же боится, — подумал он. — И до чего ж ей это идет. Собственно, так даже лучше...

Он сел с нею рядом, погладил по волосам, спине, нежно, почти по-отцовски, поцеловал, а потом вдруг резко — так, что она вскрикнула, повалил. Прижимая тяжестью своего тела, начал раздевать ее, чувствуя, как возбуждается от самого процесса раздевания. Наташа молча покорялась. Последние тряпки были отброшены, и Берия почувствовал прохладу девической кожи. Он несколько раз погладил ее бедра, затем — одной рукой проскользнув за ее спину, другой ошупал низ живота, заставляя девочку напрячься в ожидании. И вот теперь — момент настал! Раздвинув нежно-трепещущие ноги, он *вошел* в нее, преодолевая столь обаятельную упругость девственности. Наташа тяжело дышала, но по движениям ее он понимал, что боль уже прошла и его могучий член начинает открывать ей источник наслаждения и грядущей истомы. *Войдя в нее* до предела, Берия ощутил, что Наташа раскачивается в ритме, созвучном *его* толчкам. Теперь это была идеальная позиция: он лежал на ней всем телом, поглажи-

вая бутоны груди и впившись губами в нежную косточку на стыке шеи и плеча.

Оргазм был подобен сладкому выворачиванию наизнанку всей его плоти, до кончиков ногтей, до последней клеточки. Чувствуя, как слабеет напряжение страсти, он медленно высвободился и лег рядом с девочкой, не выпуская ее из объятий.

"Сексопауза" – как он сам для себя окрестил неизбежные перерывы в "акте" – длилась, впрочем, недолго. Зная, что Наташе не очень легко будет перенести второй раз "обычный способ", да и *кровь*, конечно, не слишком вдохновляла его – "*кровожадного*", Берия, осторожно нажимая пальцами на бедра Наташи, перевернул ее на живот. Теперь он испытывал ощущение, по-своему даже более острое, чем прежде. Он никогда не считал *этот способ* извращением, как некоторые ханжи. Наоборот, распротертое женское тело, видимое со спины, умиляло его особой покорностью, каким-то молящим ожиданием его властного импульса. И уж он мог этот импульс гарантировать! Наташа вначале не понимала, чего он хочет, но – умница! – скоро освоилась, и он вторично пережил сладость слияния, когда она, подыгрывая бедрами, дала ему возможность излиться без остатка. Это было всё, на что он оказался способен ночью. Немного – ему случилось быть куда активнее! – однако *такие* два раза стоили многих. Наслаждение было полнейшим...

А на утро, когда он уже отпустил Наташу; когда привели в порядок его спальню, удалив все следы вчерашнего, он почувствовал острую тоску. Сидел у окна, курил, устало мял в пепельнице одну сигарету за другой; выпил коньяка, чтобы взбодриться, – не помогало. Типичная мигрень – редко, но всё же накатывало на него такое противное состояние. Никого не хотелось видеть, никаких дел не хотелось знать. Однако чертов проныра Саркисов – тут как тут. Состроил скорбную мину на своей смазливой физиономии и напомнил, что дела все-таки есть. Главная новость: Сталин передумал ехать на Юг, решил отдохнуть под Москвой; это не очень приятно. Куда спокойней было бы, удались он в кавказские дали. Однако есть новости и приличные: на Ваську Сталина компрометирующий материал окончательно собран. Пухлая папка с фотографиями, с описанием всех его пьянок, оргий и педерастии, вместе с безалаберностью по самолетному хозяйствованию в Московском военном округе. Самое главное, на что *Х о з я и н* не может не клюнуть, – утрата бдительности: участвовавшие катастрофы и случаи антисоветских высказываний среди летчиков. В общем, при умелой подаче матерьяльца (а умелости Берии не занимать), карьера Васьки если не убита, то подрезана. А тем самым устраняется такая точка опоры у "великого вождя", что за авиацию можно быть спокойным. Если он – Берия – выедет против *Х о з я и н а* на белом коне, на него не спикирует никакой "сталинский сокол". Разве что Буденный выскочит навстречу, но уж с этим "главным конюхом Советского Союза" справиться нетрудно.

Придя в лучшее настроение от этих фривольных мыслей, Берия спросил Саркисова:

– Как Наташа?

– В порядке, – ответил Рафик, просветлев лицом. – Раз шеф справляется о девочке, значит, грозы не будет. – Доставлена к родителям. Те восприняли всё очень правильно. Осложнений не будет.

Берия провел рукой по лицу, чувствуя небритость его. До чего всё же выматываешься иногда – аж привести себя в порядок не хочется. А ведь надо съездить к Сталину – быть свежим и веселым.

– Ладно, – проговорил он. – Наташу ты не забывай. Девочка – прелесть... Я думаю, с ней можно будет повторить ночьку. И не одну, пожалуйста. Так что позаботься...

И, встав с кресла, добавил совсем деловым голосом: "Пока бреюсь, пусть подготовят машину. Поедем в Кунцево."

*(Окончание в следующем номере)*

МАРИЯ ВОЛКОВА

## МИНУТЫ И ГОДЫ

Быают минуты насыщенной лет  
От вспыхнувших молний тайных побед,  
Когда нераздельно в пылу торжества  
Сливаются чувство, напев и слова.

Быает, что годы забвению в пасть  
Хотелось бы бросить и, бросив, проклясть...  
Но я не бросаю, но я не кляню  
И в даль порываюсь – не к вечному сну!

Пусть цепи из буден – звено за звеном –  
Неслышную жизнь оплетают кругом,  
Теснят и свободно дышать не дают,  
Но есть и сплетенья из светлых минут!

И как не принять обезмолвленных лет  
Когда есть и счастье минутных побед!

1979 г.

## БРЕД НАЯВУ

(И з п е р е ж и т о г о)

В коридорах улиц нет огней.  
Зимний город в темноте и в страхе.  
Смерть косою орудует своей  
И не знает удержу в размахе.

Вереницы призраков вдоль стен –  
В осторожном медленном скольженьи,  
Но сверлящий небо вой сирен  
В миг любой сметёт живые тени.

Этот тёмный город мне чужой:  
Рок людей бросает где попало!  
Тяжело, несносно быть одной  
В поисках житейского причала...

О, скорей бы отдых и тепло!  
Страшно мне... кошмар схватил за горло,  
И, как будто вижу я, как Зло  
Над землёю крылья распростёрло.

Чуть дыша, улавливаю стон,  
Долгий стон, мучительный и громкий,  
Охвативший всё со всех сторон –  
И дома, и мысли, и потёмки.

Словно выходя из глубины,  
Он всё время движется по кругу.  
И печаль и ужас в нём слышны  
Сквозь во тьме поднявшуюся вьюгу.

Это, видно, горе всех веков  
Запеваёт гимн насильной смерти  
Миллионом новых голосов  
В бесконечно длящемся концерте!

Из-за нас покой утратив свой,  
Стонет запредельная стихия!  
...Я внимаю Скорби Мировой,  
Позабыв, куда должна идти я...

1979 г.



РАССТРЕЛЯННОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Письмо Сталину

Познакомился с молодой актрисой Л., она работала в театре Вахтангова, снималась в кино. Мы подружались домами. Узнав о нашей жизни, она сказала:

– На днях я должна встретиться с одним человеком. Мы вместе постараемся вам помочь.

Л. пригласила меня на премьеру в театр. В антракте мы с мамой зашли за кулисы. В артистической комнате находилась незнакомая женщина. Л. тихо проговорила:

– Я вас оставлю одних, вы должны поговорить без свидетелей.

Наступило неловкое молчание, которое нарушила мама:

– Простите меня, но я извелась. У нас нет сил жить на два дома. Я почти слепая. Нам не от кого ждать помощи. Везде формальные отказы. Мужа нигде не прописывают. Дети не могут уехать из Москвы – из города, где они прожили столько лет, почти что с самого рождения.

Молодая женщина мягко сказала:

– Меня зовут Светлана, я дочь Иосифа Виссарионовича Сталина. Напишите заявление на имя моего отца. На конверте напишите свой адрес и номер домашнего телефона. Попробую ему передать, хотя Иосиф Виссарионович этого не любит. Письмо отдайте моей подруге Л.

Раз десять переписывалось письмо-заявление на имя Сталина. Знакомый адвокат его хорошо отредактировал. Старый большевик, работник аппарата Союза писателей, на отдельном листочке сделал приписку:

"Уважаемый Иосиф Виссарионович!

Е.И.Гендлин – талантливый ученый, журналист, писатель, философ. Он много сил отдал России и молодому советскому государству. Он узник Орловского каторжного централа. За свои ошибки понес суровое наказание – 10 лет находился в ИТЛ ББК НКВД СССР. В настоящее время Е.И. Гендлин тяжело болен, у него начинается общий паралич. Ему необходимо помочь. У Е.И.Гендлина имеется жена, она страдает общей хронической глаукомой. Сын – Л.Е.Гендлин – участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент, награжден боевыми орденами и медалями. На фронте он получил две тяжелые контузии.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Убедительно прошу Вас, в порядке исключения, разрешить Евгению Исааковичу Гендлину оставшиеся годы прожить с семьей, среди близких ему людей. Зная Ваше доброе сердце, надеюсь, что Вы не откажете в мо-

ей просьбе.

С уважением

Михаил Аплетин (1)"

С актрисой Л. (2) мы встретились на киностудии "Мосфильм". Когда никого не было, я передал ей запечатанный конверт. Она попросила набраться терпения.

Прошло несколько дней. Я находился в павильоне на съемочной площадке. Курьер попросила срочно зайти к товарищу Дудину, начальнику Первого отдела (3). Крошечный, похожий на карлика, капитан государственной безопасности Дудин принял меня с суховатой вежливостью:

– Елки-палки (*его любимое выражение – Л.Г.*), что ж ты натворил, братец? Отец-то у тебя, оказывается, сидел по 58-ой статье? Елки-палки, а ты нас, своих старших товарищей, об этом главенствующем факте твоей жизни не поставил даже в известность? Елки-палки, видишь, какая петрушка получается? Ты обманул партию, обманул советскую власть, обманул наше государство, елки-палки.

Хотел его перебить, но это оказалось невозможным. Он гудел, как ржавая тарелка включенного репродуктора на базарной площади провинциального городка. Исчерпав словесный запас, Дудин, преодолевая некоторые усилия, сполз с увесистых подушечек, подошел ко мне, важно пропел тоненьким фальцетом:

– Вручается вам, Гендлин, повесточка в Главную прокуратуру СССР. Опаздывать туда нельзя. Потом зайдешь ко мне, проинформируешь о беседе. Елки-палки, если, конечно, не посадят, – и он гаденько захихикал, обнажив желтые, прокуренные зубы.

Пушкинская улица. Железные ворота с пиками. В глубине возвышается мрачное серое здание. Проверка документов... Пришел С о п р о в о ж д а ю щ и й. Провели в приемную. Вежливо попросили сдать портфель. Еще раз вежливо, с извинениями, обыскали. Предупредили, что со мной будут говорить прокурор СССР Руденко (4) и *сам* – товарищ Вышинский, который "по доброте душевной" продолжает негласно курировать органы "правосудия". Меня уже столько раз вызывали и мучили ответственные товарищи, что я перестал испытывать страх. К тому же, интересно посмотреть на самого "видного" прокурора, "знаменосца-победоносца", как его прозвал впоследствии Микоян.

Хмурый, мрачный, дородно-огромный Вышинский спросил:

– Вы писали заявление на имя товарища Сталина?

– Нет. Заявление писала моя мама.

– Кто помог ей составить заявление?

– Мама сама написала, я помог отредактировать.

– Простите, но вы же не юрист? По архитектонике фраз, это не ваша лексика. Еще раз спрашиваю, кто готовил заявление? Гарантируем, что этому человеку ничего не грозит.

– Я уже сказал вам, что нам никто не помогал. Скажите, пожалуйста, какое имеет значение, с чьей помощью писалось письмо на имя товарища Сталина, руководителя советского государства? Разве трудящиеся

не имеют права обращаться к своему вождю? Это что, криминал?

Вмешался худой Руденко:

– В этом учреждении, именуемом прокуратурой СССР, мы задаем вопросы, а вам, *гражданин*, надлежит только отвечать.

Вышинский:

– Конечно, по существу вопроса вы правы. Писать заявления руководителям партии и правительства не возбраняется. Но вы, гражданин, воспользовались запрещенным приемом. Надеюсь, что вы меня достаточно хорошо поняли? Вам уже неоднократно говорили, что советское правительство не может сделать исключение для вашего отца, разрешить ему проживание в Москве.

– Но почему? Он больной, почти не ходит. Скажите, товарищ Вышинский, где гуманизм советской власти? Он десять лет был рабом, сколько можно его терзать? Сколько можно над ним издеваться? По конституции СССР дети за родителей не отвечают. На каком основании начальник Первого отдела киностудии "Мосфильм" Дудин припугнул меня увольнением за то, что я отказался написать донос на своего отца? Почему вы называете меня *гражданином*, а не товарищем?

Вышинский перебил:

– Нашу беседу считаю законченной. Продолжайте работать на вашем "Мосфильме". Товарища Дудина поправим. Прекратите писать заявления относительно прописки вашего отца. Портфель и документы вам возвратят в приемной. Вы свободны. Многое будет зависеть от вас, чтобы с нами больше не встречаться.

Дудин спросил, для чего меня вызывали в союзную прокуратуру. Юмор меня редко покидал. Сказал, что товарищи Вышинский и Руденко предложили работу у них в секретариате, но я отказался из-за любви к искусству. Карлик Дудин изменился на глазах. Несколько раз он отвозил меня домой на своей "персоналке". При встречах всегда шумно приветствовал, долго тряс руку, с подобострастием заглядывал в глаза. При дальнейших встречах "с начальством" просил его не забывать. Через месяц случайно увидел его в городе. Он был темнее тучи:

– Забрали меня, елки-палки, с "Мосфильма", – печально улыбаясь, сказал карлик-капитан МГБ. – Перевели на завод начальником военизированной охраны. Елки-палки, Гендлин, поговори с товарищем Вышинским, чтобы меня взяли в прокуратуру. Я могу им еще пригодиться. Елки-палки, я – контрразведчик. В армии в Смерше служил. Устроишь – так и быть, поставлю пару бутылок армянского коньяку.

К счастью, Дудина больше не видел.

## г о л о е   п л а т ь е   к о р о л е в ы

Светлана Аллилуева живет в Америке, мирно воспитывает дочку-американку. За годы эмиграции она издала книги: "Двадцать писем к другу", "Только один год", "Письмо к Б.Л.Пастренaku" – написанное под впечатлением его романа "Доктор Живаго". Одна часть читателей-почитателей

называет дочь Сталина "героической женщиной", считает ее "праведницей", другие называют авантюристкой, третьи просто не знают, как к ней относиться.

Во все времена человеческой истории были мракобесы, но такого людоеда, как отец Аллилуевой – Иосиф Сталин, не было на земле и вряд ли будет. Этот человеконенавистник затмил всё и всех.

Можно допустить, что у Аллилуевой не хватило душевных сил, чтобы с *полной откровенностью* поведать людям зловещую правду о своем отце и людях, его окружавших.

Спрашивается, для чего тогда писать книги?

Непонятно, почему Светлана умолчала, что после инсульта Сталин долгое время был прикован к постели, что его разбил паралич, и что никакие медицинские силы не могли поставить на ноги угасающего диктатора. Всю мировую печать обошла фотография: немощный, дряхлый Сталин на трибуне XIX съезда КПСС. Но мало кто знает, что к тому времени Сталин давно уже потерял вкус к жизни, что его перестали интересовать политические дразги, бесконечные "заговоры", и что на XIX съезде Сталина **ВООБЩЕ НЕ БЫЛО**, что его "РОЛЬ" мастерски сыграл артист Малого театра Борис Федорович Горбатов, который за этот "высокий труд" удостоился почетного звания – "народного артиста РСФСР".

Как примерная дочь, Светлана несколько глав отводит матери, которая, по ее словам, покончила жизнь самоубийством 8 ноября 1932 года, когда Светлане едва минуло семь лет.

Надежда Аллилуева в молодости работала в секретариате Ленина. Она регистрировала и отвечала за поступающую корреспонденцию. Без ведома Владимира Ильича, Аллилуева, по *просьбе* симпатизирующего ей Сталина, давала ему на прочтение *сугубо личную* переписку Председателя Совнаркома. Став женой Сталина, Аллилуева постепенно прозрела. От близких друзей она узнала, что в стране происходят чистки, что тысячи людей арестованы, что в тюрьмах они ожидают бесчеловечных приговоров, что к ним применяются самые изощренные пытки, что сотни тысяч ни в чем не повинных людей томятся в концлагерях.

Мне приходилось встречаться с Еленой Дмитриевной Стасовой, которая с 1917-го по 1920 годы была секретарем ЦК РКП(б), потом над ее головой нависла опала, некоторое время Стасова находилась под домашним арестом. Бог миловал – в тюрьму не села. Несмотря на преклонный возраст, у Стасовой до последних дней сохранилась превосходная память.

Фрагмент из беседы с Еленой Стасовой. Записана в ее квартире в Москве, на Софийской набережной, осенью 1963 года.

"Беседу разрешаю опубликовать полностью только после моей смерти. В партию я вступила в 1898 году по личному убеждению. Ленина и Сталина знала очень хорошо. Я сразу обратила внимание на их положительные стороны и быстро разобралась в недостатках. У обоих честолюбие возвышалось над идеями. Ленин и Сталин были далеки от идеалистов-революционеров. Все их помыслы и надежды поглощала борьба за власть. Кто кого?!

В 1928 году ко мне на день рождения пришли "вечные оппозиционеры" Бухарин, Зиновьев, Каменев. Разгоряченный от выпитого вина, всегда сдержанный, Николай Иванович Бухарин повел меня на кухню и там доверительно сказал, что к смерти Ленина, якобы, БЫЛ ПРИЧАСТЕН СТАЛИН. Я боялась верить его словам. С того памятного дня прошло почти три с половиной десятилетия. Из тюрем и лагерей стали возвращаться мои старые однополчане — товарищи и друзья. От их рассказов леденела кровь и проваливалось сердце. Такие люди, как Лиза Драбкина, Моисей Черток, Александр Тодорский, Ида Липштейн, Розалия Тарло, никогда не станут извращать действительность.

Хорошо помню семью старых большевиков Аллилуевых. С симпатией относилась к их дочери Надежде, с которой часто встречалась в Коминтерне и МОПРе, где я тогда работала, иногда перезванивались по телефону. В моем архиве хранятся ее письма, которые отказалась отдать Сталину.

Зимой 1932 года я отдыхала под Москвой в санатории старых большевиков. Рано утром 11 ноября ко мне постучался Серго Орджоникидзе. По его лицу поняла, что стряслась беда. Мы с ним давно уже были на "ты". Я спросила:

— Говори скорей, что случилось?

— Сталин убил Надю. (Так мы ее все называли).

— Не может быть! Как это произошло? Я должна знать все подробности!

— Мы сидели за столом. Без стука вошла разгневанная Аллилуева.

— Пора кончать это безобразие, — сказала она Иосифу Виссарионовичу. — В государстве царит беззаконие. Ежедневно происходят массовые аресты. Иосиф, прошу тебя, посмотри мне в глаза! Неужели тебе не жалко невинно обреченных? Остановись, ведь ты когда-то был другим!

Надежда жадно затянулась папирской. Она стояла около сидящего Сталина. Пепел нечаянно попал ему на лицо. Потеряв над собой контроль, Сталин крикнул:

— Брысь отсюда! Уйди по-хорошему! Иначе будет плохо!

Аллилуева тихо проговорила:

— Если в стране не прекратятся репрессии, я напишу открытое письмо в "Правду", расскажу всему миру, что ты — чудовище!

Сталин молча вынул из френча маленький револьвер, который всегда был при нем. Он злобно крикнул:

— Замолчи, сука!

Не повышая тона, Аллилуева сказала:

— Сегодня же я передам письмо в "Правду". Знай, что я навсегда вычеркиваю тебя из моей жизни. Ты негодяй и мерзавец...

Это были ее последние слова. Надя направилась к дверям. Раздался выстрел. Повернувшись вполоборота, сплевывая сгустки пены, Сталин сказал мне и вошедшим Ворошилову и Кагановичу:

— Унесите это дерьмо...!

Я, как могла, успокоила Серго. За обедом никто не мог говорить. Мы

были подавлены. Знали, чувствовали и понимали, что на партию надвигается страшная, непоправимая катастрофа; словно вулканическая магма, она задавит всех, кто посмеет думать иначе...

Орджоникидзе продолжил рассказ:

– Сталин приказал тело Аллилуевой положить на кушетку в ее комнате. Когда мы это сделали, он безразличным голосом произнес:

– Моя жена Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством. Хоронить будем со всеми почестями на Новодевичьем кладбище. Председатель правительственной комиссии – Серго Орджоникидзе...

Я спросил Елену Дмитриевну, как она теперь относится к Сталину.

– Можете меня считать фанатичкой-шизофреничкой, но все равно Иосиф Виссарионович на века остался великим человеком. Несмотря на жертвы, партия монолитна, как сталь."

Я не делаю из Стасовой ангела, показываю ее такой, какой она была на самом деле: холодной, упрямой, жесткой.

Надежду Сергеевну Аллилуеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Кто из москвичей не видел этого памятника, сделанного из самого лучшего белого мрамора? Двадцать лет около могилы Аллилуевой круглосуточно во все времена года дежурили безымянные солдаты. В могиле она тоже не могла спокойно лежать.

Светлана Аллилуева романтически описывает свое чувство к писателю и киносценаристу Алексею Яковлевичу Каплеру, который случайно познакомился с Аллилуевой. В первый же вечер А.Я. сказал Светлане, что он женат и что ему неудобно встречаться с девушкой, которая по возрасту годится ему в дочери; кроме того, он боялся широкой огласки. Понимал, что за Светланой неотступно "топают". Каплер также знал, что самодержец земли русской органически не переваривает евреев, а только временно их терпит. Упрямая Светлана настаивала на встречах. И когда А.Я. отказался придти на очередное свидание, дочь Сталина, прежде, чем оборвать разговор, крикнула в телефонную трубку: "Ты меня еще узнаешь!"

Каплер отсидел в концлагере десять календарных лет. Его жена – Т.Златогорова, пройдя через тюрьмы и этапы, покончила самоубийством.

Кто в этом виноват, – пусть рассудит читатель...

Без тени застенчивости повествует Аллилуева о дружбе Сталина с Бухариным. Светлана вспоминает дни, когда Николай Иванович бывал у них в гостях в Кремле, и что она хорошо знала Светлану Бухарину и ее мать – Эсфирь Гурвич.

Фрагмент из беседы с Лариной – вдовой Бухарина:

"...Несмотря на то, что Николай Иванович Бухарин был главным редактором газеты "Известия", у него со Сталиным и Молотовым отношения были весьма натянутые. Однажды Бухарин назвал Сталина и Молотова "псевдореволюционерами". На одном из приемов Сталин взял Бухарина

под руку. Со стороны могло показаться, что два закадычных друга мирно беседуют. Прощаясь, Иосиф Виссарионович мимоходом заметил:

– Будущее, дорогой Николай Иванович, покажет, кто из нас настоящий революционер, кто псевдореволюционер.

Только в самых редких случаях Бухарин ездил в Кремль. На званые обеды и ужины, как правило, он не ходил. Уже тогда Н.И. чувствовал "прикосновение меча".

Фрагмент из беседы с писателем Ильей Эренбургом:

"Бухарин пришел ко мне с молодой женой, студенткой экономического факультета – Лариной. С Эсфирь Гурвич они давно разошлись. Ларину боготворил, относился к ней с необыкновенной нежностью, возможно, играл возраст. В партию Николай Иванович верил свято. Он был ее теоретиком, ее интерпретатором, ее философом. Сталина боялся, но не любил. Мы с ним встретились незадолго до его ареста в Барвихе – в правительственном санатории. Бухарин открыто назвал Сталина "реваншистом". – Пройдут годы, – сказал Бухарин, – и Сталин зальет Россию морями слез. Он никого не пощадит, его руки запачканы кровью самого близкого человека – жены. – От него я узнал, что Сталин убил Надежду Аллилуеву. Как-то Николай Иванович высказал затаенную мысль: "Убежден, что ведомство, основанное Дзержинским, в скором времени станет во главе государства. Ленин беспрекословно подчинялся Феликсу Эдмундовичу и всецело зависел от ВЧК-ГПУ. Владимир Ильич предупреждал партию, что темперамент Сталина, Орджоникидзе, Енукидзе, Микояна надо уметь вовремя сдержать..."

Светлана Аллилуева называет "добрыми людьми" Ворошилова и Микояна, распространяется о дружбе с ними, тепло отзывается о Маленкове и Хрущеве.

Сын командарма Ковтюха (писатель Серафимович в романе "Железный поток" Ковтюха вывел под именем Кожуха) – машинист Московского железнодорожного узла, отсидел около двадцати лет. Брату его в концлагере строгого режима выбили глаз, он навсегда остался инвалидом. О порядочности и доброте сталинских маршалов Ворошилова и Буденного говорит Валентин Ковтюх:

"Малограмотный Ворошилов понимал, что образованные военачальники Тухачевский, Блюхер, Якир сведут на-нет "героев гражданской войны" – его и Семена Буденного. Красный конник был тенью Ворошилова и во всем ему помогал. Они оба служили Сталину с собачьей преданностью. Ворошилов и Буденный присутствовали на допросах "военных преступников", которых и в помине-то не было. Они принимали участие в избиениях, пытках, убийствах. Ворошилов подписал и утвердил смертные приговоры тысячам военных, которых два дня расстреливали в московских тюрьмах. Из-за этого несколько дней был закрыт московский крематорий. Там сжигались трупы расстрелянных командиров Красной Армии, среди них был и мой отец, который Первую Конную Армию Буденного наз-

вал "армией бандитов и убийц", а Климу Ворошилову дал прозвище "красного палача".

Аллилуева доверительно сообщает:

"Семья Маленкова была, пожалуй, наиболее интеллигентной..."

Голубцова – жена Маленкова, с незаконченным средним образованием, с большим партийным стажем, была назначена директором Московского энергетического института имени Молотова. До прихода в институт ученых степеней она не имела. Без защиты диссертаций ей присудили степень доктора технических наук. Многие видные ученые были вынуждены приглашать эту партдаму в соавторы. С первых дней своего появления "интеллигент" Голубцова-Маленкова стала "наводить порядок".

Фрагмент из записной книжки писателя Юрия Арбата:

"Мне довелось присутствовать на партактиве в Энергетическом институте имени Молотова. Голубцова в своей речи резко обрушилась на бывшее руководство. Ее раздражало, что среди профессорско-преподавательского состава имеется большой процент евреев.

– Мы будем избавляться от "лишних людей" скоростными методами, – сказала она.

На первых шагах Голубцова-Маленкова вызвала доктора технических наук, профессора Гимельфарба. Между ними произошел следующий диалог, фигурировавший в материалах, представленных парткомиссией ЦК КПСС XX съезду КПСС.

Г о л у б ц о в а. Мы ознакомились с вашими научными трудами. Нам не понятно, почему вы, советский ученый, пользуетесь в своих работах терминологией, заимствованной из иностранных источников? За догму берете псевдонаучные труды разных там американцев, англичан, французов, немцев. Неужели нельзя использовать материалы советских ученых?

Г и м е л ь ф а р б. Простите, но я не могу понять и принять ваши претензии. Вы, товарищ Голубцова, по всей вероятности, недостаточно хорошо знакомы с современной технической мыслью.

Г о л у б ц о в а. Зря потратила на вас время. Думала, что вы из понятливых. В таком случае, пишите заявление об уходе по собственному желанию или же по болезни. В нашем институте нет места космополитам и сионистам.

Г и м е л ь ф а р б. На каком основании вы приклеиваете мне ярлыки?

Г о л у б ц о в а. Нам стало известно, что в рабочее время вы с подчиненными разговариваете по-немецки и даже по-английски. Если вас не устраивает мое решение, можете жаловаться куда угодно...

В институте уволили евреев-профессоров, евреев-преподавателей, евреев-научных работников. Под разными предлогами отчислили и евреев-студентов."

И всё это сделала "интеллигент" Маленкова.

На очереди Анастас Иванович Микоян. В советском Энциклопедическом словаре о нем сказано: "...В сентябре 1918 года был арестован анг-



лийскими интервентами, сидел в тюрьме вместе с 26 бакинскими комиссарами и лишь случайно избежал расстрела..." (Изд. 1954 г., т.2, с.384).

Во время своего пребывания в Москве в 1965 году писатель и художник Давид Бурлюк рассказал, что у него в архиве имелись черновые наброски поэмы Маяковского "26". Речь шла о двадцати шести бакинских комиссарах. Когда Владимир Владимирович узнал, что бакинцев предал Микоян, он расторгнул договор с издательством и прекратил работу над поэмой.

Я познакомился с художником Мартиросом Сарьяном. Последний раз был у него в гостях, в Ереване, в 1970 году. Он подарил нам с женой свои работы. Старый мастер с грустью вспоминал пролетевшую юность. Мы спросили его про Микояна. Мартирос Сергеевич неохотно стал говорить:

– Ничтожные люди не стоят нашей энергии. Нельзя впустую тратить слова. Микоян резал армян, приложил руки к грузинскому народу, безжалостно расправлялся с азербайджанцами, много зла причинил евреям. Он погубил бакинских комиссаров, свободу купил ценой предательства. Изворотливый лстец умеет сладко улыбаться. Он был также в числе тех, кто занимался переселением крымских татар. В сталинские времена он позвонил мне из Москвы, посоветовал сжечь картины, "несоответствующие эпохе". Самое страшное для художника – уничтожить свои произведения, которые создавались годами. Пойдемте в сад, я угощу вас сочными персиками, а потом будем вместе обедать, слушать музыку и пить солнечные армянские вина...

Светлана Аллилуева как бы вскользь упоминает имя Андрея Андреевича Андреева. Жизнь этого "штатного" вождя для историков и советологов Запада прошла почти незаметно. На протяжении полувека он как бы находился в тени. Но это неверно. С 1924 по 1953 годы Андреев официально негласный политический комиссар ГПУ-ОГПУ-НКВД-МГБ. Он – уполномоченный Сталина по "разгрому" антипартийной зиновьевской группы в Ленинграде.

У Лины Соломоновны Штерн – действительного члена Академии медицинских наук, для всех страждущих был открытый дом. Два раза ее арестовывали. Мужественный врач стойко перенесла лишения и тяжкие годы изоляции. Она рассказала, что во время следствия-допросов часто видела "товарища" Андреева.

– Этот человек, – сказала Лина Штерн, – только в одном Ленинграде санкционировал тысячи арестов. В свое время он подписал приказ об аресте Льва Гумилева – сына Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева. Андреева необходимо привлечь к уголовной ответственности за преследование и гибель прекрасного поэта и чистого человека Осипа Эмильевича Мандельштама. Мне известно, что в разные годы Андреев проводил "беседы" с руководителями Союза советских писателей – Ставским, Фадеевым, Сурковым, относительно ареста еврейских писателей. После реабилитации я была приглашена на прием в Кремль. За сто-

лом меня посадили рядом с Андреевым и его женой Дорой Моисеевной Хазан. Андреев произнес тост: "За здоровье замечательных советских врачей!" Затем он обратился ко мне: "За вас, дорогая Лина Соломоновна Штерн!" Он сделал движение, чтобы со мной чокнуться. Мне сделалось дурно. На своей машине Дора Моисеевна отвезла меня домой. Когда пришла в себя, спросила:

– Как вы могли прожить жизнь с таким негодяем, как Андреев?

Вытаращив глаза, Хазан побежала к телефону, вызвала из Кремлевки машину "Скорой помощи". Чтобы я не слышала, она тихо сказала дежурному врачу:

– Лину Соломоновну Штерн, нашу большую приятельницу, придется срочно госпитализировать в нервное отделение Боткинской больницы. У нее тихое помешательство, и думаю, что надолго.

Лина Соломоновна поднялась, долго ходила по кабинету. Одернув на окне занавески, прошептала: "Счастлива, что с супругами Андреевыми больше не довелось встретиться."

Аллилуева доверительно сообщает, что ее брат Василий Сталин, генерал-лейтенант авиации, умер в Казани.

По личному указанию Хрущева, Василий Сталин был водворен в Казанскую психиатрическую лечебницу-тюрьму (Казань 82, почтовый ящик УЭ 148) специального типа, со строгим тюремным режимом. Рассказывает старший научный сотрудник института судебной психиатрии имени профессора Сербского, кандидат медицинских наук, доцент Екатерина Степановна Гайдай, которая несколько лет проработала в Казанской психиатрической тюрьме.

– Василия Сталина привезли в Казань в очень тяжелом состоянии. С невероятными трудностями мы приводили его в клиническое состояние. Он умолял, просил, требовал, чтобы вместо лечения ему давали в неограниченном количестве водку. Сын Сталина страдал хроническим запоем, который почти не поддавался лечению. Из Грузии приезжали "паломники", его друзья-собутыльники. Особенно осаждали больницу женщины. К нашим пациентам посторонние не допускались, исключений никому не делали. Василий сильно тосковал. Он был похож на бескрылого горного орла. Утром 19 марта 1962 года Василий Иосифович попросил устроить ему свидание с начальником больницы. Мы обрадовались, думали, что он идет на поправку. Для нас Василий Сталин был больным человеком, нуждающимся в серьезной медицинской помощи и, кроме того, в нравственном душевном покое. На дворе по-весеннему грело солнце. Большие, незарешеченные окна кабинета начальника больницы были открыты настежь. Василию разрешили сесть в кресло. Для многих он был сыном Сталина, которого втихомолку продолжали почитать. Пока начальник разговаривал по телефону, Василий мгновенно вскочил на подоконник и выпрыгнул из окна. Когда мы к нему подбежали, он был мертв. При падении удар пришелся на затылочную часть. Как лечащий врач, я присутствовала при беседе

первого секретаря Татарского обкома КПСС, который докладывал Хрущеву о трагической смерти Василия Сталина. На это сообщение Никита Сергеевич коротко ответил:

– Собаке – собачья смерть!.."

Примеров и сопоставлений достаточно.

#### П р и м е ч а н и я:

1. Михаил Аплетин – персональный пенсионер, ему более 80 лет, живет в Москве, пишет мемуары. Копия письма хранится в архиве автора.
2. Актриса Л. жива и здорова, занимает главенствующее положение в театре, имеет звание народной артистки.
3. Специальный секретный отдел, который имеется во всех государственных учреждениях.
4. Руденко – по-прежнему, и при правительстве Брежнева, – Генеральный Прокурор СССР.



*От Редакции. Печатая настоящие главы из книги Леонарда Гендлина "Расстрелянное Пятидесятилетие", Редакция "Современника" считает нужным оговорить, что повышенный, с нашей точки зрения, критицизм Л.Гендлина в адрес Светланы Аллилуевой является выражением только его взглядов как автора.*

*В связи с публикацией воспоминаний Л.Гендлина, редакция "Современника" получила ряд писем, авторы которых выражают сомнения в подлинности ряда приводимых Л.Гендлиным фактов.*

*Мы можем сказать по этому поводу, что ответственность за достоверность рассказанного в книге Л.Гендлина лежит целиком на совести автора и мы полагаемся на его добросовестность. Думается, что поручкой ее являются журналистский талант и опытность Леонарда Гендлина.*

## ГЕННАДИЙ ПАНИН

### СООТЕЧЕСТВЕННИЦЕ, С ПОКЛОНОМ

*С* тал многолик мой скромный дом теперь:  
*В* есь свет пройди, его повсюду встретишь.  
*Е* му привычны горечи потерь,  
*Т* оварищи его – гроза и ветер.  
*Л* юбимый, первый, всё ещё любим,  
*А* я живу среди чужих строений, –  
*Н* о, чувствую, уже привязан к ним...  
*А* бракадабра?.. или наважденье?

*А*лмаз нигде задаром не дадут.  
*Л*ьстить не хочу: и здесь не кущи рая.  
*Л*юд тут не наш. Иные песни тут...  
*И* всё же здесь душой я отдыхаю.  
*Л*есов и рощ приятен всюду шум;  
*У*лыбкой на привет и тут ответят;  
*Е*сть те и "там", что молятся грошу...  
*В* чём разница тогда меж "тем" и "этим"?  
*А* в том, что здесь свободней я дышу.



## УДИВИТЕЛЬНАЯ ШВЕЦИЯ

Заманчивый миф о некоем земном рае, социализме "с человеческим лицом", необычайно живуч и притягателен для новейших эмигрантов. Одно время пленялись диссиденты Югославией и Чехословакией, потом — Израилем, Нью-Йорком... Сейчас начали пленяться мифом о Швеции — благо, сюда еще основная масса советских эмигрантов не успела добраться — и разочароваться...

Не стану ссылаться на собственный разнообразный опыт — он может быть субъективен. Но вот солидный общественно-политический журнал 'R' посвятил целый номер обзору эмигрантских проблем в Швеции — в отличие от США, в Швеции не замалчивают трудностей и неудач, постигающих эмигрантов, не заглушают стоны несчастных барабанным боем сталино-подобной пропаганды — как, мол, всем хорошо. От того, что кому-то хорошо, несчастному легче не становится. Что же нам сообщает серьезная шведская печать?

Хуже всего уживаются политические эмигранты, идеалисты: длинная цепь разочарований, драм, трагедий сплошь и рядом кончается психбольницей или тюрьмой. Другие возвращаются на родину. Третьи — получив шведский "путевой документ" и страшась ареста на своей родине, кочуют по всей Европе. Особенно беспомощны эмигранты из коммунистических стран. Хорошее образование и духовные запросы только мешают. Журнал приводит пример несчастной судьбы эмигранта "Ивана". Ему удалось бежать в Австрию лет десять назад.

Ивану сравнительно повезло: его не выдали обратно (что бывает!) и он попал в Швецию. Из "угнетенного студента" с политическими претензиями он превратился в "свободного чернорабочего". Зарплаты хватало лишь на жилье и питание. Прощайте, прекрасные мечты! Коммунистического общества Иван не признавал — а здесь *его* не признавало общество. Началось разочарование и опускание на горьковское "дно". Интервью с Иваном журнал брал в тюрьме — так закончились поиски свободы. Бунтарь против одного общества не прижился и в другом.

Конечно, в своем банкротстве и неудачах эмигрант сознаваться не любит, а предпочитает бахвалиться хотя бы перед доверчивыми земляками. Так втягиваются в эмиграцию новые жертвы. Работая посудомоями, грузчиками, уборщиками, эмигранты реализуют свои мечтания и воздушные замки хотя бы в письмах, смеются и издеваются над "дикостью" и "темнотой" своих далеких земляков, сообщая, как необыкновенно хорошо в Швеции, какие у всех права, что всем всё дают чуть ли не бесплатно. На деле — при всех достижениях Швеции — даром тут ничего никому не дают; образование — американизированное — хотя материально обставле-

но богато, но сильно уступает по качеству и интенсивности восточноевропейскому.

Большинство эмигрантов плохо говорит по-шведски, не имея подходящих для Швеции образования и специальности. С каждым годом Швеция всё прочнее закрывает границы, стараясь во что бы то ни стало остановить эмигрантский наплыв; даже в самих шведских городах полицейские облавы и повальные проверки документов стали повседневным явлением, как и высылки эмигрантов (в наручниках!) из страны. Кроме полиции, эмигрантов терроризируют и сами шведы – любящие иностранцев лишь в теории, из прекрасного далека, но жестоко ненавидящие их вблизи, чему способствует и сама шведская пропаганда, рисующая весь мир вне Швеции самыми черными красками. Но не всё хорошо в Швеции и не всё безобразно вне Швеции. Да и вообще, мир и человек имеют право на разнообразие, на необычайность, на право быть не таким, как все, – но попробуйте доказать это шведу!

Отчаявшаяся эмигрантская молодежь бросает школы, ненавидит своих затурканных родителей и богатое шведское общество, собирается в банды и начинает наводить ужас на улицах: ворует велосипеды, мотоциклы, машины, грабит стариков на улицах, взламывает квартиры. Даже в маленькой, тихой Упсале ежедневно случается десяток краж со взломом. У одного шведа за 6 лет украли 50 велосипедов! Сплошь и рядом крадут дети. Случаи насилия, по счастью, редки.

Эмигрантские дети презирают своих родителей, считая их (так же, как считают и шведы) никчемными иностранцами, но шведское общество не принимает и детей. Озлобленные, они стремятся отомстить обществу и открыто говорят об этом в интервью. Немногие преуспевшие эмигранты, мечтающие – хотя бы в своем воображении – ассимилироваться со шведским обществом, в особенности ненавидят своих неудачливых земляков. Надо же кого-то презирать и ненавидеть, смотреть на кого-то сверху вниз! – "нуворишей" всегда отличала особенная вульгарность. В удачах и неудачах эмигранта решающее значение имеют обстоятельства; преуспевают далеко не лучшие – часто за чужой счет и не чистым путем.

В моем коротком "Письме из Швеции" я не могу привести все примеры из журнала 'R'. Прочитую лишь характерные заголовки статей из разных его номеров: "Мачеха Швеция"; "Погибшие"; "Полицейские – государственные хулиганы"; "Каждую ночь мне снится мама"; "Пленник в Швеции"; "Мы боимся друг друга"; "Из Венгрии – в никуда"; "Больны от одиночества"; "Дети – бессловесны, бесправны, бездомны"; "Пришла полиция"; "Нельзя выслать из Швеции мертвого"; "Я работал семь дней в неделю"; "Лицемерие и шведы"; "Мы не люди, а рабочая сила"; "Изоляция рождает преступность"; "Из тюрьмы в тюрьму"; "Ложь о равноправии"; "Человек чувствует себя обманутым"; "Я с ужасом думаю о будущем" и тому подобное.

Я отнюдь не стремлюсь "поносить" Швецию. Напротив! Эмигрантские проблемы и беды существуют повсюду – но лишь в Швеции честно говорят

о них, а не скрывают самовосхвалением, не замалчивают, как в других странах. Свобода заключается не в том, чтобы вместо "да здравствует товарищ Сталин!" кричать "да здравствует товарищ Швеция (Америка и т.д.)!" Свобода — это право на дискуссию, возможность критики. К сожалению, рабский дух настолько пропитал многих эмигрантов, что они не в состоянии иметь иных мнений, кроме как "да здравствует!" — ну, а кто и что — это ведь не так важно! Отсюда же — убогая нетерпимость ко всякому инакомыслию. "Современник" — чуть ли не единственный в русском Зарубежье журнал, открывший страницы РАЗЛИЧНЫМ точкам зрения; сия вольность восхитила, увы, далеко не всех.

В эмиграции русская культура (литература) стоит как бы в стороне от европейской, не включается в европейскую традицию, и никакие европейские деятели культуры не могут в нее включиться и ее продолжать, вроде того, как многие русские, испанцы, немцы включались во французское искусство и продолжали его. Русские эмигранты не могут, как правило, включиться в западную жизнь, потому что весь русский образ жизни (НЕ политика) совсем иной. И близость Швеции с Финляндией ничего не меняет в этом отчуждении.

Жители России — как и не похожие на них жители Швеции — так привыкли к родной стихии, что неспособны взглянуть на нее со стороны и объективно ее понять. Во всех русских взглядах на Россию — даже славянофильских — считается, что Россия — это все же Европа. Русские обижаются, когда Европа отмежевывается от них как от азиатов; в России и русских иностранцы замечают, во-первых, именно русское, то, что им чуждо. Столкновение разных культурно-исторических типов — явление сложное. И "разочарование" русских заграничных путешественников и эмигрантов свершилось не только с Герценом, но еще за 200 лет до него — с Котошихиным в Швеции.

Письма Фонвизина — двухсотлетней давности — почти дословно повторяются не знающими о них советскими эмигрантами. "Приехал я в Париж, сей мнимый центр человеческих знаний и вкусов. Все рассказы о здешнем совершенстве — сущая ложь. Божество француза — деньги; корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самих философов. Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольности по праву от действительной вольности. Французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве. Пребывание мое во Франции убавило сильно ее цену в моем мнении; я нашел доброе в гораздо меньшей мере, нежели воображал, а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог. Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердцем, что я ее сам видел, и что не может уже никто рассказами своими мне импозировать. Славны бубны за горами — вот прямая истина!" Как видим, "близкое знакомство" и тогда освобождало от гипноза. Мир слишком часто — не черно-белый, а — серый.

Многие шведы любят путешествовать и подолгу жить в других странах (не восхищаясь ими, нет! — восхищаются шведы одной только Шве-

цией), порицая их злобно и часто несправедливо. Подобную же критику иностранцев в адрес Швеции — шведы не любят слышать. Ну, а Россию и русских на Западе уж лет с тысячу принято с грязью смешивать. Опять столкнулись культурно-исторические типы! Вспомним, однако, что когда лет полтора назад, во времена Пушкина, засветилось то, что именуют русской культурой, многие начали говорить, что Россия назначена служить звеном между Востоком и Западом. О Западе тогда писали: европейские убеждения неполны, холодны, шатки. Европейское общественное устройство основано на взаимном недоверии граждан между собой и к правительству; беда нашего века — хлопотливость, ему недостает созерцательности; само просвещение увяло в цифрах и химических разложениях.

В действительности, Россия связана крепко и неразрывно с Европой, но так же крепко — если не прочнее — связана и с Азией. Россия есть не только народ, могущий приобщиться или разобщиться с Европой, но представительница и носительница иного идеала, иного мира, более широкого, чем она сама. Европейская культура есть продукт определенной этнической (Англия, Франция, Германия, даже не Испания и не Италия) группы, которой без всяких оснований придают вид общечеловеческой; эта культура не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание определенной и ограниченной этнической группы, имевшей общую историю. Обычный шовинизм превозносит один народ, а западный шовинизм превозносит один Запад, который всегда и во всем прав, и перед которым все виноваты; который всем имеет право диктовать и выставять оценки за поведение, или бомбить, пользуясь перевесом техники.

Отсюда, в частности, и проистекает трагедия эмиграции — столкновение с чужой жизнью. Журнал 'R' приводит китайскую притчу о человеке, который очень любил драконов: собирал их портреты, литературу о них, и очень сочувствовал их трудной жизни. Прослышали о том драконы и пустились в путь, преодолевая широкие реки и ОВИРы. Добрались, наконец, замученные. Постучали в дверь добряка. Но тот представлял себе драконов совсем не такими, и выставил этих на холодную и голодную улицу. И закрыл дверь. И сказал, чтобы больше не приходили. И продолжал дальше, с энтузиазмом, любить драконов и бороться за их права и свободы.



## ИВАН БУРКИН

### ЧЕЛОВЕК

*Человек — это звучит гордо.  
Горький*

Человек — это звучит страшно.  
Из человека растёт винтовка.  
От человекак ответвляется книжка.  
Ноги стараются  
и двигаются по очереди.  
Руки циркулируют  
и болтаются по очереди.  
Голова занимается революцией.  
Лицо бывает похоже на яйцо.  
Улыбка бывает похожа на грамматическую ошибку:  
Верхняя губа не согласуется с нижней.  
Изо рта иногда выпадает синтаксис.  
Живот описывает пищу,  
которая переходит в благородную окружность.  
К человеку пристроены карманы,  
из которых идут вожжи.  
Из человека дует дух.  
Разговаривает с Богом,  
когда Тот занят.  
Спит наизнанку.  
Человека можно разобрать на части:  
на артрит,  
на подагру,  
на мигрень,  
на порок сердца.  
Во рту человека находится ключ,  
который отпирает человека.

## ПРОЩАНИЕ С ПУШКИНЫМ

Весна. Я снова торжествую,  
В блокноте обновляю путь,  
И, как кобылу, рифму чую,  
Перо несется как-нибудь.

Шумят какракули растений,  
Страна рассеялась, как дым.  
Гроза устраивает сцены  
Седым и вечно молодым.

Передо мной мелькают кадры  
Из белых зим, из тех руин,  
Насквозь испуганные хаты,  
Последний выпуск тех равнин...

Трепещут окна, занавески,  
Трепещут там, где млею я,  
Где извиваются невестки,  
Где заправляются мужья.

Платки, кашне, колье, браслеты.  
Хрустят характеры, плащи.  
Тугие лица без просвета.  
Ходи, ищи, кричи, плати.

Скажите, что мне делать рядом  
С роскошно убранною тьмой?  
Я посмотрел и плюнул взглядом  
В окно, цветущее тюрьмой.

## ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА

### О С Е Н Н И Е С Т И Х И

\* \* \*

А мы и не видим,  
как лето цветёт,  
как зреет на ветке  
заманчивый плод.  
И ворохи шорохов  
прячет трава,  
и никнет пионов  
пустая глава.  
Ах, лета обеты  
красиво-чисты.  
До хладных наветов  
пестреют цветы.  
А после, а дальше  
под фальшью дождей –  
провисшие нити  
осенних сетей.  
И лета – как нету –  
без эха "Ау!".  
На нитке осенней,  
свисая, живу.  
Опали надежды,  
заиндевел в ночь.  
Летит паутинка  
Доверия –  
        прочь.

### ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Опять опята желтопятые  
на пнях заводят хоровод.  
Опять опаловыми пятнами  
нам осень знаки подаёт.

И проступает праздность праздника  
прощанья с лучшей порой  
закатно-яркою багряностью  
осинок просеки лесной.

И платит золотом за молодость  
берёз пресветло-тихий хор...  
Но вот с угрюмостью дубовую  
дуб зеленеет –  
до тех пор,

пока в морозы жостью жёсткою  
его листья не зазвенят,  
и ветер плетью-длиннохвосткою  
их не собьёт, забаве рад.

Пусть так!  
Но только не в бездумии  
клонить главу пред ликом сил.  
Не потому ль мой дуб за Уманью  
уж три столетья  
пережил?

## Ж У Р А В Л И

Без меня журавли улетают,  
без меня собирают стаю.  
Без меня индевеет травушка,  
без меня –  
отбитой журавушки.

Как сошлось-то оно:  
всё клином,  
остро-точеным, хоть незримым...  
По-над полем осенне-сжатом  
на крыло встают журавлята.

Оперились – пора в дорогу –  
над ветрами не вольны ОВИРЫ –  
в путь далёкий – к теплу,  
до срока  
закипанья весенних соков.

Журавлям лишь дано — на волю,  
по природе их лёгкой, птичьей.  
Нашу волю

хранит недоля  
и железные пограничья.

Как без визы легко им клином  
взрезать сети запретов гнусных.  
А у Нила хранить им мило  
верность дому  
и збрям русским.

Журавли улетают с плачем...  
Нет, не знали мы,  
что это значит —  
замеров в самолётном взлёте  
оказаться в осеннем отлёте.

Из груди камень сердца вынув,  
в свое прошлое вбить его клином,  
чтоб советчиной,  
как мертвечиной,  
не дышать нам в краю родимом.

Но Россия не любит разлуки.  
Помня всех невернувшихся муки,  
над колодцами русской земли  
прямоного стоят журавли.

\* \* \*

Журавлиная клинопись  
подревней пирамид.  
Сердце бедное вскинется:  
треугольник летит  
зашифрованной весточкой  
от родимых полей.  
Вестовым быть —  
завещано  
на роду журавлей.

1979 г.  
Торонто.

ОТ ГОГОЛЯ ДО ГЕГЕЛЯ или "МЕРТВЫЕ ДУШИ"  
в "СЕЛЕ СТЕПАНЧИКОВЕ" ДОСТОЕВСКОГО

(Окончание. Начало в номере 42)

В восьмом номере журнала "Современник" за 1857 год (в пору работы над "Селом Степанчиковым") появилась рецензия Н.Г.Чернышевского на только что вышедшее собрание сочинений Гоголя, в которой рассматривался сложившийся под воздействием письма Белинского взгляд на Гоголя последних лет и с писателя снималось обвинение в "неискренности и сознательном угодничестве общественным верхам." *Достоевский несомненно знал статью Чернышевского.* Да и без Чернышевского вовсе, схемы публицистических тенденций обоих писателей совпадали в основном. Об этом же говорит и то, что заключительные слова "Переписки" Гоголя: — "у нас прежде, чем во всякой другой земле, воспризднуется Светлое Воскресенье Христово" — намечают, как формулирует Гроссман, сущность всей национально-религиозной публицистики Достоевского... Так что, если и "описка", то вряд ли "сплошная"! Достоевский, как известно, занимал *особую позицию*, отличную и от "Современника", и от его противников. Эта особая позиция сказалась и в Опискине, и в Ростаневе, которого Достоевский и написал так, что он не подходил, как утверждает М.Гус, под понятие "лишнего человека" ни в трактовке Чернышевского, Добролюбова, ни в понимании Анненкова и Дружинина. "К чему, — спрашивает Достоевский в одной из статей 1840-х годов, — отвергать человека" (хотя бы из шутов, как Фома, например. — Е.В.), "и такой человек получает все, что хотелось ему получить... И опять-таки *вовсе не из подлости* действует... наш человек..." (14). Здесь, по-моему, — некая страдательная ирония психологического осмысления, а не "социальный приговор". Поэтому, повторяю, Опискин не может быть носителем "сплошной" отрицательности, хотя бы потому, что и Достоевский не согласился бы, по всей вероятности, с подобным утверждением, ибо "не может быть на свете такого человека, который был бы только подлец и больше ничего..." (15).

Устная легенда и ряд интересных сопоставлений Юрием Тыняновым (статья "Достоевский и Гоголь", 1919 г.) в подтверждение версии, что "Фома Опискин — пародия на Гоголя эпохи "Переписки с друзьями" — вовсе не убедили ни М.П.Алексеева ("Вопрос, однако, еще не решен окончательно... все же подлежит пересмотру..." — 16), ни В.В.Виноградова: "...в образе Фомы Опискина, поскольку он имеет не общечеловеческий, а исторически-бытовой характер, воплощен *собирательный тип* претенциоз-

ного беллетриста-рутинера 40-х г., и что материал для его создания доставили литературные факты из деятельности Н.Полевого, Кукольника и других, а не только "Переписка" Гоголя. Впрочем, каков бы ни был конструктивный генезис типа Фомы Опискина, его речи, во всяком случае, *не осуществляли чистых эффектов стилистической* (в собственном смысле) пародии: они могли служить *лишь средством проектировать на тип Фомы*, как на экран, тень той или иной литературной физиономии... (17). Описка же обычно — это та нежелательная случайность, идущая не только от "небрежности письма", но и часто выговаривающая то, что хотелось бы (подсознательно) сохранить в тайне. Описка, в этом смысле, *саморазоблачительна*, а если так, то и *не нуждается*, казалось бы, в "лишнем": *"дополнительном" осмелении "со стороны", а довольствуется самопародийностью*, каковая и возникает при проявлении "непохожести на всех" оригинала (Фома — один из них, нарушителей привычного склада вещей, без которого, однако, и состояться не может на более высоком уровне переоценка одряхлевших ценностей) — на глазах носителей традиционных этических норм, "принятых" в обществе... И так далее. Хочу подчеркнуть, что если Опискин — это как бы обобщение доминирующей черты природы (судьбы? сознательной игры?), во главе с этим "определяющим качеством", то и тогда Достоевский *вряд ли стал бы обводить жирным карандашом то отрицательное, что в Опискине заключалось — чтобы в застывший гоголевский искусственный тип его тем самым не превратить*: Достоевский говорит, что "...тип почти никогда не представляет собою полной сути... тип часто лишь половина правды, весьма часто есть ложь." (18)

Значит, Фома все-таки описан в *доброжелательно-смешном, истинном свете серьезности*. К этому выводу склоняет еще один факт: в библиотеке Достоевского была книга средневекового христианского богослова Фомы Кемпийского (1379-1471) "Подражания Христу". К славе Гоголя, а не к хуле то, что "многие сентенции" в "Переписке" "напоминают назидания" этого уважаемого и Гоголем, и Достоевским проповедника. Не из-за этого, уж конечно, разделились мнения читателей "Переписки" на отрицательное (Белинский, Скабичевский, О.Миллер, Пыпин, Тургенев и др.) и положительное (Ап. Григорьев, Л.Толстой, Волынский, Барсуков, Матвеев и др.). Вот и Сенковский, — говорит Альтман, — предостерегая "чрезмерных почитателей Гоголя", изрек (ну и что?!): "...пускай он (Гоголь — Е.В.) воображает себя Гомером и Фомой Кемпийским...".

Ну и что?! А Фома-апостол? — "...Прикоснулся Фома за ребро Христова..." (19). А Фома Келесирский, юридический? — его 24 апреля чествует Православная Церковь. (20). И так далее. Экий "неверующий Фома"! (а может — Ерема? или Парамошка? — смотри лубочные картинки восемнадцатого века!)

"Словарь "Переписки" вообще, — говорит Ю.Н.Тынянов, — врезался в память Достоевского". В Дневнике Писателя за 1876 год сказано: "Гоголь в своей "Переписке" слаб, хотя и характерен"; в письме от 4 ноября 1880 г. к Аксакову он пишет: "Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в "Переписке с друзьями") есть неискренность..." Но

сущность предсмертной драмы Гоголя была близка Достоевскому. Тяга к Богу, порождающая вместо ожидающего блаженства невыносимую муку, вместо благодатной веры – глухое отчаяние своим душевным бесплодием, вместо светлой примиренности – чувства глубокой обиды, бунты возмущенной совести и жажду покаянных самопроклятий, – всей этой личной драмой своего конца, по мнению Гроссмана, Гоголь намечает будущие тревоги скорби и мятежи неверующих мистиков Достоевского. Гоголь создал у нас тип писаний на общественные темы, повторенный Достоевским в "Гражданине" и "Дневнике".

Ничего не доказывает и малоубедительное, в смысле "пародийности на Гоголя", признание Лебякина в "Бесах": дескать, он написал "одно стихотворение, как Гоголь "последнюю повесть", помните, он еще возвещал России, что она "выпелась" из груди его." Лебядкин негодует на свою "птичью" фамилию – птичье прозвище – "пытается ходить гоголем"... – о, это уже, в глазах Альтмана, целый "эпизод борьбы" Достоевского с Гоголем – "только как с автором "Переписки" – ради, по мнению критика, "продолжения своего заветного дела" (бывшего петрашевца)!

И еще: "излюбленная Гоголем тождественность имени и отчества – Фома Фомич". Это, как правильно отмечает Альтман, может быть объяснено использованием приема гоголевской ономастики; хотя и среди героев Достоевского немало носителей тождественных имен и отчеств ("и все же их сопоставлять не приходится: они – уверен Альтман – р а з н о п р о д н ы").

33. Б.Г.Реизов (21) не соглашается с мнением В.В.Виноградова (22), считающего, что "прием точной и детальной регистрации мельчайших движений" героя идет к Достоевскому от Гоголя. Ведь это очень характерно и для Диккенса, особенно в "Записках Пиквикского клуба" (уже в 1847 году сравнивали Достоевского с Диккенсом). Поэтому Реизов считает возможным установить непосредственную связь: Диккенс – Достоевский, и уверенно предположить, что "уже через посредство Диккенса" к Достоевскому пришло влияние готического и французского фельетонного романа, следы которого запечатлелись и в "Селе Степанчикове". Диккенс, по мнению Реизова, "явился учителем Достоевского и в мастерстве композиции" романа, и "в ведении интриги, чрезвычайной сложности взаимоотношений", не говоря уже о том, что эпизоды в "Селе Степанчикове", связанные с Татьяной Ивановной, ее похищением и погоней за ней, сюжетно перекликаются с теми главами "Записок Пиквикского клуба", где говорится о похищении Джинглем старой девы мисс Уордль.

34. "Особая" позиция Достоевского в споре между "восточниками" (славянофилами) и "западниками" в принципе не противоречит гоголевской позиции. В статье "Споры" (23) Гоголь подчеркивал, что к середине 40-х годов (к этому же времени приблизительно относится и действие в повести "Село Степанчиково") в России начинает "просьпаться, но еще не вполне проснулось" национальное самосознание россиян. "А потому не мудрено", что – по мнению Гоголя – "с обеих сторон наговаривается мно-



го дичи". "...Все эти восточники и западники" кажутся Гоголю "только карикатурами на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел слишком далеко от него, так что видит весь фасад, но по частям не видит...".

В этом великом противопоставлении главные характеры в "Селе Степанчикове" контрастны: добрый помещик Ростанев и "выскачка" Опискин, "западничество" которого, кажется, сводимо в основном к насильственному офранцуживанию крестьян и к регулярному освежению их пропитанной трудовым потом рубашки... И Гоголь, и Достоевский, по-видимому, не сомневаются в том, что "правды больше на стороне славянистов". И поэтому еще не следует преувеличивать "осуждения" Достоевским гоголевской "Переписки". В "Селе Степанчикове" "ясно сказалась позиция Достоевского, кое в чем согласного и несогласного и со славянофилами, и с западниками." (24).

35. Невозможно с первой попытки представить на суд читателей исчерпывающий реестр реминисценций из "Мертвых душ" в "Селе Степанчикове". Гоголь хотел, чтобы в русской литературе, наконец-то, стали изображать и отрицательный тип. И Достоевский, кажется успешно, попробовал ответить на вскрытую Гоголем назревшую потребность. Ростанев оказался способным лишь на то, чтобы стать "старосветским помещиком", наподобие гоголевского Афанасия Ивановича. Бахчеев, думаю, написан по Гоголю. "Два почтенных мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собой! и за что? за вздор, за гусака" — не упущено Достоевским и использовано в изображении ссоры Бахчеева с Ростаневым — "достойных бриллиантов в своих поместьях" — из-за надувшегося "гусака" (по функциональной роли в эпизоде) Опискина. Гоголь-юморист был очень близок Достоевскому.

36. "Двояшки", "два", "парные" объекты встречаются у обоих писателей. В данном случае, конечно, не может быть и речи о влиянии Гоголя на Достоевского. "Мертвые" предметы раздваиваются: у Гоголя — для того, чтобы тем выявить то общее, что присуще всем людям, как он их видит, их автоматизм, слепую подчиненность внешним импульсам, навязанной извне привычке. У Достоевского, напротив, — трагика избытка душевности и духовности: его герой хочет, чтобы "все его любили" и вместе с тем мучается мыслью, что сам он неспособен никого любить, что ему все равно — пусть весь мир провалится, лишь бы ему "чай пить"; хочет быть "всечеловеком", "человекобогом" и вместе с тем не в силах вытравить из себя "чорта" — и именно оттого, что хочет быть Богом.

В основе — общая им обоим диалектичность жизневосприятия, видение того, что Николай Кузанский назвал *coincidentia oppositorum* (совпадением противоречий).

Таким образом, как заметил Гроссман, другие писатели (особенно Гоголь и Лермонтов, пожалуй) способствовали не только нарастанию, но и проявлению вонне некоторых автономно зреющих у Достоевского замыс-

лов. Они словно пробивали брешь в той коре, которая сковывала внутренний прилив его творческих сил и своим зиждательным ударом давали широкий выход накопившемуся подземному руднику, начинавшему с этого момента бить и играть своей собственной энергией.

В мировой литературе мысль о приходе себялюбцев и притворщиков "перед концом мира" (ср. с пророчествами апостола Павла, во втором послании к Тимофею: гл. 3, ст. 2-7; примерно о том же говорила и святая Гильдегарда в двенадцатом веке) нашла широкое отражение: Овидий, Проперций, Матюр, Ренье, Рабле, Скаррон, Жодель, Боккаччо, Аретин, Маккиавелли, Бен-Джонсон и, уж конечно, "Тартюф" Мольера. Так что характер "тартюфовца" Опискина, хотя и не нов в принципе, но как русский вариант общеизвестной идеи — знаменателен и бессмертен, даже если бы в нем не было совсем "ни капельки" лично гоголевского.

Говоря об источниках "Села Степанчикова", хочу поделиться одной, кажется, никем не учтенной совсем мыслью: *я думаю, что "Тартюф" Мольера был воспринят Достоевским сквозь призму гегелевского освещения этого произведения. И вот почему.*

Достоевский в письме к брату Михаилу (от 22 февраля 1854 г.) просит прислать Гегелю историю философии: наряду с некоторыми другими книгами, он хочет переводить вместе с бароном Врангелем труд Гегеля. (25).

В середине 50-х годов наблюдается, кажется, коренная переориентация Достоевского — от французских утопистов к немецким идеалистам. И "с этим, — говорит он в упомянутом письме, — *вся моя будущность связана*". Почему же не предположить, что Достоевский сквозь призму немецкой философии мог увидеть иными и французские образцы комического ("Тартюф", в частности!).

По времени, Достоевский — позволю себе указать конкретно — мог быть знаком с третьей книгой эстетики Гегеля, в издании Годо (1843 г.), где рассматривался и "Тартюф". Достоевский мог сознательно или "начаяно" позаимствовать схему логически-структурного ряда рассуждений философа.

В доказательство правомерности моей гипотезы сравним ход движения мысли Гегеля и "реализацию ее" в "Селе Степанчикове" (26):

"Абсолютная, серьезная наивность скупого в сопровождении глупой страсти не приводит этот характер ни к какому освобождению духа от этой ограниченности... В виде компенсации изысканное искусство в точной обрисовке характеров или разработка хорошо обдуманной интриги... Большею частью интрига проявляется в том, что действующее лицо стремится достигнуть своих целей, обманывая других; при этом кажется, будто оно входит в их интересы и им способствует, но в сущности оно вводит их в заблуждение, чтобы с ними покончить этой мнимой помощью... Тогда обычно пускается в ход обратное средство — со своей стороны опять-таки притвориться и тем самым вовлечь других в подобное же затруднение; получается суматоха, которая остроумнейшим образом используется в бесконечно разнообразных ситуациях и взаимных сплетениях." (Гегель. Сочинения. Т. 14. М., АН СССР, 1958, стр. 396).

"Абсолютная, серьезная наивность" Опискина, уверовавшего в свою "спасительную" миссию в усадьбе Ростанева; она в "сопровождении глупой страсти" – желание поизмываться мстительно над другими, как над ним когда-то, в пору вынужденного шутовства, – "не приводит этот характер ни к какому освобождению духа от этой ограниченности" – каким Фома был, таким он и остался.

В "Селе Степанчикове" дана "точная обрисовка характеров" (это составляет даже предмет гордости Достоевского тех лет) и осуществлена "разработка хорошо обдуманной интриги" (Ростанев–Натенька и Татьяна Ивановна – соискатели ее руки; это любовная линия интриги; другая – пакостное противоборство Фомы Опискина с мешающими ему самоутвердиться; здесь Фома иезуистически ловок в стремлении "достигнуть своих целей, обманывая других").

Важно подчеркнуть, что Гегель считает любовные интересы, честолюбие и т.п. – "содержанием" произведения (думаю, что тема "Села Степанчикова" – чисто психологическая); эти компоненты "в комическом виде взаимно уничтожаются: такова, например, гордость – нежелание сознаться в любви" (Ростанев – Настеньке), "давно испытываемой, а в конце именно поэтому обнаружение ее". (Гегель. Там же, стр. 396-397).

"Лица, которые затевают подобные интриги и проводят их, обычно... слуги..., не имеющие никакого чувства уважения к планам своих хозяев, но проводящие или разрушающие эти планы, руководствуясь собственной выгодой; таким образом, они вызывают смешную картину – что в сущности хозяева – это слуги, слуги же – настоящие хозяева, или же во всяком случае доставляют повод для других комических положений, внешне или преднамеренно обусловленных. Мы сами в качестве зрителей посвящены в тайну и можем чувствовать себя застрахованными от любого коварства и всякого обмана, в который часто вовлекается... *почтенный отец и дядя*, можем смеяться над всяким противоречием, открыто заключенным в подобных обманах или явно в них обнаруживающимся." – Так пишет Гегель. (Там же, стр. 396-397).

Фома – интриган, в прошлом – шут и "раб", не уважает вовсе своего кормильца; и хотя он, вроде бы, соизволил благословить дядюшку на брак, он "руководствуется собственной выгодой" при этом. Подлинный хозяин дома Ростанев выглядит слугой Фомы.

"Современная комедия выставляет зрителям вообще личные интересы и характеры семейного круга в случайных карикатурах, со смешной стороны, в ненормальных глупостях и замашках, отчасти изображая характеры, отчасти – комические завязки ситуаций и положений. Но живая веселость... не оживотворяет... комедийного жанра; эти комедии могут быть отталкивающие, если... хитрость слуг... в отношении достойных хозяев, отцов... одерживает победу..." (Гегель. Там же, стр. 397).

"Живая веселость" в изображении картин села, как отмечал еще А.Левинцев, не совсем удалась Достоевскому. Гегель как бы мотивирует случай подобной неудачи – объясняет это общим направлением прозрачного стиля комедии Мольера.

По Гегелю, первый тип комедии – "прозаический". Из второго типа комедии, им определяемого, – "подлинного комического и поэтического характера", Достоевский мог усвоить основной тон ее, рисуя в селе Степанчикове атмосферу благодушия, которая вот-вот готова исчезнуть.

Предвестником конца "веселой атмосферы" в селе Степанчикове является лакей типа пушкинского Савельича, с ужасом вспоминающий "Пугачева-изверга"; и автор, устами справедливо возмущенного рассказчика, кажется, вполне солидарен с мнением слуги Гаврилы о страшных злодействах бунтаря Пугачева. Во всяком случае, в повести нет больше упоминания о тревожном настроении крестьян. Но это уже не "неудача и промах", как думают официальные советские историки и литературоведы, упрекая Достоевского в "идеализации", "приукрашивании" его села, а известная, хотя и короткая, традиция (ср.: "Рославлев" М.Н.Загоскина; 6-ая глава "Капитанской дочки"; особенно остро – рассуждение о бунте в лермонтовском "Вадиме"). Эта традиция была глубоко осознана и самостоятельно выверена Достоевским.

Основной состав "Села Степанчикова" впитал в себя, как видно, многое, однако и "Мертвые души", блеснув в "Двойнике", отразились в этом замечательном произведении. Более того, они оставили ощутимый след в дальнейшем творчестве Достоевского, равно как и в произведениях других русских писателей.

Красота, добро, правда – это, по выражению Толстого, старинная гегелевская троица (в 1918 году, кстати сказать, в блоковском контексте понятие "прекрасное" в формуле идеала жизни переключается и как бы спрячется за более неотвратимым актуальным – наступившей непролазной грязью и серой скукой...) запечатлены в творениях лучших. Кстати, Васисуалий Лоханкин повторяет судьбу помещика Максимова ("Братья Карамазовы"): он живет приживалом на диване у Варвары (Максимов – у Грушеньки), и, точь в точь как Максимов – один из приживальщиков, высечен "за образованность". Сам же помещик в романе Достоевского утверждает, что он уже был описан в "мертвых душах". Так что Гоголь нескончаем, хотя бы его и отверг задолго до А.Синявского лакей Смердяков, которому дали читать "Вечера на хуторе близ Диканьки", а тот в качестве настоящего "ученого" и "прогрессивного критика" заявил: "про неправду всё написано"...

Из Гегеля возможны противоположные выводы: всю философию можно истолковать "или как окончательное поглощение божественного человеческого и как выражение гордыни человека, или как окончательное поглощение человеческого божественным и как отрицание человеческой личности..." (Н.Бердяев. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952, стр. 45 и др.). Достоевский связывал пустословное тартюфство с безмерной гордостью заплутовавшихся – карателей романтизма, т.е. зачастую всего прекрасного и истинного, "каждый атом которого дороже всей их слизняковской породы". И это говорил писатель еще в 1849 году, когда, вполне допустимо предположить, уже возник у него степанчиковский замысел – в момент создания повести "Ма-

ленький герой". Иуда и Фальстаф в одном лице — в "Униженных и оскорбленных". В "Бесах" Гоголь и Мольер сближены — стоят в одном ряду среди приходивших сказать людям свое новое слово. Новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, но на грудах золота, сравнивается в "Подружке" с Плюшкиным. Но это только частички, нити, дуновения эманаций; весь же Жорж Дантен целиком, как говорил Достоевский в "Идиоте", тоже может встречаться в действительности, хотя и редко — таким, как его запечатлел Мольер. И не от Гегеля ли у Достоевского мысль о "несчастном сознании" и самоспасении в потере сознания? За пределом традиционного понимания гегелевской антитетики можно нащупать ключ к переосмыслению истоков Достоевского.

#### Примечания:

14. Ф.М.Достоевский. Собрание сочинений. Т. 13. М.—Л., 1930, стр. 17.
15. Из рукописи Речи о Пушкине.  
Видимо, оглядкой опального писателя на цензуру объясняется резкое снижение тональности характеристики Опискина в третьем и четвертом изданиях "Села Степанчиково"; уже звучат: не "Фома", а "Фомка"; не "помянуть", а "понимать"; не "покупал", а "подкупал"... (Описание рукописей Достоевского. М., 1957, стр. 4).
16. М.П.Алексеев. О драматических опытах Достоевского. — Сб. "Творчество Достоевского" под ред. Л.П.Гроссмана. Одесса, 1921, стр. 56, примечание 2.
17. Виктор Виноградов. Этюды о стиле Гоголя. Л., 1926, стр. 20.
18. В "Маленьком Герое"... Достоевский пользуется все той же "Перепиской", но не как материалом пародии, а как материалом стилизации. (Юр. Тынянов. "Фома Опискин и "Переписка с друзьями"). "...Пародийность "Села Степанчиково" не вошла в литературное сознание." (Там же)
19. Русская демократическая сатира 18-го века. Подготовка текстов, статья и комментарии В.П.Адриановой-Перетц. М.—Л., стр. 110-113.
20. Алексей (Кузнецов). Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое исследование. СПб., 1913, стр. 45. Г.П.Федотов. Святые Древней Руси. Нью-Йорк, 1959, (10-17 стр.).
21. Б.Г.Реицов. К вопросу о влиянии Диккенса на Достоевского. — В сб.: "Язык и литература". Изд. Института сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. Т. 5. Л., 1930, стр. 253-270.
22. В.Виноградов. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., 1929.
23. Н.В.Гоголь. Собрание соч. в семи томах. Т. 6. М., 1967, стр. 251.
24. В.Я.Кирпотин. Ф.М.Достоевский. Творческий путь (1821-1859). М., 1960, стр. 544-545.
25. Замысел Достоевский так и не осуществил. И скорей всего не потому, что, якобы, мало понимал он тогда по-немецки (А.Е.Врангель. Воспоминания о Ф.М.Достоевском в Сибири. 1854-56 гг. СПб., 1912, стр. 21, 32). А по иным причинам, уж явно не "нелюбви этого языка" (как же тогда он

в юности мог Шиллера переводить?!). К слову сказать, гегельянские категории прилагались тогда без всякой трансформации даже... к барышням! Так, Бакунин, не боясь комического эффекта от непосредственного применения Гегеля к дамам, заклинает, например, сестру Варвару разойтись с мужем – *во имя истинной жизни и абсолюта*... В 30-40-ых годах Белинский, по мнению Л.Гинзбург, также не избежал периода применения гегельянских категорий к анализу душевной жизни. И не он один. Да, в Сибири Достоевский собирался переводить с Врангелем Гегеля и Психею Каруса; в Твери он приступает к работе над задуманным, но "после внимательного обсуждения отказывается от этой мысли".

Однако следы Гегеля в творчестве Достоевского давно следовало бы поискать. Кажется, Н.Страхов одним из первых предположил косвенное воздействие на нашего писателя со стороны Гегеля. Дмитрий Чижевский, Борис Яковенко, Н.Бродский, С.Гессен, Эдвард Карр, Г.Белцер – это почти все, кто хоть что-то сказал о возможном влиянии Гегеля на Достоевского. В целом же критиками это воздействие отрицается.

26. *Русский Гартюф* изображает из себя не святошу, как его французский предок, а высокую, непонятую душу, осужденную прозябать среди маленьких, не могущих оценить его людей. (Н.Джонсон. Московские письма. "Театр и искусство", 1917, № 41, стр. 712).

## ГРИГОРИЙ РЫСКИН

### ИЗ "ДНЕВНИКА КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ"

#### 1.

Скрипит при каждом шаге половица,  
Как старый вяз над высохшей криницей.  
А мне в глаза пылит половиками  
Старуха черная с бульдожьими щеками.  
Внушает ужас коммунальный кров,  
Раскольниково смутное явление.  
Как хорошо, что нету топоров:  
Повсюду паровое отопление.  
За окнами – сосульки желтый клык.  
А музыка, исполнена бессилья,  
Летучей мышью тычется в углы,  
Ломая перепончатые крылья.

#### 2.

Выражение: "Мой дом – моя крепость" –  
В коммунальной квартире – нелепость.  
Не здесь оно, как видно, родилось.  
Копытом острым вспарывает лось  
Моей стены картон неплотный.  
Там вопль кикиморы болотной,  
Там вурдалака вой ночной –  
За коммунальной стеной.  
Гоняются за Музой совы.  
Кто сотворил сей мир бесбвый?  
Ты спрашиваешь – как живу?  
В гробу долблёном по реке плыву.

#### 3.

Прозрачен купол храма золотой.  
В нём уголь пылает, жаром налитой,  
Над белыми июньскими ночами.  
Они плывут неспешной чередой,  
Сияя обнаженными плечами,  
И солнце спит с открытыми очами.

4.

Тюрьма эмоций, мыслей каталажка.  
Тюремщик спит, ворочается тяжко,  
Пьян, как свинья, уж так заведено.  
Пуста его железная баклажка,  
В желудке бродит скверное вино.  
Бетонный пол, стенная золотянка,  
На батарее корчится портянка,  
Всё спит, как будто гусеницей танка  
Придавлено.

Но кто же там не спит,  
Подошвой шаркает, напильником скрипит,  
Пренебрегая дыбой и костром,  
Звенит ключами....

5.

В закатный час куда как хороша  
Тюрьма,  
когда её осветит лучик,  
И в путанке запуталась душа,  
Лежит на белой проволоке колючей  
И медленно вино былого пьёт,  
Припоминая, как от самой ТРОИ  
Бастильи рушит, в барабаны бьёт  
И тюрьмы из обломков тюрем строит.  
Как стекла за решетками горят.  
И снова вокруг обещанного рая  
Шипы заиндевелые парят,  
Колючие цветы напоминая.

6.

Мундирность чувства, и мундирность воли,  
В мундир зеленый втиснутое поле,  
И даже это небо над тобой  
В мундир затянутое голубой.  
Мундирность слова, и мундирность мысли,  
В мундире ветви тополя обвисли,  
И даже Муза, в узеньком своём  
Идёт, кусая губы, на приём.

7.

Почтенная супруга палача  
Не пляшет пляску смерти хохоча,  
А, провожая мужа на работу,  
Кладет в портфель и ужин и гарроту.



Он семьянин, он чуточку простужен.  
Костюм его обычный отутюжен.  
В трамвае думает про улучшение  
Винта для медленного удушенья.

*(Окончание поэмы в следующем номере)*

*Григорий Исаакович Рыскин (род. в 1937 г.) закончил факультет журналистики Ленинградского университета. Работал в газетах Ашхабада, Калининграда, Ленинграда. Печатал стихи в альманахе "Молодой Ленинград", в журналах "Сельская Молодежь", "Неман", "Волга". С 1978 года – в эмиграции. Живет в США.*

## ВЛАДИМИР КАЗАКОВ

что может быть прозрачнее  
чем дым ремёсел  
чем скрип вечерних фонарей  
чем Маргарита у излома  
любовью сдвинутых глубин!  
она чугунными мостами  
манит и ранит даль воды  
и холод округлён  
её девичьей шеей  
и отдалён от острия пространств  
он как обласканный покойник:  
вот-вот заговорит

1973 г.

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ СОЛЖЕНИЦЫНА  
"В КРУГЕ ПЕРВОМ"

Хотя Солженицын преимущественно описывает мужской мир в своем романе "В круге первом", однако он не оставляет без внимания и женский мир (1). Появление разных женских типов короткое, но не без значения. Перед глазами читателя проходят образы жен, дочерей, подруг, сотрудниц, и заключенных и "вольняшек". Надо заметить, что Солженицын не останавливается подробно на их психологических описаниях, предпочитая эскиз портрету (2). Но несмотря на беглость описания, его женские образы не лишены глубины. Несколькими лёгкими штрихами автор стремится охватить в своих женских образах самую сущность женщины – ее внутренний мир, ее стремления и ее желания. И надо признать, что это удается автору. Своими главными женскими образами, как Симочка, Надя, Клара, Агния, Солженицын создает привлекательную, но трагическую мозаику жизни советской женщины (3).

Главу "Женское сердце" автор посвящает изображению Симочки – женщины чувств, а не размышлений, которая воплощает чистую, бескорыстную, самоотверженную женскую любовь.

Недавно окончившая Инженерный Институт, Сима назначена лейтенантом МГБ в Маврино, где она знакомится с зеком Нержиным и влюбляется в него. Несмотря на ее 25-летний возраст, вне тюрьмы у Симы нет поклонников из-за ее серьезности и непривлекательности. Она настолько отдается своему чувству, что не задумывается над последствиями романа с зеком. Ее могут арестовать. Солженицын описывает ее образ с большой нежностью и сочувствием. Знакома читателей с ней, автор подчеркивает ее слабость, наивность, маленький рост, хрупкость.

"Такая маленькая, что трудно было не назвать ее Симочкой, Серафима Витальевна, одетая в батистовую блузку и кутавшаяся в тёплый платок, была лейтенантом МГБ...

В Акустической лаборатории эта маленькая – похожая на птичку девушка, была сейчас единственная власть и единственное начальство (4).

С юмором Солженицын противопоставляет хрупкую фигуру наивной девушки с ее грозным официальным званием – лейтенант МГБ. Автор связывает с ней образ птички. В минуты нежности Нержин называет Симу "перепелочкой". Подобно птичке, Сима живет чувствами и чистым инстинктом, а не умом. Попав в Маврино, она даже не сознает, что ее приняли на работу не в качестве инженера, т. к. у нее недостаточные знания, а как надзирательницу и доносчицу. Она вначале слепо верит начальству, когда оно предупреждает ее о предательстве и низости заключенных.

Сима не анализирует и не задумывается, что происходит вокруг нее. Интуиция вместо мысли ей раскрывает правду о невинности и безвредности заключенных, и Сима перестает смотреть на них глазами начальства.

И, подобно птичке в клетке, наивная Сима является жертвой жестких условий жизни. Сима, способная любить самоотверженно и самозабвенно, но отвергнутая Нержиным, лишена смысла жизни и надежды на личное счастье. Ее трагедия заключается в том, что она живет только чувствами и не может найти равновесия между сердцем и разумом, что является необходимым условием жизни. В образе Симы Солженицын как будто любит неумолимой красотой и женского инстинкта и чувств, которые в силу жизненных условий погибают. Кажется, будто автору жаль, что эта красота существует непризнанной, незамеченной, нежеланной и неиспользованной. И наверно, не случайно одарил Солженицын эту женщину именем ангела, серафима.

Ту же тему потерей всей молодости, красоты жизни вообще Солженицын освещает в своем изображении Нади, жены зека Нержина. Хотя Надя не арестована, ее положение, как жены заключенного, изолирует ее от общества. Она не только лишена нормальной семейной жизни, но ей даже надо скрывать, что муж арестован, и она должна притворяться, что он пропал без вести на фронте. Разоблачение лжи значило бы исключение из университета и потеря всей карьеры. Все это еще больше осложняет и так уже тяжелое положение. Страх, что тайну кто-то узнает, отрезал Надю от общества настолько, что она потеряла способность общаться с другими. Ее горе усиливается этим одиночеством. Развод был бы самым благоразумным поступком. Но для Нади это равно измене.

"...Какая сила приковала ее с таким упорством и с такой безнадежностью к человеку, которого она годами не увидит и который только губит всю ее жизнь?" (5)

думает полковник МГБ Климентьев, давая Наде разрешение увидеть мужа. Ее приковали любовь и долг жены.

Если можно только предполагать о потенциале Симы на самопожертвование во имя любви, то в случае Нади, Солженицын изображает самопожертвующую любовь женщины. Надя живет в ожидании, что ее мужа выпустят. Мысль, что она нужна Нержину для моральной поддержки, питает ее в одиночестве. В течение их восьмилетней разлуки, она осталась верна своему мужу, но силы ее на исходе. Увидев мужа в тюрьме, как ей показалось, и чего она не ожидала, полным силы и энергии, и это когда она свою энергию уже потеряла, Надя чувствует себя слабой и лишней. Вернувшись в свое общежитие, с чувством еще большего одиночества, чем до свидания, Надя считает свое самопожертвование ошибкой.

В своей слабости, она сближается с Шаговым, циником и материалистом. Такое душевное состояние жены зека Солженицын описывает как неизбежность. Трагическое будущее Нади, как жены заключенного, предсказывается судьбой Натальи Герасимович, у которой надежда на возвращение мужа совершенно исчерпалась, и ее обуял пессимизм и отчаяние.

При свидании с мужем, она признается, что ей надо было перенести физически и морально, как жене заключенного:

"Ты живешь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за черной кожей! А я – уволена! Мне не на что больше жить! Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного *месяца*! Месяца! Мне лучше – умереть!

Соседи как хотят меня притесняют, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали – они знают, что я слово не имею... что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сестрам, к тете Жене, все они надо мной издеваются, коварят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду старуха! Я прихожу домой – я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова! Ну, изобрети им что-нибудь! Спаси меня! Спа-си меня!..." (6)

Солженицын считает, что судьба жены заключенного не легче судьбы самого заключенного. Жена отрешена от общества и даже от родных. А у заключенного остается ценная дружба своих со-товарищей по тюрьме. Жена находится между двумя мирами – мир мужа за решеткой – и мир окружающий ее. Она не принадлежит ни к одному ни к другому. Кроме морального давления и материальных трудностей, она испытывает одиночество. Женщину быстрее губит отсутствие сильной воли и мягкосердечность. Мужественность, стойкость и идейность спасают мужчин. Например, не согласясь работать над исследованием аппарата для расшифровки голоса по телефону, могущего погубить многих невинных людей, Нержин и Герасимович отказываются от "круга первого" и выбирают высылку в лагерь тяжелой работы и нечеловеческий условий, где большинство заключенных гибнет. Нержину и Герасимовичу возможность сохранить честность важнее чем освобождение из тюрьмы, если оно получается ценой совести. Мужчины Солженицына могут жить идеалом, а женщины идут большей частью за зовом сердца и долга. Самопожертвование женщины основано на эмоциональных, а не интеллектуальных началах. Всепоглощающий женский инстинкт (жены-матери) связывает ее жизнь в первую очередь с мужчиной. Женщины Солженицына в противовес мужчинам, которые жертвуют себя идее, главным образом приносят себя в жертву мужчинам, которых они любят.

Солженицын прямо ставит вопрос в чем заключается движущая сила в жизни женщины в образе Клары Макарыгиной, молодой представительницы нового привилегированного общества Советского Союза. Как дочь успешного московского прокурора, Клара выросла в достатке и, следовательно, в полной верности и лояльности советской власти. Но поверхностное знакомство с несправедливостями общества вызывает в ней сомнения. Развитие образа Клары это цепь познаний жизни и своего "я". В школе Клара мало думала, но на литературном факультете, где она наивно ожи-

дала откровений о жизни, ее встретило разочарование. Она увидела лживую отрешенность советской литературы от жизни:

"Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара все ждала, что ей скажут что-то главное о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.

...Но нет, об этой жизни в институте не говорили и как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто все было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами." (7)

И Клара заболела. Болезнь заставила ее бросить учение. Во время болезни, Клара много думала. Она обнаружила в себе богатый внутренний мир, о существовании которого раньше даже не подозревала. Этот новый найденный мир мыслей и чувств принес ей новое понимание жизни. Эту способность размышления, которую Солженицын так высоко ценит, автор обычно предоставляет своим мужским типам.

Оправившись от болезни, Клара, не может вернуться к прежним университетским занятиям, которые она считает пустыми. В связи с этой переменой она принесла много хлопот своей приличной, лояльной семье и своему бездушному жениху, Алексею Ланскому, мечтающему о карьере в советском литературном мире. Ее работа в Маврино, где она видит как унижают невинных заключенных, приносит еще большее разочарование советским обществом и порождает возмущение. Но ее возмущение наивно и детское. Оно ограничено вспышками гнева и противоречия против отца, которого она теперь принимает за злодея – прокурора. Он один из тех, кто посадил Доронина, молодого заключенного, боготворящего Клару, и ему подобных.

Другая жертва ее вспышек гнева – это Алексей Ланский, единственный представитель пошлой советской литературной бюрократии, которого Клара может критиковать, т. к. это только ей доступно. Хотя возмущение Клары детское и неудачное, его источник чистый, честный. Как многие женские образы у Солженицына, Клара одарена сильным чувством справедливости. Но оно остается без направления и, следовательно, бесплодным. В будущем она выйдет замуж за Алексея Ланского и будет продолжать жить в достатке и бунтовать. Можно предвидеть новую только обстановку – разлад в семье Ланских из-за противоречивых мнений жены и мужа. Такое положение уже существует между Динэрой, старшей сестрой Клары, и ее мужем, бумагомарателем Галаховым. Завистливо Галахов слушает как жена его, общепризнанная, хорошая хозяйка салона в Москве, критикует советскую литературу и литераторов. Не будучи членом Союза Писателей, Динэра может критиковать, а муж должен молчать.

Такие женщины как Клара, – чуткие, но слабые и пассивные. Хотя у них сильнее развито чувство справедливости чем у мужчин, их возмущение не оказывает никакого влияния на общество. Женщина Солженицына прикована к физическому миру и жизненным процессам больше чем мужчина. Это мешает ей участвовать в общественной жизни. Клара поглощена пробуждающимся инстинктом женщины и остальное все забывается – даже ее возмущение социальными несправедливостями. Она выйдет замуж за

карьериста Ланского потому что (словами Солженицына), "наступило ее последнее предельное созревание и неумолимым законом природы она должна была, как сентябрьское яблоко, упасть в руку тому, кто ее подхватит." (8) Клара – пешка природы. Но этот инстинкт не убил в Кларе чувство рассчетливости. Ведь она не связывает свою судьбу с зекон Дорониным, а с многообещающим "блестящим" литератором Ланским. А вот Симочка готова была связать свою судьбу с Нержиным. Клара просто примиряется с несправедливостью в советской действительности и приспосабливается к ней.

Единственная женщина в романе, возвышающаяся над своими инстинктами, и следовательно жертвующая собой идее, – это Агния. Ее можно сравнить с Нержиным и Герасимовичем, – людьми непоколебимого убеждения, принявшими лишения лагерей во имя своей идеи, своей душевной и интеллектуальной свободы. Но Солженицын не изображает ее, как действующее лицо в романе, а только как воспоминание Яконова. Отчаявшийся Яконов, стоящий перед неисполнимым сроком, установленным Сталиным для изобретения аппарата расшифровывающего голос по телефону, вспоминает свою юность и первую невесту, Агнию, которая стремилась возбудить в нем христианский подход к жизни. Солженицын ее описывает как неземное существо, как ангела с "дрожющими ноздрями", как будто готовыми к полету. Хрупкое, почти невесомое тело казалось вылитым из воздуха и воды. И несмотря на эту хрупкость, Агния – человек изумительной стойкости в убеждениях. Она стремилась к подвигу. Женские инстинкты ограничивают женщину и целеустремляют ее быть только матерью и женой. У Агнии разлад между ее духовными и физическими потребностями. Бунтуя против своих женских чувств и своей любви к Яконову, она чувствует себя как бы лишней на земле. Женщина не только неспособна правильно целеустремлять себя, но даже мешает мужчине служить идеалу. Агния риторически спрашивает Яконова: "Что может женщина вообще? Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков." (9) Прелесть Агнии пленившая Яконова, вовсе не была физической, но духовной. Агния воплощала какую-то внутреннюю красоту – правду и справедливость – которые прельщали Яконова несмотря на его карьеризм. Беспощадная критика Агнией карьеризма и бессовестности Яконова, непонятно тянула его к ней. Следующий отрывок вносит ясность в их отношения, а также раскрывает идеализацию женщины Солженицыным:

"Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились атрибуты и эпитеты деве Марии, – и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полоненный монастырем; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому гелу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина." (10)

Для Солженицына Агния символизирует ту облагораживающую красоту, которую женщина может возбудить в мужчине. Из-за своей слабости, Яконов не может принять того креста, который Советское государство поло-

жило бы на его плечи за его честность. Когда Агния порывает с ним, Яконов чувствует облегчение, т. к. ему не надо было больше выслушивать критику Агнии, и он мог продолжать строить свою карьеру вместо того, чтобы служить какому-то в его понятии, мученическому идеалу честности. Двадцать лет спустя, думая о своей пустой, безрадостной жизни, Яконов вспоминает пророческие слова Агнии, что он не найдет счастья, потому что погружаясь в процессы жизни, он теряет суть самой жизни.

Другой эскиз в галерее идеальных женщин — это мать Володина, которую можно считать двойником Агнии. Как Агния, она не является действующим лицом в романе, а лишь воспоминанием сына, стоящего перед тяжелым испытанием в жизни. Живя поверхностно много лет, Володя дошел до определенного момента, когда он не может больше продолжать свое животное существование. Во время своего внутреннего перелома его тянет к умершей уже матери, слабой, чуткой, вдумчивой женщине, которая будучи не советского воспитания, казалась лишней в советском обществе. При ее жизни Володину казалась она чужой, но теперь перечитывая ее дневники, Володин понял внутренний мир матери, в котором господствуют поиски правды и красоты. Володин познает их, как то существенное начало жизни, которого он лишен и которое могло бы дать ему моральную силу и поддержку во многих испытаниях. Дневники матери пробуждают в нем спящую мораль. И новое сознание. Если жизни существовать, поиски справедливости и правды должны продолжаться. Прислушиваясь к своей совести, Володин старается спасти доктора Доброумова, врача его матери, и предупредить его о заговоре против него. Этим поступком Володин подписывает себе приговор. И вот внутренняя красота женщины спасает Володина, т. к. он достаточно мужественный, чтобы бросить свою легкомысленную жизнь и подчинить свои поступки пробе совести.

Автор создает из женских типов две противоположности — женщина, живущая только физической жизнью и женщина, живущая духовной жизнью. Все пять женских образов в романе, женщины нравственной красоты и чуткости. Живя в мире чувств, раздумий и инстинкта, а не действия, женщины не принимают участия в эле которого окружает их. Наоборот, имея инстинктивное чувство добра и зла, женщины, как Агния и мать Володина, могут быть источниками вдохновения и примером морали для мужчин. Но эти две женщины не типичны для героинь Солженицына. В общем его героини подчинены физическому, но не интеллектуальному или идейному миру, и даже часто отвлекают мужчин от их посвящения идее. Однако Солженицын не осуждает их за это. Он видит в женщине пешку природы, потому что она не может подчинить своего инстинкта уму. В общем, женщины не имеют самостоятельной роли в романе. Их главная функция — создать реалистический фон для развития действия (11). Но, несмотря на такую ограниченную роль женских образов, Солженицын красочно изобразил сложный, многогранный внутренний мир женщины, передав ее богатую душевную сущность и ее трагическое положение в советском обществе (12).

Как главным, так и второстепенным персонажам, Солженицын ставит тот же вопрос — чем должен человек жить? Не только удовлетворением

своих физических и насущных потребностей, но также стремлением осознать свою духовную целеустремленность, облагораживающее душевное начало подсознания, питающее и саму женщину и стимулирующее мужчину. Это роль женщины в жизни, ее высшее предназначение. Так можно понимать такие типы женщин, как Агния и мать Володина у Солженицына. Но не каждая женщина осознает это свое предназначение. Сима и Надя, например, не способны подняться до такого уровня. Это не значит, что они плохие, но не каждая может "летать". Кто-то должен "ползать", как определил Горький. Однако, Солженицын не осуждает их за это. Клара как будто могла бы подняться выше Симы и Нади, но так и не поднялась. Свой идеал женщины Солженицын видит в Агнии. Она сумела соединить в себе облагораживающее мужчину чувство и свои физические потребности. Но не сумела повлиять на Яконова. Или не захотела, вернее, потому, что отошла от него. Остальные женщины – пешки природы потому, что они не могут подчинить свой инстинкт уму. Солженицын отводит очень важное место для женщин в обществе. Только не каждая женщина способна подняться до такого высокого уровня.

#### Примечания:

1. Профессор Ксения Гасиоровская первая отметила значение женских типов в творчестве Солженицына в своей статье 'Solzhenitsyn's Women' в сборнике *Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials*. Ed. J. B. Dunlop, R. Naugh, A. Klimoff. Nordland Publishing Co. 1973, pp. 117 + 128.
2. В вышеупомянутой статье профессор Гасиоровская высказывает следующие соображения по этому поводу:

It would, of course, be absurd to suggest that Solzhenitsyn considers the lot of Soviet women (and for that matter, children) unimportant, or that he is unsympathetic to the suffering they share with men. But Solzhenitsyn like most talented writers, prefers to describe the environment he knows best. In his own tragic life this means the front in wartime, a labor camp, prison, and a cancer ward in hospital – all of them isolating men from women. Moreover – and this a limitation of his creative scope – he prefers to portray the sensations and thoughts he had, or could have experienced himself. He does not readily venture into the domain of feminine psychology, for him purely imaginative, and never into that of feminine sensations. Thus he does apprehend Nadia's all-enduring devotion to her 'zek' husband, Vera's faithful memory of her fiance killed in the war, Doctor Dontsova's agony in facing a mortal illness. These are universal human feelings. But he could not, like Chekhov in 'Namesday', record the sensations of pregnancy and miscarriage or, like Tolstoy, convey Natasha's helpless infatuation with a philanderer, or the all-consuming passion of Anna Karenina (p. 123).

С этой точкой зрения нельзя не согласиться.



3. Знаменательно следующее замечание Солженицына о женщинах в "Раковом корпусе" (Paris, YMCA, 1968, стр. 73) т. к., оно раскрывает почти боготворящее отношение писателя к советской женщине или, может быть, женщине вообще:

"Попался добрый человек – лаборантка. Все таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю..."

4. А. Солженицын. В круге первом. Harper & Row, Publishers, New York, 1968, p. 25.
5. Там же, стр. 138.
6. Там же, стр. 202.
7. Там же, стр. 211.
8. Там же, стр. 335
9. Там же, стр. 115.
10. Там же, стр. 117.
11. Профессор Владимир Седуро в своей содержательной статье "Солженицын и традиция полифонического романа Достоевского" ("Современник" № 35-36, стр. 172) пишет, что второстепенные персонажи (это включает и женские образы) в романах Солженицына раскрывают внутренний мир главных действующих лиц. Он пишет:

"Для Солженицына, как и для Достоевского, типичнейшей группой являются расколотые голоса, открытые реплики которых отвечают на скрытые реплики другого голоса в нем самом. Так, противопоставляются, например, голоса инженера-полковника Антона Николаевича Яконова и его невесты Агнии."

12. Заключение к которому приходит профессор Ирина Маттюз в своей статье "Женщины в пьесе Олень и шалашовка" (Русский Язык, Весна 1975, № 103, стр. 51 - 59) о функции женских типов в пьесе, можно применить и к женским персонажам в его романах. Она пишет:

'Not only does Solzhenitsyn succeed in presenting a diversity of women whose different characters serve as dramatic contrasts and give a distinct tone and color to the play, but the woman- problem is equally well-presented.

## СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

*Сергей Петрунис – поэт по рождению и призванию. Выпускник русского отделения филологического факультета МГУ, он обязан поэзии новым видением мира, радостями любви, даже возможностью выжить тогда, когда это казалось непосильным.*

*Период поэтического становления давно остался у него позади. Перед нами зрелый поэт. Стихи могут нравиться или не нравиться – в связи с этим нельзя не сказать об элитарности их назначения. Видна также бесспорная культура автора, воспитанного школой лучших русских (и нерусских) поэтов.*

*На мой взгляд, основные особенности поэзии Сергея Петруниса – это проникновение в потусторонность при отсутствии мистицизма, хороший вкус и глубокая ассоциативность поэтических образов, не вмещающаяся в понятие "символизма".*

А.ГИНДИНА

\* \* \*

Мы современники серебряного века,  
На флейте-ветке Моцарта качаясь,  
Рисуем ангельские лица на асфальте  
(облагородить чтоб подошвы пешеходов).  
И полустертых букв едва касаясь  
Ладонями, в адажио дрожащих,  
Соединяем с нервным током душу,  
Мы – современники серебряного века.

\* \* \*

Трагический мираж исчерпанных столетий,  
Неровный топот спугнутых племен.  
Вновь на вершину Бог приходит третьим –  
Ручьями слез и пота – окаймлен.

И верный черновым помаркам  
Он ждет, когда в кольцо змеи  
Появится его напарник –  
Историк-чистовик Земли.

\* \* \*

Шереметьево. Утро. Ветер.  
Ожидание. Дрожь. Друзья.

Незастрелившийся Вертер  
Пот отирает со лба...

В невесомости первой встречи,  
Впопыхах прощальных минут  
Он не знал, что тобой ответит  
Своим ангелам за приют.

\* \* \*

хочу проснуться твоей комнатой,  
чтоб ты внутри меня бродила  
и вечерами распевала песни –  
тогда, быть может, вновь воскресну?  
и становясь твоей постелью,  
книжной полкой,  
столом для взлета твоих рук  
и, наконец, глубоким креслом –  
тогда, быть может, вновь воскресну?  
и становясь твоей прогулкой,  
сердцебиением,  
платьем легким,  
глотком воды и хлебом пресным –  
тогда, быть может, вновь воскресну?  
но, бросив беглый взгляд на стены,  
ты комнату привычно запираешь  
и ключ под ковриком у двери  
возьмут чужие руки

\* \* \*

твои качели –  
мои печали,  
ночью на небе  
звезды торчали;  
твои постели  
меня зачали,  
и звери – ворчали,  
и люди – молчали,  
а боги хотели,  
но робко шептали:  
ее – качели,  
его – печали;  
и книгу листали...  
ему – прощали,  
а ей – читали

## О ПУТЯХ, КОИ НЕ ОБОЙТИ

(О книге жежуаров Уласа Самчука "На белом коне")

В книге повторены строки Олени Телиги (1): "Кто-то неизвестный нам пути наметил, и их уж нам не обойти."

На фоне этого "их уж нам не обойти" писались воспоминания. Улас Самчук подчеркивает слова: "судьбоносные", "судьбоносное", "судьбоносный" как символы для "роковые", "осужденное", "обреченный". Подобно Аркадию Любченко (2) в его дневнике, он фиксирует свои сны ("снился мне поворот... среди какого-то широкого поля... снился Киев... снился Днепр..."). Описано зловещее предзнаменование, когда, тринадцатого числа, в Кракове, в штаб-квартире Ольжича (3), во время прощания перед отъездом на Украину, "большое, от пола до потолка, зеркало в золоченой раме, что стояло возле передней стены, понемногу отделяется, клонится, падает и рассыпается на кусочки". Зеркало никого не остановило, но оно предвещало смертельную опасность. Имея в виду силу рока, читабельность легче постигает мир напряженной исповеди Самчука на тему обреченности и его, и близких ему людей.

Самчук начинает с описания националистической студенческой молодежи тридцатых годов. Более всего говорится о чешской Праге, где жил автор. Далее, в 1938-40 годах, он – в Закарпатье, в Риме, Берлине, Вене, снова в Чехии. Всё это на нескольких первых страницах. Затем – 1941 год, которому и посвящена книга, где основное действие переплетается с воспоминаниями о детстве, юности, начале двадцатых годов. Биографические рамки отодвигаются автором еще дальше – вглубь, до истории его рода. В воспоминаниях о времени двадцатых годов представлен типичный на Волини процесс, когда автор из "истинно русского малоросса" превратился в запорожско-украинского романтика...

Улас Самчук вырвался из удушливой атмосферы Польши в период его службы в Польской армии. Он нелегально бежал в Германию – страну, языка которой тогда не знал, где не имел никаких связей и денежных средств и где все-таки нашел друзей и вскоре укоренился. Отсюда он переехал в Чехословакию, а во время Второй Мировой войны он вернулся – опять-таки нелегально – на родину. Прибытием в Киев и завершается его книга "На белом коне". Много в ней говорится и о литературном творчестве, о постоянном, неутолимом желании писать, о выходе в свет и успехе его первого выдающегося произведения – известной трилогии "Волинь".

Писал Самчук не только по памяти. Он сберег личный архив и использовал современные публикации. Автор часто ссылается на свой дневник

( "Моя записная книжка отмечает..." или "В моей записной книжке сохранились..." ). Встречаются ссылки на архив Михайла Телиги ( 4 ); нередки цитаты из ровенской газеты "Волянь", редактором которой был автор; широко использованы немецкие публикации, распоряжения властей, воззвания, мемуары Геббельса, графа Чиано, Черчилля.

Отсюда точность информации: он выехал поездом до Кальварии-Броды в 4.30. Из Кракова в Варшаву – в 11.49. Маланюк ( 5 ) жил в Варшаве на аллее Независимости 159, Липа на улице Вспульной 36 – доехать можно трамваем 9 или 3, а Марийка Донцова ( 6 ) – в Кракове на улице Старовислянской 70. По воспоминаниям Самчука можно детально восстановить историю газеты "Волянь", деятельность Совета Доверия, общественные, политические и церковные празднества. Между прочим, подробно описано празднество в Почаеве, приводятся данные о миграции деревенских семей, о театре в Ровно, о транспортных трудностях во время войны и т.д.

Он был свидетелем роста могущества гитлеровской Германии: "вулкан ее активности ломает древние традиции... выковывает гигантскую военную машину, разрывает...границы". Он видел и тепло вспоминает Чехию, вобравшей в себя культуру и моральный стержень Австро-Венгрии. В ней заботились не только о хлебе насущном, но и о добрых нормах поведения людского; в ней "еще действовал единственный в славянском мире парламент, который мог решать вопросы большинством голосов". В этой стране, что слегка напоминала автору Швейцарию с ее дойными коровами, хорошим сыром и точными часами, очутилась часть украинской политической эмиграции. Некоторое время она пользовалась доброжелательностью молодого славянского государства. В старшем поколении эмиграции автор чувствовал "непосредственное дыхание шевченковской эры в ее драгомановской интерпретации, со всеми ее добродушно-народническими аксессуарами и интенциями". Тысячи причин не позволяли ей показать миру свою правду. Но "хотя была она побеждена – не побеждена была, и, пребывая в изгнании – пребывала в своем раю... они ненавидели, но были апостолами любви".

Именно в Чехии, на фоне беспомощности старшего поколения, среди спасенных с разбитого корабля, на безлюдном острове условностей, где "напряженно выжидали неизвестно откуда спасения", выросли руководящие деятели Организации Украинских Националистов. Они не имели необходимых контактов с широким политическим миром, но вскоре обратили на себя внимание в странах за так называемым Рижским кордоном. Некоторые из них, в том числе и сам автор, трезво оценивали общее положение... Но все-таки, с началом Второй Мировой войны, они шли "на восток", вопреки желанию победителей из Третьего Райха, "ставя "Майн Кампф" перед свершившимся фактом". Поколения экзальтированной эмиграции потеряли чувство реального, хватались за иллюзии. Ведь это ж была война, мировая война!.. Столько непредвиденных возможностей!.. Под рёв дизелей, грохот боевых самолетов, чудился освобожденный фатаморганный Киев. Как замечает автор: "во время войны люди делятся на по-

бедителей и побежденных, но и те и другие живут одинаково экзальтированной жизнью".

Упоением жизнью бурлила и среда, окружавшая Самчука. В ней намечались штабные планы, диктовались распоряжения и законы, "велась упорная борьба между конкурентами" несуществующей еще власти. Психология компромисса стала считаться "первородным грехом". Нация была в походе, на марше; вместе с нею шел и автор. Обреченность действовала. Самчук познал радость, о которой писали лишь эмигрантские поэты — стоять на краю бездны, смотреть в глаза смерти. Радость, по его словам, — "вырваться в целинность, в инстинкт, в абсолют космоса". Он знает, что можно познать далекие континенты, переплыть океаны, окунуться в книги, но эти "немощные дороги, эти урочища и займища будут сидеть в твоей душе, как острие гвоздя", и ты пойдешь искать их, несмотря ни на какие армии Сталина-Гитлера.

Живя в походе, Самчук уже тогда увидел, какой ошибкой было считать национализм других наций за сообщника своего национализма. Здесь нет сообщников. Никаких интернационалов! Так, коммунисты западных областей Украины надеялись получить национальное освобождение от Москвы, и получили... тюрьмы и пули в затылок. Коммунисты Запада не знали коммунистической действительности Востока. Националисты Востока не читали "Моей борьбы" Гитлера, "Мифа двадцатого столетия" Розенберга. Они поздно разглядели, что соплеменники Канта, Гете, Гегеля, Шпенглера убеждают Восток, что "люди, склонные великодушно размышлять, под командой делаются бездушными." Ведь это ж "римские легионы, фаланги Кортеса, британские Томми. А мы — лишь варвары, инки, Индия". По выражению Гитлера, в тысячелетнем царстве высшей расы самый последний немецкий конюх должен быть выше любого туземца.

Самчук предвидел неотвратимость катастрофы... Однако, вдохновленный поэзией Ольжича, шел на баррикады жизни. О себе и близких ему Ольжич писал: "По ровной грани двух миров идешь, как будто по стеклу — невидимо и остро". Самчук утверждает: в судьбоносном 1941 году "мы жили экзальтированно-мимолетным проблеском неуверенной свободы, используя каждый ее момент, ни о какой безопасности не думая". "Мы здесь в роли подземной армии... нами пронизано все пространство, мы готовы на большие жертвы..."

Но вместе с тем автор не теряет чувства реального. В начале 1941 года, в Праге, он в одном из своих выступлений критиковал самообманные иллюзии. "Чересчур много фразы, мечтаний, пафоса и мало конкретного дела, а к тому же еще отсутствие единства, раздробленность..." Позже, в Ровно, он писал: не дойти нам к земле обетованной, "если будем такими, каковы мы теперь, — невооруженными, голыми фантазерами, оторванными от конкретного дела и конкретных знаний, беспомощными в решении простеших проблем".

Всё это сопрягалось с позитивной программой Самчука, который редактировал самую независимую из легальных органов прессы — газету "Вольнь". Ее читали тогда по всей Украине, а Советы, в своей ярости,

не могут забыть ее до сего времени. Отстаивая интересы украинского народа, его культуры, экономики (насколько позволяли условия, — политики), Самчук в своем редакторском кабинете чувствовал себя уверенно. "Всё то, что действовало над нами и позади нас, хотя и тревожило, но не пугало".

О людях, избравших себе конспиративные убежища в лесах Полесья, Вольни, Карпат, в книге Самчука — не много. Кое к чему автор относился с иронией. В своем родном селе Тылявке он был встречен парадом местного отделения милиции. "Оригинальное зрелище: парад милиции, который принимает писатель. Но в сущности это был парад сердечности, счастья, восхищения". Не обошлось и без традиционных казачьих атаманов, вроде того, портрет которого с добродушной иронией рисует автор.

На фоне речей, обьятий, атаманов, восхищенности, плетутся и темные дела. Это междоусобицы, братоубийства... Атмосфера "партийной напряженности"... Например, "почти за одну ночь не стало нашей боевой ОУН, а на ее месте появились "мельниковцы-бандеровцы". А дальше — их остатки, которые сами себя добивали. И это уже "никакое не ницшеанство, не донцовство, а скорее кочубеевство-махновство"...

С кочубеевством и махновством сопрягается также и упадок чувства справедливости, когда даже художников оценивают по их партийной принадлежности. Сей, нормальный в советском быту, вид практики неизвестен автору, получившему западное воспитание и удивляющемуся, что его соотечественники невольно заражаются моралью с клеймом: "сделано в Москве".

Красными нитями через узор воспоминаний Самчука проходят его характеристики женщин. О своей первой жене он вспоминает с любовью и горечью... Вторая жена, которую он встретил в Ровно как сотрудницу киевской киностудии, стала его самым дорогим, интимнейшим другом. Описана также встреча с Оленой Телигой — поэтессой глубоких чувств и самоотверженного патриотизма. Вместе с нею он нелегально переходит пограничную реку Сан. Затем Олена доходит до Киева, откуда ей не суждено было возвратиться: от рук немцев гибнет она, исчезая в гекатомбах Бабьего Яра.

В книге "На белом коне" автор дает серию исключительно удачных портретов многих писателей и художников. Поэт Олекса Стефанович у него — "тихо экзальтированный получернец, полудемон с его апокалипсисом и зверями времени". Писатель Ростислав Ендык — "сильная, напряженная, волевая фигура", Юрий Горлис-Горский — "бледный рыцарь, писатель и авантюрист"... А вот и "чародей-кудесник, врач, поэт, писатель, историограф, философ, теософ — Юрий Липа". А там — "возбуждающе живой и грешный" Евгений Маланюк, "с визионерством Мицкевича, корчами Достоевского и смирением св. Антония". Катря Гриневичова, Олег Ольжич, Юрий Клен, Богдан Лепкий, Роман Купчинский, Роман Бжеский, Святослав Гординский... Каждый из них получил свою меткую характеристику. Поэты, художники, писатели, политические деятели, революционеры. Свои

и зарубежные. В городах и селах. Представители интеллектуальной элиты и выходцы из самой глубины народа. Влияние художественных произведений Самчука, его статей, репортажей было огромным, и неудивительно поэтому, что советчики столь яростно атакуют его до настоящего времени.

Документальность воспоминаний усилена фотографиями, помещенными в книгу. В мемуарах не чувствуется страдальческих мотивов, характерных для многих эмигрантских авторов. Нет также и показного героизма. Заканчивается книга "На белом коне" исполнением долголетней мечты автора – въездом в Киев. Мрачный, дождливо-снежный осенний вечер. За ним – долгие годы ожиданий. "За это время пало девять государств, послано на восток сто тридцать армейских дивизий, и всё это для того, чтобы я мог победоносно въехать, на белом коне, в древний град моих предков..."

И пока конец. А продолжение этого повествования читатель найдет в следующей книге мемуаров Уласа Самчука – "На коне вороном". Было бы очень желательно, чтобы эти книги появились в переводе на русский язык. Благодаря им можно было бы узнать ближе наших родственных соседей – украинцев, о которых мы знаем обидно мало для людей уровня европейской культуры.

#### П р и м е ч а н и я:

1. Олена Телига – поэтесса, погибшая в Киеве от рук Гестапо в 1942 году.
2. Аркадий Любченко – писатель, который во время войны перешел на Запад и присоединился в эмиграции к украинским писателям-националистам.
3. Олег Ольжич – поэт и политик, арестованный немцами (погиб в концлагере).
4. Михайло Телига – муж Олени (погиб вместе с женой в киевском Гестапо).
5. Е. Маланюк – поэт, певец темы национального освобождения (умер в США).
6. М. Донцова – жена украинского национального идеолога Д. Донцова, общественный деятель.



## С. ТОЛ

Надо мною – купол неба.  
Под ногами – зыбкий мост.  
Месяц встал краюхой хлеба,  
Осветил зеленый плес.

Набегая, ветер стонет.  
Я чего-то молча жду?..  
А на черном небосклоне  
Раздувает ночь звезду.

Тычут носом в берег баржи,  
Лодки трутся борт о борт.  
На молу, в тумане, кряжист,  
Пришвартован пароход.

\* \* \*

Давным-давно забыта стужа.  
Пучки ромашек на меже...  
И воробьи,  
В зеленых лужах,  
С утра полощутся уже.

Проснувшись рано,  
До рассвета,  
Над лесом ласточки снуют.  
И,  
Как натертая монета,  
Сияет полноводный пруд.

На кроне клена луч резвится  
И рядом блики – как глаза.  
И на прозрачный лист садится,  
Как вертолет – стрекоза.

"ГРЕХИ" ЖУРНАЛА "СОВРЕМЕННОК"  
и л и  
ЗАГОВОР ПРОТИВ "СОВРЕМЕННОКА" ?

Атаки на "Современник" за, якобы, "клевету на Россию", вызванные публикацией трактата Валентина Гиндина "Что нужно, чтобы пришел Христос?", перешли в бурно-неуклюжую стадию. Они перекинулись в англоязычную прессу и главной их мишенью оказался наш редактор Александр Гидони. Жертвой же интриг против "Современника" явился редактор газеты "Торонто Сан" Питер Вортингтон, сбитый с толку и поставивший себя в крайне неловкое положение. Как легко догадаться, в дело интриг замешалось и КГБ. Группе местных шовинистов, недовольных "Современником", пришло, таким образом, на помощь известное и малопочтенное заведение.

В своем ответе мнимым "патриотам", ратовавшим за оборону "обиженной России", редактор журнала вскрыл вздорность их нападок. (См.: "Современник", № 41, стр. 195-200). Однако, на мой взгляд, он не указал все же *главной причины* этих нападок, которая коренится в ярости шовинистов на позицию "Современника" в национальном вопросе. Правда, редактор журнала недвусмысленно подчеркнул: "На страницах "Современника" мы выступаем за свободу украинцев и белорусов, латышей и армян, литовцев и грузин, с такой же страстностью, как и за свободу русских." Но по этому поводу можно сказать и больше.

Приходится без конца повторять ту истину, что если все подневольные народы (включая и русский народ) хотят освободиться от коммунистического ига, они должны соединить свои усилия. Ибо, как говорят американцы: "Если не удержимся вместе, то нас повесят в отдельности".

Первое условие мобилизации сил — это познание друг друга. И здесь свободная пресса эмиграции не только может, но и должна поработать. Возникает вопрос: знаем ли мы один другого? Памятуя о той казенной "дружбе народов", что существует в "Зоне", где все, осчастливленные "родной партией" народы должны, весело приплясывая, сливаться в новую, вдохновенную великими марксо-ленинско-сталинско-хрущевско-брежневскими идеями, "советскую нацию", хочется спросить: как же выглядит иная, *подлинная* дружба народов? И есть ли она вообще?

Кое-кто из российских ура-патриотов-шовинистов будет всю доказывать, что столетия нашего "счастливого" соединения "сроднили" нас, что мы все за это время "снюхались", словно гончие собаки графа Ростова в известной сцене охоты из "Войны и мира". А значит, и дуй дальше по "неизбежному историческому пути"!

Казенная "дружба" частенько боком выходила "меньшим братьям" и, возможно, по причине самосохранения, они изучили своего "старшего брата" (или – по Орвэллу – "Большого Брата") лучше, чем он – их. Не буду голословным и сошлюсь для примера хотя бы на статью Александра Гидони, который в своей статье "Путь к белорусской душе", опубликованной в газете "Белорус" (Нью-Йорк, № 251, 1978 г.) писал:

"Как странно-мало знаем обычно мы – русские, о наших соседях белорусах! Что-то о любви к "бульбе", что-то о полесских болотах; несколько громких имен из области культуры и истории (Янко Купала, Кастусь Калиновский, где-то "в глуби веков" – Францишек Скорина, где-то совсем сейчас – Ольга Корбут и "Песняры"). Да еще некрасовские строчки из "Железной дороги" о "высокорослом больном белорусе". Нехитрый и небольшой багаж! И это свойственно даже культурным русским людям, не говоря уж о "простом народе".

Неудивительно, что многие не догадываются, живя в Советском Союзе, о том, что в недрах белорусского национального сознания живет и развивается идея независимости и борьбы за создание свободного и самобытного государства на земле, почва которой давно уже подготовлена для того, чтобы воспринять заветную свободу. Но она – эта почва – и увлажнена изрядно кровью народной, поскольку на протяжении веков Белоруссия находилась под гнетом обуреваемых жадой экспансии соседей. В первую очередь, к сожалению, со стороны соседей с Востока, т.е. русских.

Автор этих строк долгое время не был исключением из правила, когда знал о Белоруссии не больше, чем на расхожую монету среднеинтеллигентской русской эрудированности в "национальном вопросе". Даже вступив на путь оппозиционного к советскому режиму движения, я довольно долго не представлял себе, что "белорусский вопрос" в этом аспекте не менее важен, чем, скажем, вопрос украинский или прибалтийский. Так что мой путь познания Белорусской Души был довольно типичен на стезе препятствий и затруднений этого пути."

Если человек столь высокого интеллекта, как Александр Гидони, не мог "белорусский вопрос" поставить на уровень украинского или прибалтийского, то что же говорить про людей, "менее умом одаренных"?

"Видимо, процесс руссификации, – пишет далее автор, – давил на Белоруссию с особой силой и лишь немногие белорусы тогда, в 50-е – 60-е годы, смогли заявить о себе как о представителях в первую очередь своего народа и лишь затем уже – как об участниках общего антикоммунистического сопротивления."

С Гидони в этом пункте соглашается известный украинский диссидент Валентин Мороз: "Белоруссия – наиболее разрушенная, руссифицированная нация Советского Союза – стала зловещим, мрачным символом, грозным предупреждением. Глядя на Белоруссию, каждый может представить себе, что станет с его нацией, если он даст усыпить, убаюкать себя словоблудием о "Дружбе". Белорусская модель "дружбы" – это уже явление международной значимости. Это – предел падения. Белоруссия стоит стол-

пом позора в центре Европы." Правда, Мороз верит, что насильно опозоренная соседями, оторванная от своих духовных ценностей, Белоруссия еще восстанет: "В душе белоруса могучими тысячелетними кругами выкристаллизовалась б е л о р у с к о с т ь. Уничтожить ее невозможно, как невозможно мусором засыпать вулкан. Можно слегка присыпать, но в час могучего извержения, когда содрогаются горы, мусор исчезнет ментально. Даже не исчезнет, а испарится." ("Моисей и Датан" – перепечатано из украинского Самиздата – Торонто, 1978 г.).

Если поверить официальной версии "истории БССР" (истории *Белоруссии*, видите ли, нет, а есть "*история БССР*"), то белорусы с самого начала их государственности только и занимались, что своего рода "марафонским бегом" к искомой цели – "воссоединению с Россией". Получается так, что издавна этот "родственный русским" народ жил если и не под одним зонтиком с москвитями, то, во всяком случае, под их "благотворным влиянием". Правда, после этого – черт возьми! – разлучили белорусов с Россией литовские феодалы. И, конечно, под владычеством тех проклятых феодалов на головы бедных белорусов посыпались всяческие беды. Вот тогда и осенила их разум новая идея объединения с Россией. С того часу и жил белорусский народ одной этой мыслью, благо ворота Московщины для "братьев-белорусов" всегда открыты. Не обошлось, правда, без войны между Московией и Великим Княжеством Литовским, которое, по непонятной причине, родилось в самом центре Белоруссии – в Новоградке. Но опять же, москали, начиная с царей Иванов, через Петра и кончая Екатериной, которая завершила "воссоединение", воевали не с белорусским народом, а только с проклятыми литовскими (а после уж с польскими) феодалами. "История БССР" призывает на помощь всю свою марксистско-московскую эрудицию, чтобы пояснить нынешним бээсэсэровцам, отчего московские войска вырезали почти поголовно население таких городов, как Полоцк, Витебск, Вильно и других. Вероятно, были они полностью заселены теми же нехорошими, пившими кровь и пот белорусского народа, литовскими феодалами.

Кастусь Калиновский, который поднял на восстание против московской власти белорусский (литовский) народ, действовал, разумеется, исходя из чисто "социальных причин". Видимо, это не он заявил в своем "Письме под московской виселицей", что белорусский народ "только тогда заживет счастливо, когда над ним москаля уже не будет". Белорусское возрождение, приведшее к провозглашению 25 марта 1918 года независимой Белорусской Народной Республики, – это, по версии официальной "Истории БССР", – всего лишь (только представьте это, люди добрые!) провокация кайзеровской Германии и "кучки белорусских националистов". Видимо, это они согнали в Минск на Всебелорусский Конгресс в декабре 1917 года свыше полутора тысяч делегатов со всех концов страны; это они позаботились, чтобы в феврале и марте следующего года избранная Конгрессом Рада БНР выпустила аж три декларации прав народа, провозгласив его независимым в первую очередь от России.

Истинная история Белоруссии выглядит совершенно иначе, нежели в

изображении ее московско-партийными гномами. Любой объективный исследователь, пожелавший использовать авторитетные источники и труды национальных историков, увидит, что белорусам нечего стыдиться в их прошлом.

С момента христианизации имели они своих великих просветителей. В первую очередь здесь следует упомянуть Святую Афросинью Полоцкую и Святого Кирилла – епископа Туровского. Белоруссия некогда была центром Великого Княжества Литовского, имея разумных государей и полководцев. Княжеский двор пользовался древним белорусским языком; на этом же языке писались государственные книги. В начале шестнадцатого столетия появилась белорусская печать (Ф.Скорина, в Вильне, 1525 г.), еще ранее – в Праге – появилась в 1517 году первая, изданная на старобелорусском языке, Библия; был записан правовой статус, а с начала четырнадцатого столетия существовала самостоятельная Литовская Новоградская Православная Метрополия.

Последствия унии с польской Короной причинили большой вред Белоруссии. Уния открыла двери для полонизации, которая дошла до того, что уже в 1696 году Варшава издала закон, по которому "писарь на Литве по-польски, а не по-русски (*что значит по-белорусски – К.А.*) писать должен". Войны семнадцатого и восемнадцатого столетий толкнули страну в пропасть: Ватикан через Варшаву боролся с Москвой, а Польша считала себя "провозвестницей христианства" на белорусских и украинских землях.

Народ белорусский вновь и вновь восставал против угнетателей, ибо, как справедливо говорит Валентин Мороз, нельзя было уничтожить "тысячелетиями выкристаллизовавшуюся белорусскость". Результатом было провозглашение Белорусской Народной Республики в 1918 году.

Казалось бы, познание правды о судьбах подневольных народов должно было стать первоочередным делом для новейших выходцев из Советского Союза. Ведь это – неподнятая целина. В эмиграции созданы научные институты (в том числе и белорусские), библиотеки, условия для абсолютной свободы высказывания. Что же происходит на деле?

Возьмем для примера журнал "Континент" – если не лучший, то самый толстый среди толстых русских журналов, с наибольшим тиражом. До этого времени "Континент" не опубликовал ни одной статьи по белорусской тематике, хотя декларативно он поддерживает стремление к независимости Белоруссии. Я когда-то письменно приветствовал издателей "Континента", спрашивая, имеют ли они авторов-специалистов по белорусской теме и предлагая как свои услуги, так и услуги белорусского издательства "Пагоня" в Канаде. Ответа я не получил.

На титульном листе "Континента" есть две строчки, где название журнала дано на нескольких языках, в том числе и на белорусском. Видя такое, я часто думаю (уж простите за это сравнение!), что и на гербе СССР имеется лозунг "пролетарии всех стран, соединяйтесь" на разных языках, включая и белорусский. Возможно, в редакции "Континента" мыслят о Белоруссии в тех же категориях, как некогда мыслил наш Александр

Гидони, и "белорусский вопрос" у них не только не на Уровне украинского, а где-то в самом хвосте насущных проблем (если он вообще для них "вопрос!"). А, может, просто в "Континенте" не имели времени добраться до него – ведь белорусы не шумят так много о себе, как, скажем, евреи.

Кроме журнала "Современник" (и небольшого журнала "Факты и Мысли"), я не знаю ни одного российского издания, которое бы уважительно относилось к "белорусскому вопросу". В моих личных контактах с русскими писателями, журналистами, политиками мне доводилось сталкиваться лишь со снисходительным признанием, что, мол, конечно, Белоруссия тоже имеет право на самоопределение, но вообще национальный вопрос – "очень сложный"... Ну и что ж? Как бы он ни был "сложен", его все-таки требуется разрешить...

В прошлом году случилось мне выдержать долгую дискуссию с одним известным русским писателем и критиком (имя его я не буду здесь называть). Этот человек выразил желание побеседовать с "ярим" белорусским националистом. Этикетка "ярый" для меня оскорбительна, но поскольку она была приклеена ко мне человеком, мягко говоря, сомнительных политических тенденций, я не обиделся. В ходе нашей беседы мой оппонент "великодушно" согласился признать за Белоруссией право быть "автономной областью" на привязи у "святой Руси" и даже (слава тебе, Господи!) даровать белорусам один университет. Характерно, однако, что в этом университете преподавали бы *на русском языке!* Мой оппонент забыл, что на территории БССР сейчас есть аж *три* университета – три очага руссификации и коммунизации поработенного народа.

В своей статье "К единомышленникам" ("Современник", № 42) Дмитрий Панин пишет, что в деле освобождения наших народов из-под коммунистического ярма "только срочное проведение революции в умах в СССР... обеспечит победу." Он же далее говорит о первейшей необходимости разрешить национальный вопрос. Мне думается, что этот вопрос во всей остроте встал еще перед ленинской контрреволюцией и сразу после нее, когда возникли на национальной основе независимые государства, впоследствии завоеванные центральной властью новой империи – СССР.

Если говорить сегодня о "неизбежном историческом процессе", то ведет он именно к восстановлению национальных государств на руинах московско-коммунистической империи. Этого смертельно боятся как кремлевские вожди, так и русские "политиканы" в эмиграции типа войцеховских, бровцыных, отрадиных, женуков и прочих... градобоевых. Для них идея России без колоний "крамольна", а "Современник", поддерживая ее, совершает "страшный грех". Но поскольку освободительные идеи бывает неудобно атаковать *как идеи*, то враги "Современника" нападают на редактора журнала и его жену – Галину Румянцеву. При этом в средствах они не стесняются, действуя по принципу: лепи что можешь – авось прилипнет. Разумеется, этой кампании закулисно помогают и дельцы из весьма известного учреждения с Лубянки.

Конечно, у "Современника" есть враги и помимо шовинистов. Взять хотя бы Торонто, где печатается журнал. Дружным фронтом борются про-

тив него такие личности, как третьестепенный писатель Григорий Свирский, окололитературная дама Ольга Ардашир, совсем не литературная — Стелла Биргер, психиатр и мнимый "диссидент" Феликс Ярошевский, политический авантюрист Томас Шуман. Однако главный "блок" противников "Современника" составляют пресловутые "единонеделимцы", не желающие простить журналу того, что он *с русской стороны* начал отстаивать прогрессивную и неизбежно-победоносную тенденцию к равноправию всех народов, к отказу от имперски-тиранических замашек, даже если они "освящены" в глазах недалёковидных русофобов тяжёлым опытом российской экспансии в прошлом и настоящем.

Во время последнего Белорусского Фестиваля в Нью-Йорке (см. хронику в № 42 "Современника") в церковном зале Белорусской Православной Церкви в Гэйланд Парк выступил наш редактор Александр Гидони. Он говорил о необходимости российско-белорусского сотрудничества и о работе в этом направлении журнала "Современник". Его слушали изгнанники белорусы, многие из которых хлебнули лиха от московского колониального режима и покинули "раскиданное гнездо", как назвал родину наш великий поэт-пророк Янко Купала. Присутствовал в зале и один старейший (помнящий ещё царские времена), заслуженный белорусский деятель. Слушая речь Александра Григорьевича, он прослезился. Подойдя к нему, он сказал: "Давно я хотел услышать такие слова из уст русского. Вижу, что у вас не только разум, но и большое сердце. Помогай вам Бог."

И я, стремившийся на протяжении многих лет установить дружественные контакты с прогрессивно мыслящими (конечно, не в советском значении слова "прогрессивный") русскими людьми, могу повторить наше белорусское "помогай вам Боже!" в адрес журнала "Современник", который избрал нелегкий, но правильный путь дружбы с подневольными народами и борьбы против шовинизма во имя нашего общего дела — свободы и независимости.

## А. РОСТОВСКИЙ

Уже тьму рассвет с позолоты  
Смел в зеленые ямы гор.  
И опять, как всегда, без охоты  
Мы заводим сонный мотор.

Уже небо убрало клочья,  
И луны доплело колпак,  
И кусты по обочинам молча  
Под себя подгребают мрак.

Оставляем лес и долину:  
И на кой бы нам это черт  
Гнать с такою печалью машину  
И себя в преступный Нью-Йорк?..

\* \* \*

Эпоха топчется,  
Эпоха мается,  
Народу ропщется,  
Беде икается.

Под этим топотом  
Земля расколется...  
Деревья шепотом  
За нас не молятся.

Души бессонница  
Не просыпается.  
К такому клонится,  
Что надо б каяться...



ЛИТЕРАТУРНАЯ ОДЕССА СЕГОДНЯ: ТВОРЧЕСТВО АРКАДИЯ ЛЬВОВА

*Но вот человек, родившийся и выросший в Одессе, берётся доказать, ... что жива Одесса, воспетая Бабелем и Катаевым, Паустовским и Олешей, Инбер и Багрицким. Что жив неукротимый одесский темперамент и знаменитый одесский юмор (1).*

Общеизвестно, что в 20-х годах из Одессы вышла целая плеяда видных писателей, таких как Бабель, Ильф, Катаев, Олеша, Багрицкий, Инбер, Паустовский и Славин. Произведения этих писателей, особенно те, что были написаны в одесский период их жизни, отмечены поразительной близостью тем, стиля, героев и языка. Цель этой статьи – показать, что, хотя Одесса уже не может рассматриваться как центр "южнорусской литературной школы", однако литературные традиции названных писателей живы и сегодня. Убедительное свидетельство тому – проза молодого одесского писателя Аркадия Львова (псевдоним Аркадия Бинштейна), представленная в двух его книгах рассказов – "Большое солнце Одессы" (1968) и "В Одессе лето" (1970), – опубликованных в России (2).

Своими уроками Львов обязан Бабелю, Олеше, Катаеву, Паустовскому, Ильфу и Петрову. Это отмечалось многими советскими критиками, включая Бориса Галанова, специалиста по Ильфу и Петрову, и Льва Славина, на страницах "Литературной газеты", "Литературной России" и других изданий (3). Никто из критиков, однако, не подтвердил этой преемственности соответствующими иллюстрациями.

Произведения Львова, анализируемые в нашей статье, близки ранней прозе (1818 - 1923) одесских писателей, в которой они стремились схватить и воспроизвести специфический дух родного города (4). В их произведениях город представлен либо в традиционных повествовательных описаниях его внешнего облика и атмосферы (Катаев, Олеша, Паустовский), либо, косвенно, в характерных типах одесситов и их неповторимой речи (Бабель, Ильф, Славин).

В большинстве своих рассказов, составляющих два названных сборника, Львов также стремится схватить и передать аромат и атмосферу Одессы. Реальная физическая среда его мира – улицы, дворы и рынки города; ведущая тема – будни и быт Одессы 30-х годов. Два повествователя сменяют один другого: в одном случае – это мальчик, подросток, в другом – всеведущий рассказчик, впечатления которого окрашены лёгким ироническим тоном или поэтическим, исполненным лиризма, подъёмом. Главные герои Львова, в отличие от тех, что населяли страницы его предшественников, не красочные еврейские бандиты. Это новые персонажи, характерные для советской действительности 30-х годов. К примеру, Женька Кравец, подросток, проникнутый патриотическим духом, комичес-

кая и неукротимая шестидесятилетняя активистка, уполномоченная Осоавиахима Малая и пожилой еврей Ефим Граник, который толкует все новые советские преобразования на свой, особый, юмористический лад.

Картины Одессы в рассказах Львова часто, по настроению и стилю, перекликаются с изображениями города, созданными старыми одесскими писателями. Приведем, к примеру, описание весеннего вечера в Одессе:

"Был май. Был вечер. Один из тех одесских вечеров, которые своей вязкой духотой и тягучестью делают весомым невесомое и осязаемым неосязаемое. Эти вечера западают в душу, пропитывают мозг тошнотворным настоем акации..." ("Рентген", 2, стр. 256).

В отрывке схвачены томный, вязкий, тягучий воздух одесского вечера и воздействие, которые он оказывает на ощущения и восприятие рассказчика. Эта чувственная образность, созерцательность и тщательный отбор деталей (акация занимает видное место в произведениях одесских писателей) близки, по стилю, Паустовскому и Бабелю.

В другом отрывке читатель может обнаружить влияние Бабеля и Олеси:

"Сидя на корточках у решётки водостока, я слушал неутомимую песнь весны. Зеленели деревья; поля укрывались травой, нежной и шершавой, как язык телёнка; южное небо наливалось синевой майских вечеров..."

Раздавленные льдинки сочились мутной водой на квадратных плитах чёрного камня. Сюда весна ещё не пришла. Я поставил лопату и побежал, чтобы воротиться побыстрее к весне.

Но я опоздал, моё место было занято.

Песня, которую она пела, была старая песня. Я слышал её много раз на Привозе... И эта девушка, эта мать, которой было 14 или 15 лет. Я отдал ей недогрызанный кусок макухи. Она спрятала его в карман, необъятный карман нищенки" ("Время", 2, стр. 322-323).

Бабелевское начало сказывается в использовании синестетических образов (рассказчик воспринимает весну, и визуально, и осязаемо, как песнь), в необычных сравнениях – "травой, нежной и шершавой, как язык телёнка, – в усилении образа через повторение, с добавлением новых признаков, и конечном ритме: "песня, ...новая песня"; эта девушка, эта мать"; "карман, необъятный карман нищенки". Можно почувствовать и манеру Олеси в восприятии повествователем весны как чего-то сугубо личного, индивидуального.

Следующее описание даёт картину одесской полуденной жары:

"Задыхаясь под тяжестью перезревших хлебов, земля исходила паром, тяжелым и душным, как сама земля. Люди проходили и проезжали дорогами этой земли, мимо густожёлтых, почти бурых, колосьев, налитых тугим зерном. Люди проходили и проезжали мимо – и колосья, захмелёвшие от избытка соков, света и зноя, клонились к земле" ("Женька Кравец", 1, стр. 91).

Отрывок вызывает ощущение изобилия и щедрости земли, проводя читателя через восприятие картины тяжёлого, перезревшего зерна. Пер-

сонифицируя землю и колосья зерна, Львов передает эффект угнетающего действия жары на людей. Нарочитый повтор фраз и образов влечет за собою замедление темпа, еще более усиливая ощущения духоты и зноя. Эти особенности стиля и структуры образов напоминают Бабеля.

Однако связи Львова с одесской литературной традицией выходят за пределы его описаний города и повествовательной манеры. Характерная черта его – и именно она более всего сближает его с писателями 20-х годов! – это самобытный одесский язык героев. Приведем своеобразную речь старого еврея в защиту выпивки, речь, пронизанную афоризмами, иносказаниями, риторическими вопросами и повторами, комбинация которых насыщена специфическим ароматом одесского еврейского говора и представляет его типическую музыкальную интонацию:

"Многоуважаемая, – галантно произнёс Граник, – человек должен быть отзывчивый. Если Чеперухе нравится после работы зайти на Привоз и посмотреть, какого цвета сегодня стакан вина, кому от этого плохо? А человек получает удовольствие. Так лучше радоваться вместе с ним, чем Злиться на него за то, что получает удовольствие". ("Форпост", 2, стр. 119-120).

Тенденция к риторике, преувеличениям, к речам, в которых выразительность берёт верх над содержательностью, к жестикуляции, всё это широко представлено на страницах рассказов Львова:

" – ... Ефим, я тебя спрашиваю, как родная мать, неужели у тебя в голове такой гармидер, что ты не можешь жить нормально... Неужели ты не можешь жить так, чтобы никто не показывал на тебя пальцем, а говорили бы про тебя только хорошее... ("И все должны мы", 2, стр. 73).

Проклятия и брань, характерные для героев, еще более повышают эмоциональный накал их речи. В типично еврейском ключе, проклятия содержат пожелания всяческих болезней:

– ... чтоб ему столько болячек, сколько пудов недосчитались его клиенты ("Крах патента", 1, стр. 33).

– ... и я сама приму меры, так что им темно в глазах сделается ("Уполномоченная Осоевиахима", 1, стр. 60).

– ... у тебя не отсохли бы руки... (там же, 64)

– Чтоб у тебя столько чираков повылазило, – ("Торгсин горит", 2, стр. 43).

Приводит на память Бабеля и язык героев Львова, пронизанный юмором, характерным для специфического склада их ума, когда логическая цепь завершается совершенно неожиданными заключениями:

"Если дети тихо посидят в красном уголке, от этого никто не схватит насморк. Наоборот. ("И все должны мы", 2, стр. 74).

Когда на собрании, в горячке спора, люди вскакивают со своих мест, используется такой довод, чтобы призвать их к порядку:

"Сядьте, все сядьте, – решительно требует Малая. – Что получает-

ся, когда все встанут? Получается, что каждый становится на голову выше." ("Уполномоченная Осоавиахима", 1, стр. 53).

В разговорах герои редко называют вещи прямо, своими именами, предпочитая окольный путь. "Если я вас правильно понял" комически трансформируется в замысловатое "если у меня в голове то, что вы сказали..." ("И все должны мы", 2, стр. 66). Точно так же, физическая невозможность продолжать движение вперед выражается с помощью далеких образов, но зато весьма живописно:

"Люди стояли здесь уже третьи сутки – две ночи и три дня. Назад отсюда дороги не было. А вперед... вы можете поцеловать себя в затылок?" ("Женька Кравец", 1, стр. 116).

Подобно одесским писателям, Львов усиливает специфический колорит речи своих героев, используя диалектизмы, заимствованные из украинского (польского), еврейского языков и местного жаргона. Так, читатель может встретить известный одесский оборот с глаголом "иметь" – "что мы имели в 1924 году?" – или красочное наречие "смачно", которое подчёркивает пряность повествования: "рассказывать смачно". Морфологические отклонения от правильного русского языка, под влиянием украинского (польского), также представляются обычными и помогают воспроизвести богатый этнический колорит Одессы.

Глаголы: "може слышали", "слу~~хай~~", "вы хочете", "говорить *нема* чего", "он *загладает*", Существительные и местоимения: "в *годе*", "мине", "боки", "с лёдом". Предлоги: "3 Маяков", "смеётся *со* старших".

Временами, однако, обилие диалектизмов, и особенно местного жаргона, перегружает текст и затрудняет понимание его для читателя не-одессита (одесские писатели 20-х годов обычно воздерживались от чрезмерного использования диалектизмов): "паскудная *лайба*", "съехать с *глузду*", "лафа", "байдыки бить", "собирали лахи", "стаканчик *шабского*", "фраер", "солнце *шабшит*".

Впрочем, если одесский местный диалектизм в тексте порою представляется избыточным, умеренное использование лексических единиц из еврейского языка усиливает экзотическое начало в речи героев и обогащает лингвистическую ткань рассказов. Так, читатель встречается с известным еврейским выражением "цимес" (лакомая пища): "... Мужчина в 50 лет – это еще почти мальчик, цимес, – говорила моя мама" ("Ошибка дюка де Ришелье", 1, стр. 181). Львов также изображает комическое пристрастие евреев заменять в словах, в знак насмешки, начальные согласные звуком "шм":

" – Хорошо, плохо, садик, шмадик, задик, цадик. Зачем вы говорите слова. Я прошу вас: зачем вы говорите слова. Ой слова, ой слова." ("Женька Кравец", 1, стр. 104).

Правда, не только отдельные лексические единицы ("шмадик", "задик"), но и весь сверхдраматический тон приведенного абзаца отмечен примечательной особенностью еврейско-одесского говора. Еврейское начало у Львова находит свое яркое выражение и в таких красочных обо-

ротах, как "разводить цуцели-муцели", и, наконец, в определённом наборе еврейских имён.

Таким образом, как мы видим, язык героев Львова характерен известными стилистическими, лексическими и морфологическими отклонениями от старой русской речи и, с учетом его интонационных особенностей и специфической жестикуляции говорящих, перекликается с типичными диалогами в произведениях 20-х годов.

Однако, хотя старая Одесса и сегодня жива ещё в языке, стиле и манере речи, именно сам рассказчик и герои Львова первые же отдадут себе отчёт: город уже не тот, что был прежде. Тоска по старой Одессе выражается у них самыми разнообразными способами. В одном из рассказов дети платят дань старой Одессе, называя знаменитое кафе из дореволюционных времён, описанное Куприным, его первородным именем "Гамбринус". В свои рассказы Львов включает две "блатные" песни – "Мурка" и "Бублички" ("Торгсин горит", 2, стр. 58 и "Крах патента", 1, стр. 32) – созданные в Одессе в эпоху революции, когда город считался неофициальной столицей блатной песни. Такова же природа и пространной ссылки на Багрицкого, включающей отрывок из его стихотворения "Контрабандисты". Героиня одного из рассказов прямо говорит о своём страстном желании сравняться с поэтом в романтическом накале его духа:

"Я хочу чувствовать, как Багрицкий. Я хочу, чтобы вихрь, я хочу, чтоб зной, я хочу, чтоб брызги ледяные... ("Хлебная гавань", 1, стр. 145).

И наконец, тоска Львова по ушедшим увенчивается его порывистым броском в романтическую Одессу былого:

"Кавалеры, покуривая пшеничные усы, по-кавалерийски заглядывали в лицо дамам, а дамы хохотали легко, весело, звонко, как теперь уже не хохочут." ("Рентген", 2, стр. 257).

Итак, едва ли можно сомневаться, что Львов подвергся влиянию одесских писателей, хотя, разумеется, имели место и другие влияния, и, к тому же, самим "материалом Одессы" вдохновлены лучшие места его прозы. Однако Львов, который, что называется, на коне, описывая родной город, не является слепым подражателем своих предшественников. Напротив, он даёт нам нечто новое в картинах современной Одессы. Поэтому вольные времена и герои, которые были в фокусе старых одесских писателей, вытесняются новыми временами и новыми героями советской Одессы 30-х годов, и дух старой Одессы, представленный в изобразительной манере и диалогах Львова, хотя и выжил, но более уже не является господствующим.

#### Примечания.

1. Б.Езерская, "Озорная и героическая Одесса", "Литературная Россия", 5 июля 1968 г., стр. 19
2. Аркадий Львов, "Большое солнце Одессы" (Москва, "Советский писатель", 1968), "В Одессе лето" (Одесса, "Маяк", 1970).

Все номера страниц и названия рассказов, откуда взяты приведенные в статье цитаты, заключены в скобки. Поскольку некоторые рассказы встречаются в обоих сборниках, я цитирую соответственно: (1) "Большое солнце Одессы", (2) "В Одессе лето".

Львов эмигрировал в Соединенные Штаты в 1976 году. В настоящее время он живет и работает в Нью-Йорке. Многие его рассказы уже переведены на английский язык.

3. Б. Галанов, "Границы рассказа", "Литературная газета", № 10, 1968:

"А писать об Одессе после целой плеяды талантливых одесских писателей, согласитесь, нелегко. Львов пишет, не подражая, не повторяясь, хотя в его рассказах... можно обнаружить и уроки Бабеля, и уроки Олеси".

Лев Славин, "Песня родному городу", "Литературная газета", 17 сентября, 1969 г.:

"Метафорическая проза А. Львова, чтобы удержать внимание читателя, должна стремиться к тому уровню, высокие образцы которого дали его земляки и учителя – Бабель, Олеша, Катаев, Ильф и Петров".

И. Завьялова, "В двух лицах", "Литературное обозрение", № 7, июль, 1973 г.;

Ю. Смелков, "Свой взгляд на мир", "Комсомольская правда", 21 марта 1969 г.;

Е. Присовский, "Книга о земляках", "Знамя коммунизма" (Одесса), 3 сентября 1968 г.

4. Для анализа указанных произведений смотрите мою неопубликованную диссертацию: "Одесская школа писателей, 1918 – 1923", University of Michigan, 1976.

## АЛЕКСЕЙ ШЕЛЬВАХ

\* \* \*

Чесоточная сень деревьев. На лавочке тень старца.  
Сей усыплен лучом небес. Горят прозрачны зерна кварца.  
Нашед зерно прозрачное ребенок,  
Как принц в плаще пергаментных пеленок,  
Печально прокричал: Зачем сия материя мертва?  
Румяным вихрем явлен был ребенок номер два.  
Толчок! Толчок! И падают младенцы в сей блестящий прах!  
И плачут оба. Смысла нет в речах!

Как перевернутая лира, ковыляет дева. Куплен мне мешок еды.  
Перепорхнуть придумала квадратный метр воды.  
Миг – лопнул мир штанов! Тоже мне птица. Юмор видят люди.  
Первыми блинами вздрагивают груди.  
Именно мне купила дева булку и табак.  
Именно я проголодался. Дело было так:

Вчера был вечер. Гости соблюдали морды поведения. Терпи, бумага!  
Не Вакх. Не варвар. Черепом стакана я витийствовал однако!  
Колодец водки на столе! В ушах соленый дождик крови!  
Испытывал томленье нежных жилок – сей симптом любви!  
Вздыхал – у девы реял влас – пшеницы злак!  
Пришелица, зачем зажгла свой масляно-лазурный зрак?

Мне скушно, бес. И мне, мне – скушно, Фауст!  
Нас было двое. Напрягали фаллос.  
Я щедрым был как целый Купидон!  
Не скопидомничал! Семян излил бидон!  
Кормил, как прорву, детородным перламутром.  
Она гимн Гименею пела утром.

\* \* \*

Стволы деревьев – сухие водопады!  
Плоды – круглее глиняных горшков!  
В саду летает молодое солнце!  
О двух концах растет любая палка!  
Зеленые шары прелестных ягод!  
Питомник естества – такое дело!  
Любая тварь стоит на задних лапах!  
Змея царапает перстами воздух!  
Вдруг небо расступается – Врата!  
Выходит Бог, как статуя Свободы!  
Позванивает ореол таланта  
как бубенец убора головного!  
Взор – голубая панорама, ибо  
он умывает песнями лицо!  
Он – Ломоносов! Манья творить,  
как мантия, окутывает бедра!  
Всегда без ангелов. Один, как пуп.  
Дыша духами ароматных мыслей,  
проходит мимо. Он изволил думать!  
Того гляди Америку откроет!  
... Не раз, не два я восклицал: Творец!  
Ты, миротворец, только притворялся!  
Ты – щедр? Необитаемое небо  
наполнил криком гадов земноводных!  
Ты, Робинзон, вполне перестарался –  
все пятницы твоим известны гневом!  
Мир – прахом – мягкая твоя постель!  
Три короба налгал, моргая Солнцем!  
... Он только улыбается. Стоит.  
Он – по уши, он – в помыслах, скотина.

*Алексей Шельвак – ленинградский поэт, родился в 1947 году.  
Стихотворения печатаются без ведома автора.*



## Проф. ВЛАДИМИР СЕДУРО

### СПЕКТАКЛЬ ТРИУМФАЛЬНОГО УСПЕХА.

("Братья Карамазовы" в МХТ в 1910 г.)

В декабре 1973 г. "Новый Журнал" (кн. 113) опубликовал "Письма артиста МХТ Н. Ф. Колина". Ни редакция журнала, ни подготовивший эти письма к печати К. Е. Аренский, не заметили вопиющей ошибки памяти престарелого актера, когда он приписал К. С. Станиславскому участие в режиссерской подготовке спектакля "Братья Карамазовы" в МХТ в 1910 г. Ошибка эта затем получила дальнейшее распространение, когда рецензент "Нового Русского Слова" особенно похвально выделил именно этот ошибочный эпизод, назвав его "особенно замечательным".

Между тем, каждому историку русского театра известно, что Вл. И. Немирович-Данченко проводил репетиции и довел спектакль до премьеры без помощи К. С. Станиславского. Случилось так, что работа над спектаклем "Гамлет" прекратилась из-за внезапной болезни К. С. Станиславского. Ему пришлось уехать на юг для продолжительного лечения. Чтобы не смять самые заветные мечты Константина Сергеевича, правление МХТ решило не ставить "Гамлета" без Станиславского. Решено было ускоренным темпом подготовить уже имевшийся в планах МХТ спектакль по Достоевскому в инсценировке и под режиссерским руководством Вл. И. Немирович-Данченко. В подготовке спектакля в помощь главному режиссеру принимали участие К. А. Марджанов, В. В. Лужский и другие, но никак не тяжело больной и не находившийся в Москве К. С. Станиславский. Об этом свидетельствуют и письма К. С. Станиславского из Кисловодска за сентябрь-октябрь 1910 г.

Когда я в своем письме от 12 февраля 1974 г. редактору "Нового Журнала" указал на эти ошибки, последний был поражен и в ответном письме высказал сожаление. Однако печатного признания допущенных ошибок журналом так и не было сделано. После пяти лет тщетных ожиданий исправлений со стороны "Нового Журнала", в целях научной истины я решил предложить читателю краткую историю этого спектакля.

\* \* \*

Основатель и руководитель (совместно с К. С. Станиславским) Московского Художественного Театра, Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858 - 1943) на протяжении своего долгого литературно-театрального пути проявлял особый интерес к творениям Ф. М. Достоевского. Еще в девяностых годах, преподавая на драматическом отделении Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, он немало говорил своим ученикам о значении великих образов Достоевского. Лучших учеников из этого училища позже Немирович-Данченко привлек в 1898 г. в Художественно-общедоступный театр, с весны 1901 г. ставший

называться Московским Художественным Театром. Осуществляя творческое и организационное руководство МХТ, Немирович-Данченко особое внимание уделял репертуару и с первых лет деятельности этого театра смело привлекал новых драматургов – А.П.Чехова, М.Горького, Л.Андреева, вводил в репертуар западно-европейских драматургов – Г.Ибсена, Г.Гауптмана и других, ставил спектакли по В.Шекспиру и пьесам русских классиков. В целях расширения репертуарных возможностей, Немирович-Данченко обратился к русскому роману. Летом 1908 г. он перечитывает все романы Федора Достоевского, в письме к К.С.Станиславскому от 5-6 июля 1908 г. признается, что "штудиирует" Достоевского с точки зрения пригодности их для переделки для сцены. Роман "Братья Карамазовы" признал с точки зрения инсценизации "чудесным". "Вещь может выйти и колоритная и русская", – пишет он своему сподвижнику по руководству МХТ "ом в том же письме. Даже верил, что "и Зосиму разрешат" (1).

Изучая романы Достоевского с точки зрения их театриализации, Немирович-Данченко все более убеждался в своих мыслях, что Достоевский писал, как романист, но чувствовал, как драматург. Профессиональное чутье к сценическому слову и образу позволило узреть в этих романах такое обилие возможностей инсценизации, какого еще не знала сцена до этого. Целые главы так и просились в драму и на сцену.

Сначала мысль Владимира Ивановича обратилась к роману "Бесы", как особенно пригодному для инсценировки в силу обилия сценических возможностей. Но время для театральной жизни этого романа в МХТ еще не пришло тогда.

Неизвестно сколько время прошло бы и до постановки "Братьев Карамазовых" в МХТ, если бы не внезапный случай. 4 августа 1910 г. Немирович-Данченко узнает, что К.С.Станиславский на Кавказе (Кисловодск), заболел тифом. Он срочно посылает на помощь больному и ухаживающей за ним М.П.Лилиной работников МХТ – Е.П.Муратову и Н.Ф.Балиева, а сам решает спасти театральный сезон МХТ постановкой "Братьев Карамазовых". Это представлялось ему необходимым в силу того, что назначенный к открытию сезона спектакль "Гамлет" в постановке К.С.Станиславского оставался незаконченным. "Решился! Кидаюсь в открытое море и влеку за собой весь театр. Решил ставить "Братья Карамазовы" и открывать ими сезон" – писал он жене 6 августа 1910 г. (2).

Немирович-Данченко обращается письменно к зарекомендовавшему себя в МХТ режиссерской работой Василию Васильевичу Лужскому, с удивительным мастерством, вкусом и чувством меры недавно поставившему народные сцены в спектакле "Анатэма" Л.Андреева. Художественный руководитель МХТ привлекает Лужского для постановки двух самых больших сцен в "Мокром" и "Суд", как и для помощи по мизансцене и планировке всего спектакля по "Братьям Карамазовым". В этом письме Немирович-Данченко делится с Лужским планами своего замысла. Сообщает, что спектакль займет два вечера. Предоставляет Лужскому самому избрать желательные части для режиссерской работы, но "Мокрое" и "Суд" определенно оставлял за ним. Там же впервые в истории театральной работы

МХТ предлагается ввести роль чтеца, для которой сначала предполагался актер Иван Михайлович Москвин. Ввиду спешности работы, писать картины было некогда. Но зато Немирович-Данченко предусматривал необходимость фантазии по рисункам и макетам. Стол художников для рисования и группа молодых для лепки макетов предполагались работающими параллельно с чтением, купюрами и беседами. Весь театр призывался к работе. Приглашая этим письмом в театр на первое рабочее собрание по этому поводу в воскресенье 8 августа 1910 г., Немирович-Данченко писал Лужскому: "Умоляю Вас понять мою решимость и поддержать меня. Начинать сезон Гамсуном и "Мизерером" (К.Гамсун "У жизни в лапах" и С.Юшкевич "Мизерере" – В.С.) – жидко, и ввиду болезни Константина Сергеевича это значит расписаться в том, что Театр сам по себе еще не так силен, чтобы решиться на что-нибудь крупное. Надо вместо одной крупной задачи – "Гамлета", дать другую крупную, а не пробавляться легкими постановочками"(3). Встреча драматурга-инсценировщика с вершинным созданием гения Достоевского породила творческий взлет такой высоты, что каждая мысль творческого замысла режиссера-постановщика теперь ассоциируется с задачами исключительно огромного значения, "крупными задачами", по определению самого Немирович-Данченко. И хотя в том-же письме дальше не превозглашается никаких особенных новаторских задач, в смысле формы утверждалась "проторенная дорога", реальность игры и постановки, пресловутая мхатовская простота и естественность ("открытий никаких нет"), именно этому творческому замыслу суждено было сыграть в истории МХТ и всего русского театра особенную, новаторскую в лучшем смысле слова, обогатившую русский и мировой драматический театр, судьбоносную роль.

Так как дело было совершенно новым не только для актеров, но для самого инициатора, то он решил обратиться ко всем актерам МХТ за помощью, чтобы сообща, силами всех актеров и актрис, найти наиболее удовлетворительное решение этого необычного спектакля. Открыто заявив, что руководители постановки не знают этого решения, Немирович-Данченко сказал: "Нам нужна ваша помощь. Мы полагаемся на вашу интуицию, на ваш жизненный и сценический опыт, на энтузиазм и рвение тех, у кого по юности лет нет еще никакого опыта. Давайте вместе пробовать, вместе рисковать!"(4)

Алексей Денисович Дикий вспоминает, что это обращение вызвало оживление, результатом которого было всеобщее в труппе МХТ увлечение Достоевским и изучение его творений и литературы о нем. Это приобщило молодых актеров к творениям великого писателя, "окунуло в мир его образов, расшевелило фантазию, активизировало мысль", как говорит тот же Дикий (5). Ответственность этим была возложена на весь коллектив МХТ.

Спектакль "Братья Карамазовы" занимал два вечера и строился, главным образом, вокруг мирской истории Мити Карамазова. Театр также очень внимательно отнесся к сценам со штабс-капитаном Снегиревым, наиболее полно выражающим тему униженных и оскорбленных. Были вве-

дены оба "надрыва" – "В избе" и "На чистом воздухе", где чувство собственного достоинства капитана и его гордого сына Ильющечки достигает необычайных духовных высот на фоне крайней нужды и унижения. Не ставя осознанно никаких общественных социальных задач, театр, однако, интуитивно нащупывал в героях Достоевского тему искалеченных душ с их правом на человеческое счастье. Главным же в работе постановщика и всего коллектива было нащупать и найти такую форму спектакля, которая бы дала возможность выразить главное в искусстве Достоевского-драматурга. Немирович-Данченко понял роман Достоевского как вечный диспут страстно ищущих истину героев. Пытаясь передать творческие идеи Немирович-Данченко в связи с постановкой "Братьев Карамазовых", Алексей Денисович Дикий так формулирует свои обобщения: "Никто из героев Достоевского не знает истины, но все они её страстно ищут. Ищут ответов на "проклятые вопросы", и не только в себе, в своей душе, но прежде всего в душе рядом стоящего человека. Жадно вникают в его доводы, ловят его на противоречиях, стараются познать его тайные тайных, понять, каковы пружины тех или иных человеческих поступков. Достоевский, а за ним и его герои никогда не верят человеку на слово: они проверяют, допытываются, следят, подозревают. Они словно связаны все друг с другом сетью уклончивых и недосказанных мыслей, скрытых мотивов жадного любопытства к тому, какое "верую" исповедует рядом стоящий человек. Романы Достоевского – это вечный диспут, диспут не отвлеченный, но как бы скрепленный кровью, потому что писатель не признает празднословных теорий и каждый, казалось бы, абстрактный тезис тут же, и прямо, и иногда очень больно отзывается на судьбах его героев.

А в театральном плане это значит: глаза в глаза, зрачки в зрачки, взгляд, проникающий в душу соседа, мысль, нащупывающая его мысль. Иначе говоря, непременно и обязательно – объект в партнере. И потому диалог Достоевского никогда не превращается в монолог, а его монолог весьма часто оборачивается диалогом, что нашло свое наиболее отчетливое выражение в главе "Черт. Кошмар Ивана Федоровича" – одной из самых ярких глав романа "Братья Карамазовы".

Инсценировщик-драматург, постановщик, артисты под руководством своих (6) режиссеров расслышали, уловили и сумели передать зрителю тягу к нравственному идеалу, скрытую у Достоевского за всеми изломами человеческой души героев. Оригинальность и острота животрепещущей мысли писателя, крайняя напряженность чувств и переживаний, глубина внутреннего мира его героев помогли актерам взобраться на вершину трагического искусства и создать невиданное зрелище. Искусство актерского перевоплощения, такое отточенное и достигшее совершенства годами исполнения сдержанной драмы настроения Чеховского образца, здесь, по словам Дикого, "ярким пламенем взметнулось в Достоевском, позволило актерам подняться к невиданным прежде высотам" (7). Возможности сценического метода великого реформатора сцены – К. С. Станиславского здесь, наконец, получили возможность полнейшего выражения и реализации на полную силу.

Инсценировка "Братьев Карамазовых" строго ограничилась только текстом самого Достоевского. Вполне естественно, что в помощь зрителю понадобился чтец. Актер Н.Н.Званцев, обладавший адвокатской внешностью, небольшой черной бородкой, звучным, но не выражающим отношения к событиям и героям, голосом, заведомо сухо информировал зрителя о непоказанных на сцене событиях, чтобы ярче проступил фон, на канве которого происходит драматический конфликт. Для чтеца в нужный момент зажигалась лампочка под зеленым абажуром и освещала узкой полосой раскрытую книгу романа. Художник В.А.Симов, мастер интерьера, для этой постановки прибегнул к скромному темно-оливковому занавесу по бокам сцены. За отдернутым занавесом не было обычного интерьера. Вместо его – сукна кулис и самый минимум обстановки, лишь намекающий на место действия. Так, круглый стол с гнутыми ножками красного дерева под белой скатертью представлял обстановку у Федора Павловича. Одинокая ракета составляет природный фон в сцене встречи Алеши с Митей. В массовой сцене "Мокрое" деревянный грубый стол, два стула, диван и кровать в углу – вот и весь декоративный образ этой важнейшей сцены. Так после искусства натуралистических излишеств в предыдущих спектаклях МХТ пришел в "Братьях Карамазовых" к насыщенному лаконизму, отдельными выразительными бликами заменяя многокрасочность. Эта сценическая простота и концентрация на немногом, но типическом, подсказывалась постановочным замыслом. Ничто не должно было отвлекать от игры бурных страстей, столкновений и конфликтов спектакля. Поэтому и в кульминационной сцене "Мокрое" обстановка была такая, чтобы не отвлекать от главного и не ослабить сильнейшие тона трагедии. Тот же Дикий вспоминает об этой сцене: "Острый, взвинченный ритм действия, густая, тяжелая атмосфера кабацкой оргии, "шабаш девок" ... вино рекой, и деньги рекой, и десятки горящих алчностью глаз, неудержимо притянутых к пачкам кредиток в руках загулявшего Митеньки, – такой запомнилась мне эта сцена, выписанная сильными и резкими мазками с великолепным чувством меры, с непревзойденным мастерством режиссерской инсценировки целого" (8).

Сцена "Мокрое" шла один час двадцать минут и ею открывался второй вечер. До этого спектакля никогда картина не шла так долго. В первой половине – Митин загул. Здесь Грушенька наглядно воскресала для лучшей жизни и добра, любовь озарила, очистила и подняла обоих на высоту человеческого счастья, но на самой кульминационной точке их упования врывается бесцеремонно чиновничье, казенное, то, что называется законом, и Митя объявляется подследственным. Параллельно фальшивой церемонии следствия происходит нравственное выпрямление Дмитрия Карамазова. Из двух бездн негативная себя исчерпала в "Мокром", и там же другая ипостась человека, способность к покаянию и исправлению, с особой силой заговорила в Мите и повела его к возрождению. Силою искреннего и чистого чувства любви к Грушеньке происходит очищение Мити. Здесь театр как бы выступил защитником не темной "карамазовщины", а преснувшейся светлой человечности в бывших грешниках.

Задумывая инсценировку и постановку "Братьев Карамазовых", Немирович-Данченко строил спектакль не на фабуле и не на интересе к обстановке, а на образах, заботясь, чтобы они были темпераментными, яркими, даже зажигательными. Чтобы приблизить героев к зрителю, поставить в центре внимания последнего чувства и мысли, все мизансцены были развернуты вдоль рамп, фронтально. Чтобы взволновать зрителя драмою героев, лица последних находились как бы в фокусе театра, внимание концентрировалось на их душевных борениях. В психологическом водовороте романа были найдены такие импульсы, которые могли стать задачами актеров-исполнителей. Все сцены делились на куски или "хотения", которые затем переводились на чувства и которым затем, согласно учению Станиславского, находились наиболее органические формы выражения. Каждая из двадцати одной картины заключала в себе бездну психологических моментов и сложных чувств.

Немирович-Данченко до такой степени был пленен работой над спектаклем, что ему и во сне виделись только сцены из Достоевского. "Я все сны вижу глупые, — писал он К.С.Станиславскому в октябре 1910 г. из Троице-Сергиевской лавры, — как какая-нибудь интонация из "Карамазовых" ходит по дивану... А то проснулся в холодном поту от ужаса, как мало репетировалась какая то глава, и, проснувшись, мизансценировал ее, — а такой главы и во всем романе нет, это я ее во сне сочинил..."(9).

После состоявшейся 12 и 13 октября 1910 г. премьеры "Братьев Карамазовых" в МХТ Немирович-Данченко в письме к Станиславскому подробно изложил свое понимание значения спектакля, как и возникавшие проблемы и трудности работы над инсценируемым материалом, включая и открывшиеся возможности и перспективы. В ответ на письмо К.С.Станиславского, приветствовавшего работу Немирович-Данченко, как "триумф", последний из скромности не признавал это достижение театра "триумфом" или победой, но видел их впереди. Успех "Братьев Карамазовых" в МХТ вселял в душу постановщика надежды на большие победы в театральном искусстве в будущем. Полная и могущественная победа в МХТ связывалась Владимиром Ивановичем с возвращением К.С.Станиславского и совместной работой над очередным романом. Теперешний успех он называет взятием важной позиции, Мукдена. "Нет никакого триумфа и нет никакой победы, и, однако, случилось что-то громадное, произошла какая-то колоссальная бескровная революция. В течение этих первых представлений было несколько лиц, которые почувствовали, но еще не осознали, что с "Карамазовыми" разрешился какой-то огромный процесс, назревавший 10 лет"(10).

По мнению Немировича-Данченко, "Карамазовыми" завершен процесс освобождения театра от условности, начатый раньше драматургией А.Чехова. Это была революция в театре не на 5 или 10 лет а навсегда. Катастрофа театральных условностей открывала дорогу в театр тем творцам, большим литературным галантам, которые боялись обязательного требования действия, движения на сцене. На соображения романиста, что ему не под силу уложиться в четыре действия или четыре часа, МХТ нашел возможность ответить, что такого требования больше не существует.

Можно дать большому произведению театрального искусства и два и три вечера, если нужно. На возражения романиста, что ему невозможно разбивать материал на равные по продолжительности акты, МХТ ответил отменой такого условия. Из 20 картин одна может идти и полтора часа, а другая может продолжаться только четыре минуты. Отменялось и правило построения пьесы только на бойком диалоге. В "Братьях Карамазовых" герои иногда говорят длинными монологами по 20, 25 и 28 минут, как Снегирев, Грушенька и Иван Карамазов, а публика их слушала, затаив дыхание и с еще большим интересом, чем диалоги.

Немирович-Данченко после премьеры "Братьев Карамазовых" убедился и в том, что необязательно вводить действующее лицо в быт и в целях развития фабулы заставлять его что-либо сообщать, рассказывать. Теперь этому служит чтец. Его также зритель слушает с неменьшим вниманием. Он во время действия усиливал художественные эмоции и решительно разделял власть театра над зрителем. Теперь даже описательные страницы романа в артистическом чтении и в соединении с художественно выполненным пейзажем декораций открывали новые возможности воздействия на эмоции зрителя. Слушая описание и видя пейзажную декорацию, зритель будет упиваться, переживать тургеневское или гамсуновское описание природы. Как энтузиаст театра, посвятивший и отдавший ему всю жизнь без остатка, Немирович-Данченко ожидал с нетерпением полной победы и завоевания новых высот в искусстве. Но он знал, что надо беречь и собирать свежие силы, не спеша приготовиться, рассчитав все возможности, чтобы удар по старым условностям был полным, решительным и окончательным. В пылу увлечения новыми перспективами, он склонен был считать произведенную МХТ'ом революцию настолько основополагающей, что связывал с нею полнейшую перекройку всей истории театра. "Театр будет считать, — писал он в уже помянутом письме, — от Островского до Чехова, от Чехова до "Карамазовых" и от "Карамазовых" до... Говорят, — до греческой трагедии! Я думаю иначе: от "Карамазовых" до библии. Потому что, если духовная цензура погибнет, — а рано или поздно она должна погибнуть, как старый, весь изъеденный внутри дуб, — то нет более замечательных сюжетов для этого нового театра, как в библии" (11).

Немирович-Данченко был недоволен критикой, которая, все еще находясь в плену старых привычек к условностям, растерялась перед явлением невиданной смелости инсценизации романа и продолжала обсуждать уже решенный вопрос о том, можно ли инсценировать роман вообще и роман Достоевского в частности. Он смело отвергал такого рода консерватизм, сравнивая упрямство такой критики, цепляющейся за обветшалые критерии, с упрямым ослом. Дальновзорким оком много познавшего и открывшего театрала он предвидел, что через несколько лет такой революции в театре даже драматург А.Н.Островский покажется скучным по своим театральным приемам и узостью психологических задач. Все, сводящееся к 4 или 5 актам и трем стенам, разделяет эту участь. Новый спектакль отныне он уже не представлял себе без чтеца и быстрой смены картин. Прежняя цель постройки т. н. "прекраснейшего" театра его отныне уже нисколько не прельщает.

После "Карамазовых" великий реформатор театра и самую организацию театрального дела представлял себе иначе. Вместе с режиссерским управлением он задумал завести и специальный литературный отдел. Там должен быть знаток всей мировой литературы и романа особенно. Надо не только помнить большие шедевры художественного слова, как "Война и мир", "Анна Каренина", "Обрыв", "Дым", "Вешние воды", "Записки охотника", рассказы Сервантеса, Флобера, Мопассана, — их надо изучать с точки зрения возможностей сценического воплощения.

Считал он нужным также создание художественной мастерской, чтобы быстро приводить в исполнение все замыслы постановщиков, чтобы вещи быстро сводились к гармонии тонов спектаклей. Не считая один фон в постановке "Карамазовых" идеалом, Владимир Иванович планировал ставить одни спектакли на фоне, другие с потолком и карнизом, третьи — в живых картинах, а четвертые, возможно, синемаатографом и т. д. Это открывало простор для художественных поисков.

Немирович-Данченко верил в силы актеров МХТ и полагался на их способность перенести на большую сцену все приобретенное за режиссерским столом и на репетициях. Он почти не ошибся в своих расчетах, если не считать некоторых друдностей работы с недавно пришедшей из Малого театра в МХТ актрисой Ольгой Владимировной Гзовской и с трудно расстающимся с прежними навыками актерского наигрыша, (впоследствии выдающимся актером МХТ), Василием Ивановичем Качаловым. Гзовская была лишена тех психологических подходов, на которых воспитывался и формировался МХТ под руководством К.С.Станиславского и Немирович-Данченко. Она усвоила и вобрала в Малом театре много тех театральных штампов, с которыми всю жизнь боролись руководители МХТ. Трудно было освободить Гзовскую от привычной ей театральнойности, хотя это и была актриса исключительного таланта, работоспособности, которой были доступны самые искренние и трогательные переживания на сцене. Режиссера все же разочаровывал в ней иногда хотя бы минутный перевес "актрисы" над просто переживающей женщиной, что требовалось от нее по ходу репетиций в МХТ. Но в конце концов и Гзовская сумела внять указаниям учителей и вышла победительницей во многих сценах, сделал особо оblemательными сцены "Надрыв в Гостиной", и "Не ты", как и большую часть "Суда". Немировичу-Данченко пришлось много поработать и с Качаловым, рекомендуя ему ничего не изображать руками, губами и глазами. Но актер полагал, что он на то и первый актер, чтобы изображать все и всю мимикой. А с точки зрения режиссера-постановщика актеру нехватало простоты и естественности исполнения. Поэтому и Качалова и даже Ивана М. Москвина приходилось уговаривать не наигрывать никаких "слез и штук". Позже и Москвин, и Качалов глубже вдумались в психологические аспекты романа и своих ролей и в конце-концов нашли у себя в душе те психологические плоскости, которые обеспечили им чрезвычайный успех.

Режиссеру легче всего было работать с молодыми, неопытными актерами, как Владимир Готовцев, С.Н.Воронов, Б.М.Сушкевич. Актеры только мхатовской школы, без каких-либо привнесенных из других театров



навыков "театральности", верили всему, чему учили их режиссеры МХТ и совершенно естественно перевоплощались в изображаемые ими образы героев, великолепно усваивали психологию. Исполнитель роли Смердякова Воронов ни разу не повысил голоса и до конца выдерживал тон даже в рассказе по 10 или 15 минут. И эта естественность, правильность жизни актера на сцене, соответствие сценической жизни действительной жизни явилась залогом успеха молодых, начинающих, как и опытных актеров.

Твердая и непоколебимая уверенность Немирович-Данченко в успехе спектакля по "Братьям Карамазовым" сыграла немалую роль в преодолении косности и неверия в возможности такого грандиозного замысла среди некоторых работников МХТ. Так, например, помощник режиссера К.А.Марджанов, внимая нашептываниям А.Л.Вишневого, что будет скуки, пытался прибегать к мелодраматическим приемам, чтобы оживить рассказ. Немирович-Данченко призывал не бояться скуки и не засорять истинных переживаний актеров на сцене. Он звал вести коллектив актеров и всех участников спектакля к поискам внутреннего образа путем заражения и вдохновения. Здесь он вносил свой "корректив" в теорию Станиславского. Он считал, что начинать работу актера надо именно с этого постижения внутреннего образа героя, а когда это освоено и схвачено, тогда на помощь должны придти очень ценные теории Станиславского о "кусках" и "приспособлениях". "И до чего душа актера радуется покоем и уверенностью при таком пути!" – пишет в упомянутом выше письме Владимир Иванович Константинову Сергеевичу (12). Благодаря такой теоретической и практической убежденности Немирович-Данченко ему удалось заразить своим энтузиазмом и сплотить весь коллектив участников спектакля, заставить его и себя жить полной творческой жизнью. Это была очень утомительная работа. Он сам признавался, что за два с половиной месяца репетиций не был ни в одном другом театре, ни у знакомых и знал только свою постель. Но душа его жила большой идеей и была счастлива. И это несмотря на то, что в первые недели ему отравляли жизнь маловеры, боящиеся риска – Алексей А.Стахович, член правления пайщиков МХТ, Александр Вишневецкий, Никита Балиев, Николай Румянцев и даже Ольга Книппер-Чехова. Первый из них говорил от имени правления, задавая вопросы: "Когда это кончится? Да не скучно ли это? Не длинно ли это? Как это будет – отрывки и отрывки? Да ведь сколько еще времени уйдет при переходе на Большую сцену и т.д. и т.д. "Пайщики волнуются", – брал он на себя смелость высказываться перед Немирович-Данченко. "Правление вправе знать, что делается" (13). Приходилось главному виновнику всей этой затеи сначала мило улыбаться, затем хмуриться, сзывать правление пайщиков и докладывать о работе, чтобы успокоить тех, которые чувствовали колоссальное фиаско или запоздалое открытие сезона, "Это отсутствие веры могло убить меня, если бы я сам был менее убежден в том, что план мой рассчитан правильно", – признавался он в письме к Станиславскому. И действительно, если бы не болезнь Ф.Горева, поиски более подходящего актера для роли Смердякова (вместо первоначально исполнявшего Горича) и не болезнь Качалова, сезон начался бы в срок. Одна-

ко премьеры состоялась в первой половине октября вопреки предсказаниям маловеров, что это произойдет не раньше ноября.

Работа над постановкой "Братьев Карамазовых" в МХТ убедила Немировича-Данченко еще больше, насколько художественный метод Московского Художественного театра отличен от Малого театра, как различны театр перевоплощения и психологического переживания и, с другой стороны, театр реально-бытового изображения. Теперь Немировичу-Данченко стало казаться, что если бы в МХТ пришла из Малого театра самая большая знаменитость – Ольга О. Садовская, то и она показалась бы "не в тоне" не в ее пользу"(14). В актерском успехе Лидии Кореневой, как и С. Воронова и Сушкевича, великому реформатору сцены виделся триумф победы великих принципов нового искусства сцены, которому он и Станиславский посвятили лучшие годы творческой жизни. В игре и успехе таких звезд МХТ'а, как Л. М. Леонидов, В. И. Качалов, И. М. Москвин и другие, так ярко и талантливо раскрывших "тайное тайных" бессмертных образов Достоевского, он усмотрел торжество мхатовского театра актера и принципа ансамбля. Зритель валом повалил на этот спектакль, охотно платил за два вечера на первые спектакли по повышенным ценам за первые места 10 рублей, за вторые – шесть рублей, за ложу – 50 рублей. Он был покорен и очарован игрою актеров, подолгу не переводил дыхания, слушая длиннейшие монологи героев, вникая в их проникновенный смысл. Отношение зрителя подтверждало, что спектаклем "Братья Карамазовы" в МХТ открывались широчайшие горизонты дальнейшего развития актерского искусства и перспективы обновления искусства драматического театра.

Интересно, что не участвовавший в постановке "Братьев Карамазовых" по причине болезни К. С. Станиславский очень высоко оценил работу Немировича-Данченко и в своей знаменитой книге "МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ" оставил такой отзыв:

"Не могу не отметить, что как раз к этому периоду относятся высшие достижения Владимира Ивановича Немировича-Данченко в области режиссуры – его замечательные инсценировки "Братьев Карамазовых" и "Бесов" Достоевского, в которых сказались одновременно и его литературная проникновенность, и его умение направлять по намеченному им углубленному руслу творчество актеров. Особенно замечательна была, по смелости сценического замысла и по яркости его выполнения, постановка "Братьев Карамазовых", в которой внешняя, декоративная сторона была сведена к скудным художественным намекам и весь центр тяжести перенесен на актеров. Некоторые из них развернулись при этом с неожиданной стороны. Леонидов в роли Мити Карамазова проявил огромный драматический темперамент, – и монументальный, шедший два вечера подряд спектакль достигал во второй части такого напряжения и захвата, что давал предчувствие какой-то новой, будущей русской трагедии"(15).

По признанию ведущих критиков, постановка "Братьев Карамазовых" была шагом безумной смелости. Многие философы и литературоведы высказались о спектакле, как самом замечательном достижении театрального искусства 20 века. Разнообразие мыслей и соображений, вызванных

спектаклем, как и особенности актерского искусства, давшего непреходящие взоры исполнительного мастерства, заслуживают особого рассмотрения.

Примечания:

1. Архив В.И.Немирович-Данченко. Музей МХАТ. №1646.Москва.
2. Архив В.И.Немирович-Данченко. Музей МХАТ, №2206, Москва.
3. "Письма В.И.Немирович-Данченко!" ТЕАТР № 10, 1968, стр. 57, Москва.
4. А.Дикий. *"Повесть о театральной юности"*. Гос. изд. "Искусство", Москва, 1957, стр. 60.
5. Там же.
6. Там же, стр. 71.
7. Там же, стр. 73.
8. Там же, стр. 75.
9. Вл. И.Немирович-Данченко. *Театральное наследие*. Том второй. Избранные письма. Гос. изд. "Искусство", Москва, 1954, стр. 296.
10. Там же, стр. 297.
11. Там же, стр. 298.
12. Там же, стр. 301.
13. Там же, стр. 302.
14. Там же, стр. 305.
15. К.С.Станиславский. *Моя жизнь в искусстве*. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. Гос. изд. "Искусство", Москва, 1954, стр. 306.

ПЕТР БОЛДЫРЕВ

ДИКТАТУРА МАССЫ И СУДЬБА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

*Чудище обло, огромно, озорно, стозебно и лайя.*

*А.Н.Радищев. Путешествие из  
Петербурга в Москву.*

*Оригинален наш русский психический строй, между прочим, и тем, что до сих пор, кажется, в истории не было еще народа менее творческого, чем мы. Разве турки.*

*К.Леонтьев. Из писем Алексееву.*

*Октябрь, социализм обогатили историю человечества и опытом духовного раскрепощения трудящихся... Вот почему закономерным продолжением политической революции в нашей стране стала революция культурная... Трудящиеся стали активными участниками культурной жизни, творцами духовных ценностей... Встреча, о которой мечтали лучшие умы человечества, историческая встреча труда и культуры, — состоялась. В истории нашей страны, в истории всей мировой культуры это был поворот огромного значения.*

*Л.Брежнев. Ленинским курсом.*

Ален Безансон, французский социолог и культуролог, автор блестящего исследования "Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, церковных и военных властей" ("Вестник РХД", № 118-119. Основная идея: советский режим — это логократия, власть ложной, т.е. искренней лжи, мертвого идеологического слова), в другой своей работе — "Россия и Советский Союз" ("Вестник РХД", № 126), приходит к заключению, что историческую оригинальность России составляет элемент принуждения и подмены общества государством. В связи с этим он предла-

гает подвергнуть анализу точность концепции псевдоморфоза, сформулированной еще О.Шпенглером ("Закат Европы", т. 2) по поводу именно дореволюционной России. Далее следует цитата из Шпенглера, которую я считаю необходимым воспроизвести:

"Я называю историческим псевдоморфозом случай, когда чужая старая культура расцветает не на своей почве с такой силой, что препятствует молодой культуре дышать, и та не может не только развить чистую собственную форму выражения, но и не может достичь полного развития самосознания."

И Безансон вопрошает уже от своего имени: "Относится ли это к русскому случаю? Ответ сложнее простого "да" или "нет" (1, стр. 164. *Здесь и далее в скобках первая цифра указывает порядковый номер по списку литературы в конце статьи, вторая – номер страницы*). Был ли русский культурный псевдоморфоз (развитие в чужой заимствованной форме) спонтанным, "естественным", или он был извращенным, авторитарным? И почему судьбой России оказался именно псевдоморфоз?

Старое правило исследования (и лечения) гласит: анализировать объект, ставить диагноз болезни намного легче по уже развитому или кризисному состоянию. Большевицкая революция, этот вскрытый нарыв, агония и обнажение России, вкуче с последующей коммунистической эрой (особенно последних ее 20-25 лет), представляют в этом отношении возможность, которой, как говорится, грех пренебречь. В исторических масштабах очень краткий, но балаганно яркий период возникновения и становления СССР, "блеска и нищеты коммунизма", оказался попутно безоговорочным приговором старой русской культуре. Как беспощадный луч, высветил он наше чадное и сумбурное, пьяное и угарное, отравленное "коктейлем" ненависти и любви, так и не осуществленное желание изнасиловать Европу, страну "лунного света" и "святых чудес" (А.Хомяков); испить до дна "чашу св. Грааля", чашу западной культуры. Эта затея оказалась галлюцинацией, дорогой "вверх", по которой мы скатились вниз. И оказались в болоте большевизма. Не пора ли очнуться и выбираться? Но куда?

#### 1.

В журнале "Голос Зарубежья" №9 (июнь 1978, стр. 19-20) я высказывал мысль, что сейчас лишь люди послесталинской социальной формации в освободительном движении в СССР в наибольшей мере обладают пониманием сути коммунизма. И не из-за каких-либо особых привилегий или заслуг. Это факт объективно-исторический, но также и субъективно-биографический. По этому поводу А.Зиновьев говорит: "Где-то в наше недавнее время (приблизительно в период с XX по XXУ съезды КПСС – П.Б.) произошел гораздо более глубокий перелом в жизни нашего общества, чем все предшествующие переломы: мы потеряли невинность, примирились с реальностью коммунизма как с нормой бытия и отбросили иллюзии" (2, стр. 162). И это правда.

Волею простой, но неотвратимой исторической хронологии коммунизм в СССР – для поколения последней 25-летней социальной фазы – стал

повседневной реальностью быта, всеобъемлющим образом жизни. Из предмета экзальтированной партийно-революционной мысли и воли эпохи революции и гражданской войны, из факта уголовно-пролетарского насилия периодов коллективизации и сталинских строек, из животного страха времен культа личности и т.д. коммунизм превратился в рутинный факт биографии каждого рядового советского "гражданина". Он отбросил излишества, стабилизировался, изжил себя в качестве "красного дракона с семью головами и десятью рогами" из библейского Апокалипсиса, обрел некоторые человекообразные черты. Но стабилизировался в таком состоянии, "которое вполне устроило бы и Сталина со всей его бандой" (Там же, стр. 43). В этих обстоятельствах и появился т.н. "советский диссидент" – резистант посткоммунистического склада, вобравший коммунизм в себя до последних низин, завершивший его и в его излишествах, и в его рутинности, как мировоззрение и как образ жизни, превзошедший его и преодолевший. Но и коммунизм в "диссиденте" объективно закончен, возведен на уровень самосознания. Открываются постепенно мистерии коммунизма, его тайные пружины и механизмы. На свет божий вылезают такие паразитические реальности, о существовании которых (как реальностей) ранее никто и не подозревал. Обнаруживается центральный факт, "субстанция" коммунизма: *он реален, но реальность его иллюзорна*. С другой стороны, именно этот факт крайне затрудняет познание коммунизма, его "деирреализацию". Она мыслима лишь изнутри, не с позиций его врагов и его апологетов, но с точки зрения его объективно самодовлеющих ценностей. Послесталинский период тем и характерен, что он указывает здесь кое-какие пути. Этот период, названный Зиновьевым "периодом Растерянности и Стабилизации", цинично и откровенно обнажил сущность советского образа жизни и, главное, е с т е с т в е н н у ю н а т у р у человека, его носителя. "В этот период, – говорит Зиновьев, – всё дерьмо советского строя жизни вылезло наружу для всеобщего обозрения и заявило о себе как о нормальной среде и пище нормального здорового человека" (Там же). То, что раньше было скрыто в конвульсиях "построения социализма", в выдуманных и действительных актах защиты от внешних и внутренних "врагов народа", сейчас, в период "развитого социалистического общества", в апогее могущества режима, сработало само собой, с неумолимой силой, как естественные законы его природы, вопреки чьему-либо желанию или нежеланию, запрету или разрешению. И именно эта "природа", советское дерьмо, "нормальная среда" на вершинах, казалась бы, своего триумфа заболевает вдруг невиданной для нее "болезнью самосознания", покрывается предраковой сыпью "диссидентства", в корчах и муках начинает по капле выдавливать из себя навеки, вроде бы, погребенные и похеренные совесть, нравственное мужество, интеллектуальную честь. Безнадежно бесплодная коммунистическая система оказалась вдруг беременной каким-то невиданным плодом. Быть может, зачался в темном чреве коммунизма никогда не явленный на Руси эмбрион самобытной культуры. И суждено нам, быть может, присутствовать при его рождении, наблюдать первый глоток воздуха, слышать его первый испуганный крик.

## 2.

Сейчас, однако, не время для "профетических" догадок и предположений. Нужны трезвые исследования. Все три книги А.Зиновьева о "зияющих высотах коммунизма" посвящены по сути доказательству одного тезиса: о принципиальном культуророборчестве советской системы.

Основной и единственной "ирреальной реальностью" русского коммунизма является логократия, идеологическая власть мертвого слова. Практически она воплощена в советской повседневности, а теоретически вдохновлена и санкционирована известной лжефилософской доктриной, носящей абсурдное с философской точки зрения, самопротиворечивое название "исторического (диалектического) материализма". Центральной категорией идеологии, интенсивно разрабатываемой уже с 30-ых годов (на что проницательно указывал еще Н.А.Бердяев, см.: 4, стр. 121-122), является категория с а м о д в и ж е н и я. На околофилософском извозчиьем жаргоне Ленина – "спонтанейность". На философских факультетах крупнейших советских университетов, кстати, существует даже соответствующий спецкурс. Опрокинутая из онтологической плоскости в социологическую (еще один из бесчисленных абсурдов советской идеологии), философская категория эта, во-первых, безвозвратно теряет свою философичность; а, во-вторых, будучи порождена гегельянствующим марксизмом, неизбежно деформирует и искажает исходные догмы собственного прародителя. Постулируется, вопреки им, примат "производственных отношений" над "производительными силами". В переводе с марксистской бракадабры на нормальный человеческий язык это означает утверждение господства политики над экономикой. Следовательно, согласно тому же марксизму, и над всеми другими сферами общественного бытия. Главной творческой силой истории оказывается уже не марксистский т.н. "неотчужденный труд", и не его, якобы, "естественный" носитель – осознавший свободу как познанную необходимость, человек, – а нечто вроде бакунинской "страсти к разрушению", всеобщий произвол. Он воплощается в обыденном повседневном, но беспощадном антагонизме "граждан" социалистической отчизны, яростно грызущих друг друга из-за лишнего куска хлеба с маслом, лишней заграничной тряпки, очередной профсоюзной путевки или внеочередной "заграничной" (в ГДР) командировки, во имя копеечной прибавки к зарплате или ради дополнительного и мизерного жилого метража, добытого по блату. Произвол всасывается каждым чуть ли не с пеленок, с материнским молоком, начинается с детского садика и школьной скамьи, с лозунгов на стенах и картинках в букваре, с патристических песен и пионерских салютов, с комсомольских воскресников и классных стенгазет. Вся бессовестная и лживая советская машина работает в одном направлении, в ней, как муха в паутине, бьется с малолетства советский человек. Заквашенный первоначально на неестественном гибриде идеи социальной справедливости (цели коммунистической утопии) и воли к неограниченному насилию (средства этой цели), т.е. того, что исторически шло от духа русской интеллигенции и от российской дес-

потической государственности, советский образ жизни давным-давно порушил этот симбиоз, беззастенчиво подменил цель средством. А затем тайно абсолютизировал последнее. В зачумленном и замороженном сознании советского обывателя, этой главной жертвы и опоры режима, реально занятого лишь грубой и примитивной борьбой за существование, "идеально" слились в один умопомрачительный ком различные причудливые, навязанные идеологией и, якобы существующие в действительности, абстракции — от различных антисоветских "элементов", классов и групп (троцкистов, империалистов, сионистов, "литературных власовцев"...), злостно и постоянно стремящихся будто бы подорвать советский строй; до мифического "мирового пролетариата" и "угнетенных народов мира", якобы занятых с утра до вечера и повсюду исключительно классовый и антиимпериалистической борьбой. Ужас весь в том, что бредовая эпопея эта, "космическая" эта фантазмагория насилия, полностью определяет собой весь "моральный кодекс строителей коммунизма". Она стоит на шкале советской морали превыше всего: выше экономической целесообразности и социальной организации, элементарного благосостояния и ценностей культуры. Это и есть утверждаемая всей мощью современного коммунизма, прочно обосновавшаяся в сознании и преломившаяся в быте советских людей, социальность в чистом виде. Основной закон ее — беззаконие, "война всех против всех", если возвратиться к несколько устарелой гоббсовской терминологии.

Исторически изменчивы лишь формы этой войны, суть ее неизменна. Это может быть коллективизация или индустриализация, освоение целины или движение ударников комтруда, "красный террор" или культ личности, антисемитизм или "холодная война", детант или гонения на инакомыслящих... Всё зависит от конъюнктуры "борьбы за коммунизм", т.е. за логократическую утопию и тоталитарную власть. Коммунизм, ведущий эту вечную войну, спонтанно и "самодвижейно" стремится элиминировать всё, что его сдерживает, что стоит на пути, — прежде всего, ограничения, идущие от цивилизации и культуры. Ему не нужны и обременительны такие "устарелые" культурогемы, как, скажем, рациональное хозяйствование, твердое законодательство, крепкая семья, свободное искусство, равное право, справедливая мораль. Он, в лучших случаях, всё это терпит, и во всех случаях до неузнаваемости искажает. Их место сполна занимает порожденная коммунистической социальностью, на совесть обслуживающая ее государственная машина — партийно-административный карательный аппарат. Рождается стандартная "структурная" тоталитарная модель, состоящая из двух звеньев одной цепи: 1/ естественная голая социальность, ч и с т ы й всеобщественный произвол; 2/ уравнивающий его, подавляющий, н а п р а в л я ю щ и й произвол государства. Таков советский тоталитаризм, смертельный враг и могильщик цивилизации, "перерождение всех основ культуры". А.Зиновьев глубочайшим образом прав, считая советский коммунизм осуществленной в л а с т ь ю н а р о д а, подлинной массовой "свободой" (своеволием), доведенной в советском обществе до своего логического предела. Это и есть та "карательная мощь



сослуживцев, коллег, друзей", о которой он несколько стилизованно говорит в одном из своих последних выступлений (3, стр. 14). И "карательная мощь" эта – "материя", источник высшей власти в стране. Всё советское государство является ее формой и продолжением. Здесь перед нами, фигурально говоря, пример "всенародного государства". Зря только Зиновьев употребляет этот термин – "народ", со времен славянофилов и народников действующий на русских народопоклонников, как красная тряпка на быка, если он употреблен ненароком даже в слегка отрицательном выражении. Надо было, несмотря на стилистику, употребить более определенный термин – "общество", "масса", "население", наконец. Эмоций было бы меньше, понимания – больше. И культурологически это было бы правильной.

### 3.

Дело, конечно, не в игре терминами. Советский "народ", "население", "общество", – как бы вы это ни назвали, обладает некой группой признаков, очевидно делающих его весьма странным образованием, каким-то рыхлым, аморфным, несмотря на всю его несомненную "карательную мощь". Его отношения с государством не есть лишь отношение материи и формы, пассивного оригинала и деспотической копии, они много сложнее, они напряженно амбивалентны. Между ними существует извращенная сраченность и сильнейшая обратная связь.

Коммунистическое общество, как и коммунизм в целом, есть сочетание утопии и действительности; оно одновременно иллюзорно и реально. Реально в одном лишь качестве – как материал, голая стихийная сила, гигантский производитель и бездонный резервуар, откуда черпает без конца и насыщает свою волю к власти Голиаф тоталитарного государства. Иллюзорно же советское общество потому, что собственного качества, формы, собственного структурированного бытия, не имеет. Оно – двойник собственного двойника, тоталитарного государства. Являясь безусловным истоком, сувереном высшей власти в стране, общество само об этом не подозревает. Государство как бы сделало ему насильственный укол, инъекцию аминазина. Функции последнего берет на себя всё тот же оглуляющий идеологический бред, реализации которого во что бы то ни стало требует от общества государство. Общество органически неспособно его осуществить, ибо именно под его влиянием оно впало в глубокий наркотический сон, апатию, стагнацию, находится в обморочном состоянии. Вывести его из этого состояния может только радикальный отказ от идеологического наркоза. Само на этот отказ общество не способно. Государство – еще менее, ибо идеологическая утопия есть его единственные легитимность и суть. Оно, следовательно, может лишь время от времени гальванизировать, "гиббернизировать" летаргическое общество, санкционируя всевозможные искусственные "общественные мероприятия".

Государство поглощает общество, до деталей узурпирует его права и обязанности, заменяет своей структурой, оставаясь в то же время его двойником, плотью от плоти и кровью от крови породившей и вскармливающей его собою стихии-жертвы.

Именно в поглощении своего "демиурга"-общества получает советское государство суррогат и иллюзию реализации самого себя, т.е. логократической коммунистической утопии. Гипнотизация и наркотизация общества государством здесь, если выразить ее в образах несколько мрачной аллегории, напоминает укусы вампиром своей жертвы. Извращенный этот акт убивает жертву, но рождает "живого мертвеца", сомнамбулу, воспаленную химеру, ведущую призрачную и паразитическую, жестокую и грязную, демонически имитированную, нечеловеческую "жизнь". Таково советское общество. Безансон близок к истине, хотя и односторонен, следующим образом определяя интересующий нас предмет: "Общество покалечено. Сведенное до минимума экспансией государственной сферы, одурманенное идеологическим карцером, обескровленное периодической резней, организуемой партией в периоды параноидальных кризисов, оно неспособно создать... достойный жизненный стиль... нет общества, т.е. коллектива людей, связанных организационными отношениями и взаимными услугами. Всё это взяло на себя государство. Общество сведено до состояния тени в Гадесе". (1, стр. 162-163).

Всё это верно с одним дополнением, уже внесенным выше. Государство – двойник общества, искалечившее его, впитавшее в себя его плоть и кровь, превратившее его в химеру и бред. Но и оно само искалечено и само бредит, отравленное своим демиургом-двойником и своей жертвой, ибо создано по ее модели. Государство и общество при коммунизме – это сямские близнецы, единоутробные, отмеченные одним и тем же проклятием. Это спаренный двуликий наркоман, одна "ипостась" которого (общество) только "кайфует", а вторая (государство) еще и рыщет по миру в поисках дополнительных наркотических доз. И в этих "поисках", т.е. в приобретении и овладении источниками для расширения своей утопии и овладении источниками для расширения своей власти, коммунистическое государство, как и всякий неудовлетворенный наркоман, ведет себя убийственно рационально. Более того, проявляет недоступные при нормальных обстоятельствах чудеса ловкости и нахальства, настойчивости и находчивости, беспринципности и беззастенчивости, изворотливости и лжи. И никакой "международный интерпол", в лице всего западного мира (плюс Китай), не в состоянии до сих пор пресечь зарвавшегося наркомана.

#### 4.

Итак, суверен верховной власти в СССР – общество, спонтанно моделирующее соответствующую государственную форму и являющееся единым и единственным ее почвенным истоком. "Оригинальность" же советского общества в том, что оно и не подозревает о своей суверенности. И это из-за того, что навязав свою иллюзию, государство поработило общество. Коммунистическое общество – не государство, не собственно власть. Оно – ее всеобщий генератор, но, как небо от земли, далеко от соответствующего самочувствия. Мы вынуждены искать для его обозначения другие, внесоциальные и внесоциальные характеристики. Ближе всего здесь подходит социально-психологическое понятие массы, если

описывать ее более психологически, чем социально. Мы стараемся дать психологический портрет "массовой души" по классическим трудам в этой области Ле Бона "Психология масс" и Мак Дугалла "Коллективная Душа", как они нашли отражение и толкование в работах Зигмунда Фрейда. Проблема распадается на две составляющие: описание индивида в массе и описание самой массы. Начать необходимо с первого.

Прежде всего обращает на себя внимание странное обстоятельство, о котором писал еще Зигиле, а затем Ле Бон. В русской философско-психологической литературе на эту тему, в частности, мне известна статья С.Л.Франка из области коллективной психологии о таинственной, отчуждающей власти коллектива над индивидуальной душой (18). Автор приходит к выводу, совпадающему с Ле Боном. Последний отмечает: "В психологической массе самое странное следующее: какого бы рода не были составляющие ее индивиды, какими бы схожими или несхожими ни были бы их образ жизни, занятия, их характер и степень интеллигентности, но одним только фактом своего превращения в массу они приобретают коллективную душу (вспомним древнее римское изречение: "трое – уже коллектив" – П.Б.), в силу которой они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы" (цит. по: 8, стр. 81). В массе стираются индивидуальные достижения, исчезает индивидуальное разнообразие. На первое место выступает расовое бессознательное (например, в форме шовинизма – П.Б.), "бесчисленные следы прародителей, следы, из которых создается расовая душа" (там же, стр. 82). Метаморфоза совершается под воздействием следующих причин: 1/ в силу одного лишь факта включения в массу (множество) индивид испытывает чувство не о д о л и м о й м о щ и, позволяющей ему отдаться бессознательным влечениям, которые в противном случае он вынужден был бы подавлять; анонимность и безответственность массы лишь способствуют этому "раскрепощению"; 2/ масса – среда з а р а з и т е л ь н а я, в результате чего индивид очень легко подчиняет свои обычно эгоцентрические действия и чувства массовому, т.е. общему интересу; 3/ и, наконец, свойственная массе в н у ш а е м о с т ь подвергает индивида в своего рода гипнотическое состояние, парализует индивидуальную волю, замещая ее бессознательным и непреодолимым стремлениям к действиям, соответствующим внушению. Ле Бон заключает: "Следовательно, главные отличительные признаки находящегося в массе индивида таковы: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, ориентация мыслей и чувств в одном и том же направлении вследствие внушения и заражения, тенденция к безотлагательному осуществлению внушенных идей. Индивид не является больше самим собой, он стал безвольным автоматом" (там же, стр. 84).

Перед нами законченный психологический портрет варвара, двуногой человеческой бестии, "обладающей спонтанностью, порывистостью, дикостью, а также энтузиазмом и героизмом примитивных существ" (там же, стр. 85). Индекс его интеллекта крайне снижен, аффективность – на-

оборот, повышена. Он параноидален. Это что-то вроде "естественного человека" Руссо (*mutatis mutandis*, конечно). Противостоит эта бестия не обществу, не коллективу, а культуре, — поскольку последняя является прерогативой личности. Впрочем, Фрейд замечает в начертанном Ле Бона портрете существенный пробел. При сравнении с гипнозом опущена центральная фигура, субъект гипноза, а именно гипнотизер. Кто играет его роль для массы?

В применении к интересующему нас предмету — советской массе — мы уже ответили на этот вопрос. Роль мага-гипнотизера здесь отведена государству. А манипулирует этот "медиум" (вызывая души умерших, чтобы оккультить души живых), конечно же, идеологией. Как говорит Безансон: "Не имея возможности воздействовать на реальность, они (большевики — П.Б.) сохранили возможность воздействовать на представление об этой реальности". Воздействовать, используя рычаг идеологии. Путем авторитарного ремоделирования представления. Разрывая контакт с реальностью. "Идеологию, — продолжает Безансон, — можно рассматривать, в некоторых отношениях, как замок, прочно блокирующий возвращение к реальности, мешающий, можно бы сказать, *проснуться*. Идеологический язык, осуществляя немедленную интерпретацию всего того, что может произойти... сохраняет место сна в реальности, постоянно легитимизирует действия государства. Навязывая идеологию, государство сохраняет защитную функцию безумия" (1, стр. 161-162). Добавим: сохраняет защитную функцию — для защиты себя (от массы); и защиты посредством как раз безумия массы или массового безумия.

Какова же эта масса, "массовая душа", столь близкая к состоянию безумия? Ле Бон выделяет следующие ее признаки: импульсивность, изменчивость, возбудимость, руководство бессознательным, непостоянство воли, чувство всемогущества и безнаказанности, легковерие и некритичность, отсутствие сомнения и неуверенности, экстремизм и максимализм, нетерпимость и подвластность авторитету, уважение к силе и насилию, желание отдаться господину и бояться его, наконец, глубокая ретроградность и благоговение перед традицией.

В отношении нравственности масс суждение Ле Бона двойственно. Масса принципиально безнравственна, ибо находится под влиянием инстинктивных позывов. Однако под воздействием внушения массы способны и на бескорыстие, и на преданность идеалу. Здесь сказывается роль вождей. В общем и целом, по Ле Бону, "массовую душу" можно отождествить с душой примитивного человека или ребенка. В подобной душе сосуществуют и согласовываются без конфликта самые взаимоотрицающие идеи. Всё это создает прекрасную почву для идеологического оболванивания масс. А также, отметим, для раздвоения личности в массе (это, впрочем, очень сложный и отдельный вопрос).

Масса весьма склонна попадать под магическую табуальную власть слов. То же свойство замечено у примитивных племен. Массы боятся истины, требуют иллюзий. "Ирреальное для них всегда имеет приоритет над реальным... массы имеют явную тенденцию не видеть между ними разли-

цы" (8, стр. 86, 87). Резюмирующее суждение о психической деятельности неорганизованной массы ("коллективного индивида") находим у Мак Дугалла: "Такая масса – крайне возбудима, импульсивна, страстна, неустойчива, непоследовательна и нерешительна и притом в своих действиях всегда готова к крайностям, ей доступны лишь более грубые страсти и более элементарные чувства, она чрезвычайно поддается внушению, рассуждает легкомысленно, опрометчива в суждениях и способна воспринимать лишь простейшие и наименее совершенные выводы и аргументы, массу легко направлять и легко потрясти, она лишена самосознания, самоуважения и чувства ответственности, но *дает сознанию собственной мощи толкать ее на такие злодеяния, какие мы можем ожидать лишь от абсолютной и безответственной власти* (курсив мой – П.Б.). Она ведет себя скорее как невоспитанный ребенок или как оставшийся без надзора дикарь... в худших случаях ее поведение больше похоже на поведение стаи диких животных, чем на поведение человеческий существ". (Там же, стр. 93-94).

Мак Дугалл подтверждает тезис Ле Бона о коллективном снижении интеллекта массы, где незначительные интеллекты "свертывают" более высокие до своего уровня. Аффективный климат массы вообще не благоприятствует работе ума. Кроме того, отдельная личность чаще всего запугана в массе, которая заставляет таким образом снижать сознание ответственности каждого до уровня почти полной безответственности всех.

Вчитаемся внимательней, и мы узнаем в вышеприведенном "групповом портрете" нечто чрезвычайно знакомое. Конечно же, это Советский Союз, коммунистический быт, огромная полублатная социалистическая "коммуналка". Все ее атрибуты, весь ее психический строй здесь налицо, и почти без гипертрофии, как бы отпечатанные бесстрастным дагерротипом. Ее и имел в виду А.Безансон, строя схему советского общества, "сведенного до состояния тени в Гадесе". И А.Зиновьев использовал по существу те же мазки, живописуя "зияющие высоты" социализма, "социальные законы" жизни в стране, с которой коммунизм живьем содрал кожу, обнажил ее отравленное ненавистью нутро, ее задавленную "карающей мощью сослуживцев" совесть, ее растоптанный "властью народа" интеллект. Безусловно, как и в любом корректном научном исследовании, "массовая душа" Ле Бона и Мак Дугалла результируют собою лишь определенный символ, лишь некий "идеальный тип". Но как раз с помощью раблезианских зарисовок А.Зиновьева, новой "кюстиниады" А.Безансона и им подобных, мы, наконец, убеждаемся, что ближе всего к этому "типу" стоит советский массовый человек, являя собой, может быть, наиболее яркий в истории образец ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ МАСС, – и во всегосударственном, всенародном масштабе.

Наше время вообще есть эпоха активного вторжения огромных масс в историю. И это не один лишь демографический факт, это факт судьбоносный, историософский. Ортега-и-Гассет недаром и не случайно ввел в интеллектуальный обиход XX века выражение "восстание масс". Мы бы перефразировали: мировая эгалитарная контрреволю-

ц и я – как реакция на идущую с эпохи Возрождения культурную революцию, на созданное ею сложное, духовно иерархическое здание культуры. Самая грандиозная и роковая реакция произошла и происходит (парадоксально) в наименее культурной стране – России.

Низовая эгалитарная ("коммунальная") масса, как мы видели, определяется не столько социальными, сколько психологическими признаками. И это делает ее не знающей ни географических, ни социально-политических границ. Она везде – поистине знамение века. И там, где она есть, она неумолимо господствует. Есть коммунистические, фашистские, религиозно-фанатические массы. Но есть массы и демократические, "буржуазно"-конформистские. Современная западная демократия все же (пока) преимущественно формальная диктатура масс, выраженная в принципе господства большинства, в количественном принципе голосования. По существу же на Западе властвуют профессиональные элиты. Социализм – законченная, существенная, "материальная" диктатура масс, закрепленная соответствующей ей формой (и институциональной нормой) логократического тоталитарного государства.

Бердяев писал: "Вторжение масс есть вторжение огромных количеств людей, у которых не выражена личность, нет качественных определений... Это создает кризис цивилизации... Народная масса в прошлом имела свою духовную культуру, основанную на религиозной вере, массы... лишены всякой духовной культуры и они дорожат только мифами и символами, которые им демагогически внушены... При этом всегда происходит идолотворение" (5, стр. 103).

Идолотворение вместо творчества, антиномия массы и культуры, катастрофичней всего поставленная сейчас в СССР, возвращает нас к вопросам о судьбе русской культуры, о ее заимствованном характере, о том, что же такое русский культурный псевдоморфоз?

## 5.

К характеристикам Ле Бона "массовой души" Фрейд делает существенную оговорку. Он считает, что приведенные описания относятся преимущественно к недолговечным массам, состоящим из разнородных индивидов, скученных каким-либо преходящим интересом. Такие массы типичны, например, для демонстраций, манифестаций, восстаний, мятежей и особенно для революций и контрреволюций. Французская революция, по мнению Фрейда, оказала на выводы Ле Бона решающее влияние. Отмечал это обстоятельство и Мак Дугалл.

Однако именно советский социалистический "ГУЛаг", советская тоталитарная "коммуналка" являются наиболее подходящим, так сказать, "обрамлением" к портрету "массовой души". И ее апофеозом. Советский массовый человек и советский социалистический стиль жизни – колоритнейшая иллюстрация и наиболее аутентичная постановка переживаемого ныне миром "восстания масс".

Всё дело в том, что СССР, несмотря на видимую стагнацию и консерватизм, до сих пор ввергнут в мощный и набирающий силу революци-

онный процесс. Политическая революция закончилась с эпохой Ленина, социально-экономическая — с эпохой Сталина. Психологическая — продолжается поныне. Более того, именно в последние 20-25 лет, когда закончился ее латентный период, она, наконец, самым серьезным образом заявила о себе. Ее-то преимущественно имеет в виду Зиновьев, пророча в своих "гойевских офортах": "Пройдет каких-нибудь сто лет, и история Москвы нашего периода будет интриговать человечество не меньше, чем история Парижа времен Великой Французской Революции. Биографию Брежнева изучат по минутам. А Солженицына забудут.. А жаль!.. — Что поделаешь! Такова жизнь" (2, стр. 230). В извращенных коммунистических терминах (см. эпиграф из Брежнева) психологическая революция названа "культурной революцией". Коммунистические заправки, видимо, ненароком запамятовали в своем рвении, что Китай все же — не СССР.

Сравнение "истории Москвы нашего периода" (и вообще русской революции) с французской революцией (и вообще с революцией) в данном случае, однако, хромает. Точнее было бы определить русскую революцию как контрреволюцию. Или реакцию. На что? В более общей форме мы уже ответили на этот вопрос. Конкретней отвечает на него П.Б.Струве: "Большевистский переворот и большевистское владычество есть социальная и политическая реакция эгалитарных низов (масс — П.Б.) против многовековой социальной и экономической европеизации России" (11, стр. 19). Струве, как социальный историк, сознательно сужает аспект, по-видимому, из соображений методологических. На самом деле, он шире. Европеизация была не только социально-политической, но и общекультурной, в том числе, и прежде всего, психологической. Она воздействовала и деформировала в целом строй народной души. Соответственно и реакция на нее была первой всего психологической и антикультурной. Только выявилось это сполна значительно позднее — уже в наше время.

Большевики фактически выполнили заветы Данилевского и К.Леонтьева: покончить с европейничаньем — болезнью русской жизни (21, гл. XI). "Нам, русским, — восклицает К.Леонтьев, — надо совершенно *сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, — стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни всечеловечества*" (6, стр. 197). Это пророческое требование осуществлено только наполовину: сорвались — сорвались, а вот "встать во главе" — не получилось. Напротив, оказались в глубоком заду.

Русский исторический путь, до того сравнительно прямой и примитивный (не было практически никакой собственно культуры; влияния Византии и татаро-монголов в этом отношении не в счет), с определенного периода вдруг катастрофически расщепился. Произошло это примерно с середины восемнадцатого века, с присоединения, солидно к этому времени ополяченной, Украины (но, конечно, не по причине единственно этого). Или, пожалуй, процесс этот начался еще раньше: с натиска Польши на Москву, со Смутного времени и Лжедмитриев. А может быть, еще раньше: с Грозного, с Ливонской войны; и даже с конца XIV — начала XV ве-

ков, с "первого" литовского католика, Великого Князя литовского Витовта. Ведь недаром пришел к выводу П.Б.Струве: "Витовту, с точки зрения распада или раздвоения, еще вернее расстроения русской народности, должно быть приписано воистину роковое значение" (11, стр. 191). Что же произошло? Почему азиатская варварская Русь вынуждена была повернуться лицом к просвещенному Западу?

Предоставим слово английскому историку Арнольду Тойнби. Но сначала – небольшое отступление. Как известно, русские в эмиграции не очень-то жалуют западных ученых, занимающихся историей России и СССР. Считается, что они недостаточно компетентны и заведомо предвзяты, относятся ко всему русскому чуть ли не с ненавистью. Приведем лишь два свежих примера. Так, совсем "свежий", очень и очень недавний рефьюджи из СССР, историк Михаил Бернштам, еще не понюхавши, как говорится, пороху, спешит уже на весь свет объявить об "упадке ремесла в новейшей западной историографии" (!).

Эти кавалерийские вылазки охотно печатаются и перепечатываются русскоязычными эмигрантскими журналами. Априорно констатируя в работах западных обшориков "скжение проблематики... односторонность и тенденциозность обобщающих суждений, иногда доходящая... до расистских высказываний о русских национальных традициях и ценностях" (12, стр. 162), Бернштам затем во всеуслышание заявляет: "...пока ясно, что со многими западными исследователями России и СССР разговор на рациональном языке научной методологии – бесполезен и бесперспективен. И поэтому пора ставить точку" (там же, стр. 186). Становится искренне его жаль: начинать с "точки" – весьма прискорбная и чреватая тенденция. Еще Гуго Гроций предупреждал: кто начинает с нерасположения (критики, отрицания), до истины не доберется.

Или вот маститая И.Иловайская. Для нее западная историография – что-то вроде сплошного бреда, создающего образ России в "отрицательно-мистическом освещении". "Удивительно, правда, – патетически и жалобно восклицает она, – как редко встречается в западных исследованиях российской истории спокойный, трезвый и непредвзятый подход" (13, стр. 194). А заканчивает Иловайская плохо скрытой угрозой: "Очень жаль, что профессор Пайпс (речь идет о серьезном и методологически весьма выдержанном, хотя и не лишенном недостатков, труде Ричарда Пайпса "Россия при старом режиме" – П.Б.) тратит свои недюжинные силы и познания на неточное, несправедливое и *чрезвычайно опасное для всего мира* (курсив мой – П.Б.) толкование истории России..." (Там же, стр. 206). Почему опасное? Для кого может быть опасно "толкование", т.е. научно-историческое исследование? Кого так страшат тексты? Можно подумать, что в книге Пайпса мы имеем чуть ли не новый "Коммунистический манифест"!

Вернемся к Арнольду Тойнби. Ему, как ни странно, повезло. В отзывах привередливой и капризной, склонной к мифотворчеству и идолотворению, русской публики он заметно выделен из круга "беодолаг" типа профессора Пайпса. Вот как, например, оценивается Тойнби в крупном рус-



ском эмигрантском альманахе "Мосты" (№ 2, 1959, стр. 338): "Взгляды Тойнби выгодно отличаются от многих других объяснений нашего времени, — в первую очередь тем, что в них отсутствует пристрастие... Нет в них и следа так отравляющих современное сознание националистических чувств, отталкивания от других народов, вражды и ненависти к ним. Тойнби свободен от этих чувств; с беспристрастием подлинного большого ученого он одинаково относится и к "Западу" и к "Востоку"... И если у него можно усмотреть предубеждение и предвзятость (все-таки! — П.Б.), то эта предвзятость будет только естественной для ученого: его зависимость от собственной теории, от созданной им самим схемы." Последнее, по нашему мнению, как раз и есть общее, неизбежное, но во многом положительное свойство всякой подлинной, в том числе и западной историографии. Включая и труды Р.Пайпса.

Итак, в чем же видит Тойнби суть конфликта России и Запада, как объясняет он историческую дихотомию "Запада" и "Востока", на каких "дрожжах" заквашен с его точки зрения русский псевдоморфоз?

Тойнби считает, что имитация западной культуры в России диктовалась главным образом инстинктом самосохранения. Это была своего рода самозащита: "...в течение последних шестисот лет Россия стояла под непрерывным и все усиливающимся давлением со стороны Запада, пока, наконец, не осознала, что единственным средством отстоять себя было воспользоваться оружием самого Запада" (14, стр. 328). К семнадцатому веку молодая еще западная наука сумела, тем не менее, преуспеть в развитии военной техники, что позволило Польше и Швеции бить Россию на военных полях. К восемнадцатому веку Россия не имела уже иного выхода, кроме заимствования западной цивилизации, иначе с исторической точки зрения она была бы обречена. Прямое и сознательное заимствование явилось делом Петра I, спасшего Россию актом первого в ее истории, по выражению Герцена, "обрития русской бороды". Петр "прорубил окно в Европу", насильственным путем превратил Россию в некое подобие западной державы. Дальше этого подобия, однако, дело не пошло, ибо европеизация оказалась не по плечу русским, поверхностной и внешней. "К несчастью, — пишет Тойнби, — не-европейская страна (хотя бы и огромная) не в состоянии конкурировать с Западом в технике. С семнадцатого века развитие техники в Европе пошло ускоренным темпом... В 1914 году повторилось то, что было на 200 лет раньше в войне со шведами — Россия оказалась в военной технике слабее своих противников. Лекарство Ленина было тем же самым, что и Петра Великого, только ввиду большей опасности, оно было значительно сильнее" (там же, стр. 329).

Эскалация технической цивилизации неизбежно сопровождается инфильтрацией ценностей культуры. Это и оказалось судьбой России. На невозделанном русском поле чертополохом взросло западное культурное семя, дав все же запоздалый, но спелый плод в лице нашего "Серебряного века". Россия заплатила за него дорогой ценой.

Тройственным расколом ответила "посконная и сермяжная" Русь на

свою насильственную европеизацию. Это был раскол "почвы" и верховной власти; власти и интеллигенции и той же "почвы". Большевистская "революция" (контрреволюция) и явилась — эмоционально (психологически) и исторически — "эгалитарной реакцией некультурных и ослепленных низов против более дифференцированных форм общественного и политического бытия, носителями которого были верховная власть и культурные верхи общества..." (11, стр. 19). А подлинной революцией была именно трехсотлетняя европеизация, растроившая Россию. Большевики устранили расщепление, развязав глухую и сдавленную, но от этого еще более неодолимую и непримиримую ненависть россиян к засилью западной культуры, — неприязнь, скопившуюся за несколько веков в некультурной низовой массе российского населения. Но устранили ценой уничтожения, аннигиляции этой самой имитированной культуры (в пользу полного бескультурья), успевшей все же за длительный период более или менее устояться на Руси. И если этот "европейский" период был, историософски говоря, как бы "отрицанием" России, то период большевистского господства — это "отрицание отрицания", реновация, *aufheben* (Гегель) исконно русских, принципиально антикультурных начал: не преодоленной христианством природной, языческой, дионисийской стихии и аскетически-монашеского православия. Они были восстановлены в до неузнаваемости изуродованной форме, демонизированы "вальпургиевой ночью" большевистской эпохи, трансформированы в оргию сперва "революционного", а затем государственно-партийного насилия (диктатуры пролетариата во имя пролетариата над самим пролетариатом) — насилия, которое так и не встретило маломальски серьезного сопротивления со стороны т.н. "трудящихся масс", т.е. общенародной "массовой души". В социально-политической же плоскости, говоря словами П.Б.Струве, совершился по существу "возврат в области социальной к "тягловому укладу", к "лейтургическому" государству XV-XVII вв., в области политической — к той резкой форме московской деспотии, которая временно воплотилась во второй половине XVI века в фигуре Ивана Грозного". (Там же, стр. 19).

И здесь мы возвращаемся к еще одной — третьей, исконной доминанте русской истории: к началу государственного принуждения, к той самой подмене общества государством, с которой мы и начинали наши рассуждения и которую мы уже упоминали в связи с ссылкой на Безансона. Вот что писал по этому поводу в "порезформенном" 1862 году один из крупнейших русских историков и правоведов, "либеральный консерватор" Б.Н. Чичерин:

"Отличительная черта русской истории, в сравнении с историей европейских народов, состоит в преобладании начала власти. Со времен призвания варягов, когда новгородские послы ровно тысячу лет тому назад, объявили неспособность общества к самоуправлению и передали землю во власть чужестранных князей, общественная инициатива играла у нас слишком незначительную роль. Русский человек всегда был способен подчиняться, жертвовать собой, выносить на своих плечах тяжелое бремя, на

него возложенное, нежели становиться зачинателем какого бы то ни было дела. Только в крайних случаях, когда государству грозило конечное разрушение, народ вставал, как один человек, изгонял врагов, водворял порядок, а затем снова возлагал всю власть и всю деятельность на правительство, возвращаясь к прежнему страдательному положению, к растительному процессу жизни. Власть расширяла, строила и скрепляла громадное тело, которое сделалось русской империей. Власть стояла во главе развития, власть насаждала просвещение, обнимая своей деятельностью всю жизнь народа – от государственного устройства до частного быта. Величайший человек русской земли, – Петр Великий сосредоточивает в себе весь смысл нашей прошедшей истории" (15, стр. 166). Итак, не было на Руси с п о н т а н н о г о развития, хотя бы и в заимствованных с Запада или откуда-либо еще формах. Всё без остатка брало на себя государство. По известной формуле В.О.Ключевского: "государство пухло, народ хирел". "Несчастье России и главная причина катастрофического характера русской революции и состоит в том, что народ, население, общество (назовите как хотите) не было в надлежащей постепенности привлечено и привлекаемо к активному участию в государственной жизни и государственной власти" (11, стр. 314). Добавим от себя: к участию и в культурном строительстве.

Так мы получаем возможность ответить на вопрос о характере русского псевдоморфоза. Он как бы перекликается с характером русского народа. Еще Герцен констатировал женственность этого характера, нехватку в нем инициативы и энергии. Славянской натуре как бы недостает чего-то, чтобы пробудиться, она ждет толчка извне. Этот толчок на Руси всегда брало на себя государство. Бердяев, со своей стороны, отмечает в русских, в отличие от европейцев, "огромную силу стихии и сравнительную слабость формы" (7, стр. 6), мешающие культурному творчеству. В душе русского как бы отразилась безгранность и бесконечность русской равнины; мало внутренней детерминации, недостает чувства меры. Всё это чуждо аполлоническому характеру культуры, лежащим в ее основе началам меры и формы, категории и нормы. Россия, помимо исторических обстоятельств, еще как бы и п р и р о д н о была обречена на псевдоморфоз. И на псевдоморфоз а в т о р и т а р н ы й. "Авторитарный способ имитации делает из русского псевдоморфоза особый вид – *извращенное подражание*. Это Византия – без высокого христианства, монгольская империя без права и чести, западная монархия без собственности и свободы. Имитация была постоянно отравлена завистью и ненавистью и, как писал Шпенглер, "вместо взлета вверх жизненных независимых сил, только соки ненависти к далеким силам питают гигантские ветви". (1, стр. 164).

В наше время положение лишь усугубилось. Россия воистину на краю пропасти. Ответственна за это ее бессмысленно-трагическая история, финал которой – коммунизм. Петербургская деспотия, отлившая свою суть в рыхлой уваровской формуле "православие, самодержавие, народность"; с агонизирующей, трагически-бессмысленной фигурой Распутина в кон-

це, не имела все же, да и не могла иметь, неограниченных притязаний. В ней отнюдь не было достигнуто психологическое господство масс. Напротив, между массой и культурно-государственной элитой существовал глубокий раскол, постепенно ужесточающийся и перешедший к началу XX века в непримиримый антагонизм. Он и привел к взрыву. Большевизм смел Петербургское государство, аннулировал долгий "европейский" период русской истории. Он устранил главные внутренние противоречия, раздиравшее насильственно европеизировавшееся русское общество, уничтожив заодно два из трех основных его социальных и психологических агентов-полюсов — интеллигенцию и государственную власть. Но оставил последнего агента и главного — *м а с с у*, ибо выразил в конечном счете ее именно волю.

Не осталось в большевистской России внутренних антагонизмов, кроме одного внешнего: между Россией и мировой культурой, Россией и миром. Внутренняя организация социалистического общества и государства сведена до самого примитивного уровня, сравнимого разве что с уровнем Московии времен Ивана Грозного. Но зато доведены до логического конца господствовавшие тенденции и глубинные процессы того царства (и предшествующих ему веков), — процессы, которые обескровила и искривила впоследствии лишь начавшаяся европеизация, русский авторитарный псевдоморфоз. Центральная среди этих тенденций — возрастающее влияние на государство низовой массы, оттесняющей от кормила правления аристократию, идентифицирующей себя с государством, отождествляющей с собою, со своей "душою" самодержавную неограниченную власть. Опричина Ивана Грозного здесь — извращенный, но своего рода классический образец. Господствующий "массовый", "коммунальный" стиль жизни, к которому Русь тяготела веками, пришел здесь к своему триумфу.

Жестокая историческая необходимость европеизации прервала на время этот процесс. Масса на Руси и порожденное ею государство стали терпеть поражения. Ошеломляющий реванш взяла "массовая душа" и русское "лейтургическое государство" в большевистской контрреволюции и коммунистическом владычестве 20-го века, придя, наконец, к неограниченной тоталитарной власти, доведя до логического конца (и исторического тупика) саму себя и свой, в общем, присущий любой массе, культуроненавистнический эсхатологизм и нигилистический инстинкт.

Упразднив культуру, тираническое психологическое господство массы в СССР упразднило и традицию русского авторитарного псевдоморфоза, заменив его тем, что названо у Безансона *п с е в д о м о р ф о з о м п с е в д о м о р ф о з а*. (Обратите внимание, и здесь "отрицание отрицания"!)." Карикатурно имитируя старый русский псевдоморфоз и его исторические формы (в стремлении втиснуть в одежды реальности свои идеологические галлюцинации) советский режим выступает в качестве абсолютного консерватора. По отношению же к Западу он противоположен: Запад все менее образец, точнее, отрицательный образец, предмет откровенной ненависти и зависти, подлежащий уничтожению. Здесь СССР, напротив, крайне революционен. Безансон заключает: "Таким образом, мы имеем де-

ло со странным государством, одновременно всемогущим и не имеющим собственной сути (суть эта – в реальном господстве "массовой души – П.Б.)... Коммунистическая утопия ответственна за это положение... Именно тогда, когда СССР больше всего походит на Россию и, казалось бы, надевает облик вечности, тогда он наиболее революционен (стремится уничтожить Запад – П.Б.) и тогда следует его трактовать как коммунистическую державу" (1, стр. 165).

Круг замыкается, парадоксов вроде бы и нет. СССР, подобно голому королю из андерсеновской сказки, остранным "слит" со своим сброшенным "царским одеянием", – уничтоженной им, несуществующей, но вновь "встающей из гроба, обезображенной долгим там пребыванием" Россией (там же, стр. 157).

Тоталитарный молох осуществляет всемогущее, но ирреальное государство-миф; и бессильное, но реальное в своем психологическом всемогуществе общество-массу. Культура перемолота этими жерновами, принесена им в жертву. Но она, как ни странно, при социализме – есть. Как пошутил мой приятель, бывший советский "подпольщик-диссидент" (в интервью провинциальной американской газете): "Министерство культуры – вот "культура" в СССР. И это высшее и символическое "достижение" в истории мировой культуры".

Это и есть "встреча труда и культуры", "творческое раскрепощение трудящихся масс", "революционно" (контрреволюционно) осуществленное самими массами и врученное на сохранность ими же созданному всемогущему государству. И это действительно "поворот огромного значения" в истории мировой и русской культуры. Ибо предвещает ее скорый конец. О нем-то и заявляют хвастливо (на своем галлюцинаторном языке в полной уверенности, что так и будет) лидеры "первого в мире социалистического государства", выполняющего, как это теперь очевидно, строго определенный "м а с с о в ы й" социальный заказ.

Так что в шутке моего приятеля доля правды, к несчастью, оказывается значительно больше "щепотки соли".

## 6.

Остается нанести еще несколько штрихов. Два главных свойства "массовой души" позволят нам расставить последние акценты. Вспомним их: снижение интеллекта массы и способность масс к эмоциональному заражению.

Не подлежит сомнению фундаментальная роль общины в русском историческом развитии. Славянофилы пели ей дифирамбы. Она отмечена во многих исторических трудах. Можно предположить, что именно ради сохранения общины и коллективного духа передали новгородцы на заре русской истории власть чужеземным князьям. А после 1861 г. община открыто становится официально-признанным элементом социально-экономической структуры в России. Что же такое община, какое "вечное начало" русской истории она собой выражает?

С социально-экономической точки зрения ответ более или менее ясен. "На всем пространстве русской социальной и экономической истории, — пишет русский историк, — свобода и свободная хозяйственность борется с принуждением и связанной хозяйственностью. И русская государственность, и русская общественность в этом отношении исторически двулики: один из этих ликов обращен к свободе, другой к принуждению в самом простом и полном смысле слова." И более того: "...с о ц и а л и с т и ч е с к а я р е в о л ю ц и я ХХ века (в России — П.Б.) есть грандиозная реакция почвенных сил принуждения против таких же почвенных сил свободы в экономическом и социальном развитии России и ее народов" (11, стр. 6-7). Очевидно, что под "почвенными силами принуждения" подразумевается именно принудительная сила общины, по самому социально-экономическому принципу своему — коллективному владению, общинной собственности — не допускавшая экономической и социальной свободы лица. Но как обстоит дело в сфере психологической?

Обратимся к знатоку и высокому ценителю, "гурману" русской общины К.С.Аксакову. Вот его слова: "Еще до христианства, готовый к его принятию, предчувствуя его великие истины, народ наш образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием христианства... Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и являющих общее согласие... *как в созвучии голосов каждый голос дает свой звук, так в нравственном созвучии личностей, каждая личность слышна, но не одиноко, а согласно* (курсив мой — П.Б.) — ...и предстает братство, община..." (16, стр. 73, 279-280).

А вот как определяет феномен эмоционального заражения в массе (вместе с Мак Дугаллом) Фрейд: "Самым удивительным и вместе с тем важным феноменом массы является повышение аффективности, вызванное в каждом ее отдельном члене... Можно сказать... что... для участников является наслаждением так безудержно предаваться своим страстям... Тогда замолкает критическая способность личности, и человек отдается аффекту... При этом возникает несомненно нечто вроде *вынужденного подражания другим, оставаясь в созвучии с "множеством"* (курсив мой — П.Б.). У более грубых и элементарных чувств наибольшие перспективы распространяться в массе именно таким образом" (8, стр. 92-93).

Сходство описаний разительное. "Нравственное созвучие личностей" (община) К.Аксакова, в переводе на трезвый научно-психологический язык, превращается в аффектированное, автоматическое принуждение индивида массой "быть как все", "подражать другим", нивелироваться "в созвучии с множеством". Именно такая крестьянская община-коллектив была основной реалией русского быта, выполняла на тысячелетнем историческом пространстве функцию "унтера Пришибеева" для русского народа. Она осуществляла не только роль социально-экономического крепостника, но и психологического жандарма, формируя на Руси соответствующий человеческий тип "массового человека". И формировала в поистине всенародном масштабе. Ведь Россия-матушка всегда была "от и до" страной об-

щинной, крестьянской!

И последний момент — о трагической судьбе интеллекта на Руси, опять же в связи с роковой ролью общины-массы. Невероятно долгий период невегласия, немоты, умственного застоя в русской истории отмечали многие, — от гусарского офицера-философа П.Чаадаева до православного богослова-эмигранта Г.Флоровского. Первый был поражен "тупой неподвижностью", "странной неопределенностью", почти идиотизмом (ср. с "Идиотом" Достоевского), "немотой русских лиц" (19, стр. 12, 15), и написал под этим впечатлением свое "Философическое письмо", за что и был объявлен сумасшедшим. Второй видел в безмыслии, в духовной импотенции, в затяжной летаргии русского ума, в некультурности русской жизни (особенно на фоне пышного и изощренного церковно-византийского православного культа) основную загадку русской истории, ее "немой вопрос" (2)). Мы, конечно, не берем на себя дерзость ее разгадывать.

Мы постараемся лучше сами (попутно) поставить вопрос. Если, действительно, культурное творчество имеет религиозные корни, то не объясняется ли затяжное интеллектуальное, а, следовательно, и культурное бесплодие русских каким-то органическим дефектом нашего религиозного воспитания? Бердяев говорил о нерешенности на почве православия проблемы культуры, о русском нигилизме, вскормленном православной "безблагодатной аскезой", православным мироотрицанием (4, стр. 38, 39). Ф.Степун приходит к аналогичному выводу, формулируя в одной из своих работ (22) антиномию православия и культуры. Православие и в самом деле никогда не освящало культуру, видя в ней мирской соблазн и грех. Лев Толстой мучился этой проблемой. Федор Достоевский пытался решить ее со своей колокольни. В его лице, как считает Фрейд, "русская психика вознеслась до заключения, что грех явно необходим, чтобы испытать все блаженство милосердия Божия, и что поэтому в основе своей, грех — дело богоугодное" (9, стр. 218). Сделка с совестью, — полагает Фрейд, — характерно русская черта: согрешить, а потом каяться! Это отмечено, кстати, и в русском народном фольклоре. Таким был и Иван Грозный. Мы можем спросить: если в области политической сознательный аморализм может быть нормой, то как он может быть нормой культуры? По мнению Фрейда, именно последней тенденцией: сделать аморализм нормой культуры, объясняется срыв Достоевского, его шовинизм, народопоклонство, челобитие самодержцу и вообще мирскому. "Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества и присоединился к тюремщикам: культура будущего немногим будет ему обязана" (10, стр. 237). Отказ человека (и народа) от интеллектуальных и нравственных норм обязательно и в равной степени мстит за себя — культурным бесплодием, творческим падением.

Так и произошло в России. Г.П.Федотов, переключаясь где-то с Тойнби, говорит: "Одного не имела Русь: культуры мысли. В этой области она не пожелала учиться у греков... и осталась в младенческой поре сознания. Она забыла слова апостола: "Не будьте младенцами по уму". В

результате, когда она столкнулась с "умом" в лице Запада... она оказалась перед ним безоружной. Неизбежный для ее существования процесс усвоения западной техники для варварских и простых (не в добром смысле) умов превратился в духовное рабство и отречение от своей традиции (17, стр. 11-12). Это, конечно, вещи слова. С одним только уточнением: *духовное рабство и было этой традицией*. Так что отречения, видимо, все же не было. А была реакция – и именно на западную культуру и западный интеллект, и именно со стороны русского духовного рабства.

Оно в конце концов и победило – в личине большевизма. Точнее, с лихвою взяло реванш. В социалистической контрреволюции XX века Россия сбросила псевдоевропейскую, слегка подретушированную извращенную псевдоморфозом маску, вновь явила миру свое истинное лицо. Оно узналось как дикое и одновременно ребяческое, уголовно-лагерное и имбецильно-коммунальное, – одним словом, как озверелое лицо массы, как "жизненный" (антижизненный) стиль "массовой души".

В нее и вселился в семнадцатом году бездомный бес коммунизма, бродяга без адреса, беспачпортный унылый призрак, рыскавший, словно Мефистофель, "по Европам" в поисках заблудшей, подходящей для охмурения души. И наткнулся, и вселился, и возродился. Но и переродился, и переродил. Этим перерожденцем оказалась покалеченная душа (и плоть) русского народа "богоносца", изнасилованного и замороженного народа-массы, не потрудившегося за тысячу лет истории обрести собственной, трезвой и стойкой, христиански здоровой души.

Химерическим плодом соития больной России и западного изгнанника-шизофреника марксизма, продуктом его прописки в русской "Палате № 6" и стал русский коммунизм, гальванизированный бесноватый монстр, впервые в истории воплотивший в масштабах гигантского государства и в лице великого народа неограниченную и тотальную гегемонию низовых, одичавших от векового бескультурья, оглушенных заимствованием чужой культуры, захмуренных неистовой идеологической обработкой масс.

Более тысячи лет шла масса на Руси через поражения к триумфу. И-таки пришла! И раскрыла, наконец, миру "таинственную" русскую историю, "загадочную" русскую идею, "темный" смысл русской души. "Умом Россию не понять..." Оказалось, можно. И не так уж сложно. Русская история оказалась историей масс.

Спонтанная антикультурная борьба массы и массового сознания за тираническое господство над всеми сферами жизни без исключений, борьба, закончившаяся полной и безоговорочной победой массы, – вот содержание и суть русской истории, ее непреходящий урок и катастрофический итог.

Начнется ли на Руси когда-либо другая, подлинная история – и с т о р я к у л ь т у р ы? И появится ли когда-нибудь на русской земле новый человеческий тип, противостоящий господству массы и "массовой душе": не западник и не славянофил, не "европейский русский" и не "рус-



ский европеец" (эти обычно в эмиграции разыгрывают лжепророков), а нечто глубже и в то же время проще — КУЛЬТУРНЫЙ РУССКИЙ?

Это зависит и от нас.

#### Л и т е р а т у р а :

1. А.Безансон. Россия и Советский Союз. — "Вестник РХД", № 126, 1978.
2. А.Зиновьев. Светлое будущее. Лозанна, 1978.
3. А.Зиновьев. За что боролись, на то и напоролись. — "Синтаксис", № 3. Париж, 1979.
4. Н.А.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955.
5. Н.А.Бердяев. О рабстве и свободе человека. Париж, 1972.
6. Н.А.Бердяев. Константин Леонтьев. Париж, 1926.
7. Н.А.Бердяев. Русская идея. Париж, 1971.
8. З.Фрейд. Массовая психология и анализ человеческого "Я". — Избранное, т. 1. Лондон, 1969.
9. З.Фрейд. Будущее одной иллюзии. — В том же издании.
10. З.Фрейд. Достоевский и отцеубийство. — В том же издании.
11. П.Б.Струве. Социальная и экономическая история России. Париж, 1952.
12. М.Бернштам. Упадок ремесла историка в новейшей западной историографии. — "Вестник РХД", № 127. Париж, 1978.
13. И.Иловойская. Россия в отрицательно-мистическом освещении. — "Вестник РХД", № 126. Париж, 1978.
14. А.Тойнби. Запад и Россия. — "Мосты", № 2. Мюнхен, 1959.
15. Б.Н.Чичерин. Несколько современных вопросов. СПб., 1862.
16. К.С.Аксаков. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1889.
17. Г.П.Федотов. Россия, Европа и мы. Т. 2. Париж, 1973.
18. С.Л.Франк. Философия и жизнь. (Сб. статей). СПб., 1913.
19. П.Я.Чаадаев. Философические письма (письмо первое). Анн Арбор. США. 1978.
20. Г.Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937.
22. Ф.А.Степун. Немецкий романтизм и московское славянофильство. — "Русская Мысль". СПб., 1910, № 3.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЗНАНИЕ?

(Из переписки с Н.О.Лосским о креационизме)\*

В письме от 10 мая 1954 года Н.О.Лосский отвечал:

"...я попробую теперь изложить свои соображения о том, почему знание не может творить реальность. Моя гносеология есть интуитивизм, т.е. учение о знании нами не только наших душевных состояний, но и предметов внешнего мира путем непосредственного созерцания их в подлиннике. Строение этого знания такое: субъективная сторона знания состоит из моих индивидуально-психических интенциональных актов сознания, внимания, различения, направленных на сам предмет внешнего мира, напр. — березу. Мое знание о березе есть созерцание ее мною, т.е. пассивное отношение к ней, ничего не творящее в ней. Созерцая этот предмет, я различаю в нем не только отдельные качества, но и систематическую связь их друг с другом; поэтому найденное мною я могу выразить в виде ряда суждений: кора этой березы — белая; колеблемые ветром сучья и листья ее шелестят и т.п. В этой объективной стороне знания все перечисленное есть бытие. И в субъективной стороне акты сознания, внимания, различения суть мои деятельности, стороны моего бытия. Итак, согласно моему интуитивизму, как и интуитивизму Франка, в знании все элементы его суть бытие.

Когда я говорю, что знание состоит только в пассивном созерцании и ничего не творит, мне могут возразить, что проекты мостов, аэропланов, храмов и т.п. (*в письме это предложение не закончено; пропущено, вероятно... "создаются знанием" — Прим. и. Г.*). На это я отвечу, что перечисленные проекты — дело творческого воображения, *творческой фантазии*, которая пользуется знанием, как средством, но творит новое бытие, которое, конечно, появившись в душе инженера, архитектора, художника, тотчас созерцается им, т.е. познается, но творится им бессознательно. Шеллинг, в "Системе трансцендентального идеализма" хорошо поясняет эту бессознательность творчества. Даже творение мира Богом есть дело божественной фантазии, а не знания. Но, конечно, Бог, творя мир, вместе с тем и созерцает его, т.е. знает творимое Им."

Интересно, откуда Лосский взял, что "творение мира Богом есть дело божественной фантазии, а не знания"? В Библии говорится, что "Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом". Эту же самую премудрость Он "имел началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони" (Притч., гл. 3, 19 и гл. 8, 22). Премудрость есть более широкое понятие, чем фантазия. Премудрость есть высший род веде-

\* Окончание. Начало в №42 "Современника".

ния, обнимающий собой и рациональное (концептуальное) знание, и все виды интуиции, включая и художественную, и способность предвидения, воображения и т.п. Выразим это иными словами: Премудрость есть ипостазированное Субъектом знание. Фантазия же есть способность к творческому воображению. В фантазии мы имеем дело с проецированием элементов знания в произвольном, непроверенном, гипотетическом и постулативном порядке. Если разум сумеет логически скрепить элементы такого фантастического помысла и научно обосновать технические возможности его осуществления, то тогда фантазия уступает место научному проекту или плану. Задача науки, а затем индустрии, воплотить этот план в жизнь. Итак, фантазия не создает реальности, а лишь зарождаёт помысел. Путь же от помысла к осуществлению его в действительности — это дело знания.

Не все, порожденное фантазией, осуществимо, напр. — кентавры. Но вернемся к письму.

"Бог обладает всеведением, универсальным знанием, — писал дальше Н.О.Лосский.— Но в этом знании Его надо различать две части: во-первых, Бог созерцает то, что Он сотворил. Согласно персонализму, Бог сотворил только личности; английский персоналист Вард говорит: "Бог сотворил творцов". Во-вторых, Бог созерцает жизнь, которую свободно и самостоятельно творят созданные Им личности. Все это всеведение Божие, все знание Его и в первой, и, тем более, во второй части есть созерцание бытия, а не творение его знанием."

Обратимся теперь к тварному миру, именно к жизни его, творимой действительными и потенциальными личностями. Возьмем знание, выраженное в единичном суждении "сегодня ветер сорвал крышу с нашего дода", и знание, выраженное в общем суждении "электроны отталкивают друг друга". Реальность, о которой говорится в первом и во втором суждении, творится бессознательно, и ничье знание, ни Божественное, ни земное, не творит ее; следовательно, она целиком состоит из бытия, без разделения ее на две части — на бытие и знание." (8)

Остановимся снова, чтобы осветить суждения эти с точки зрения креационизма. Знание, будучи детерминирующе-детерминированным элементом реальности наличествует в каждом суждении, приведенном выше. Уже первый термин "сегодня" есть чистый продукт знания. Каждый человек имеет априорную интуицию времени и это мы назовем элементом-бытием всех временных реальностей. Но всякое *определение* времени, всякий *счет* его является уже продуктом второго элемента реальности — знания. Если мы сосредоточим внимание на слове или понятии "сегодня" и начнем отвлекать от него ведные (от слова ведение) детерминации (качества, свойства, меры), то мы, как при постепенном снятии листьев с кочана капусты, дойдем до неопределимого уже дальше субстрата, который мы называем интуицией времени. Все то, что нам удалось определить и снять, есть продукт знания. Ведные детерминации были "нанизаны" на субстрат знания (интуицию времени), "осели" на нем, и из него же тем же знанием могут быть вскрыты наподобие того, как сталь высекает из

искры. Знание может использовать уже существующую реальность для создания более сложной реальности и тогда первая исполнит роль элемента-бытия, входящего в этой роли в новую реальность, отличающуюся от первой увеличенным содержанием элемента-знания. '

Возвращаясь к слову "сегодня", рассмотрим его ведные детерминации. Указательное местоимение "сей" играет роль бытия в этом понятии. Само понятие "сейности" – безлично, неопределенно, индивидуально, относится к категории времени и пространства и оживает смыслом только тогда, когда к нему добавится ведная детерминация, например, "день". В данном случае "день" исполняет предикативную функцию по отношению к экзистенциальному "сей". Рассмотрим, в свою очередь, понятие "день". В этом рассмотрении реальность "день" будет исполнять роль элемента-бытия в концептуальной реальности "день есть отрезок времени", "день есть часть суток". Соотношение элемента-бытия и элемента-знания в каждой реальности бывает разное. Итак, в реальности "сегодня" очень мало бытийственного элемента, а много ведного. Поэтому она весьма условна, относительна, субъективна.

Перейдем теперь к слову "крыша". Что это такое? Это есть совокупность физических материалов, соответственно обработанных, исполняющая определенную хозяйственную функцию. Сказать, что это есть чисто бытийственное явление равнозначно, в некоторой степени, утверждению, что это есть аристотелевская материя при игнорировании ее формального аспекта. С точки зрения креационизма в этот предмет входит огромное количество ведного элемента. Имеется, однако, различие роли, в которой выступает знание в обоих рассматриваемых случаях. В первом случае творчество знания проявляется в концептуальных категориях по преимуществу, тогда как во втором случае оно проявляется и в плане конкретном, реальном, материальном.

И в реальности "крыши" имеется свой бытийственный элемент (древесина, металл), однако все то, что составляет *значение и пригодность* ее, свойства материалов, из которых она сооружена, целесообразность инструментов, при помощи которых она была сооружена, математические оценки (величина, понятие треугольника, прямоугольника, вертикали) – все это принадлежит ведному элементу, т.е. знанию. '

Вернемся к письму Н.О.Лосского:

"Поэтому и наше знание об этой реальности состоит, согласно интуитивизму, в созерцании этой реальности, которая вся целиком состоит из бытия без разделения ее на две части – на бытие и знание. Если же гносеолог держится *каузальной* теории восприятия и думает, что знание состоит из субъективных психических *образов* реальности, точно копирующих трансцендентную сознанию реальность, он опять-таки имеет в копии эту реальность, целиком состоящую из бытия, и думает, что подлинник, находящийся вне сознания, тоже целиком состоит из бытия, т.е. не делится на две части – на бытие и знание.

На основании этих соображений о действии ветра, срывающего крышу, электронов и т.п. я с изумлением ставлю вопрос, какое значение име-

ют у Вронского термины "бытие" и "знание", как следует *определить* эти два понятия в его философии? Почему он считает знание гетерономным бытию? По-видимому, слово "знание" имеет у него смысл, глубоко отличный от общепринятого. Ответ на эти вопросы приходится дать следующий: Г.-Вронский выделил из состава живого деятельного бытия наименее существенное, именно *пассивные продукты* деятельности его, цвета, звуки и т.п. и только назвал их словом "бытие"; а словом "знание" он назвал *систематические связи* (отношения) строения реальности. Это действительно в высшей степени гетерогенные стороны реальности; однако трудно понять, как можно назвать словом "знание" такую *абстракцию*, как систематические связи, взятые *без того, что этими связями (отношениями) объединяется*. Кроме того, если этими связями объединяются пассивные мертвые элементы, то нельзя понять, как из этого сочетания получается живая деятельная реальность. '

Есть один философ, у которого подобное учение понятно: это Кант, философ, утверждавший, что живой деятельной реальности мы вовсе не познаем, а познаем лишь *мертвые феномены, творимые нашим знанием*. Согласно Канту, феномены состоят из "формы" и "материи". Все чистое *априорное знание* состоит из "формы"; оно состоит из априорных суждений о систематических связях, о *синтезах* рассудка (об отношениях), служащих условием системы вещей природы, как предмета научного знания. А объединяемая этими синтезами "материя" суть апостериорные данные, именно пассивные ощущения цвета, звука, твердости и т.п. Придерживаясь каузальной теории восприятия, Кант думает, что эти апостериорные данные вступают в наше сознание, как *бессвязная множественность*, и синтезы рассудка превращают их в систему. Априорные знания и апостериорные данные, форма и материя у Канта, действительно, гетерогенны; из сочетания их он получает "вещи" природы, как предметы научного знания. Но он логически последовательно признает, что эти вещи суть *мертвые* продукты конституирующей их деятельности рассудка, а не живая деятельная реальность. '

Основная ошибка Г.-Вронского состоит в том, что он, подобно Канту, воображает, будто в сознании, познающем природу, имеются, с одной стороны, отношения, необходимые для системности природы, и совокупность отношений без *соотносимого* ими, (что) он называет знанием. У Канта, феноменалиста, такое понимание знания понятно и логически последовательно. А у Г.-Вронского, метафизика, утверждающего, что разум наш познает "вещи в себе", т.е. живую деятельную реальность, такое складывание реальности из двух указанных им гетерогенных элементов есть нечто логически несостоятельное; из двух найденных им факторов можно получить только мертвую *мозаику*, а не *динамизм* природы, как я уже говорил об этом в предыдущем письме."

Из вышеприведенного я заключил, что дискуссия идет по бочному руслу. Н.О.Лосский рассматривал "знание" в гносеологическом и психологическом плане и не пожелал проникнуть в метафизический характер знания. Когда он недоумевал: "...я с изумлением ставлю вопрос, какое зна-

чение имеют у Г.-Вронского термины "бытие" и "знание", то его недоумение вызвало, в свою очередь, недоумение мое — ведь именно этой проблеме и посвящена значительная часть моей диссертации! Прочитал ли он ее? Или только бегло просмотрел?

Н.О.Лосский подчеркнул старательно факт, что ни кантовская, ни креационистская философия не может адекватно выразить живую реальность. А какая философия выражает *живую реальность*? Интуитивизм? Постольку, поскольку и каждая идеал-реалистическая философия это делает. Интуитивизм выделяет один из познавательных путей и ставит его во главу угла своих построений. Но можно ли интуицию назвать *методом*? Можно ли сказать, что последователь интуитивизма глубже проникает в суть живой реальности, чем, например, феноменолог Лосев? Если интуиция присуща всем людям (а она присуща, сознается это ими или нет), то ею, сознательно или подсознательно, пользовался не только Лосский, но и Кант, и Вронский, и всякий иной исследователь и мыслитель. Ведь интуитивизм не есть эзотерическое общество, уделяющее особые способы познания своим посвященным членам. Это лишь *один* из способов объяснения когнитивных процессов. Некую эластичную грань между вещью в себе и ее когнитивным явлением в уме человека следует признать. Нельзя на данной ступени развития человеческого разума занимать одно из крайних положений, что либо вещь в себе совсем непознаваема, либо совсем познаваема. Сказать, вслед за Лосским, что став в положение гносеологической координации по отношению к познаваемому предмету, мы обладаем им в подлиннике, это сказать не так уж много. Мы можем повесить эту *этикетку*, но это не повлияет на суть познавательного процесса. Интуитивное "обладание предметом в подлиннике" имеет огромное значение в искусстве, но не в философии.

Лосский упрекает Вронского (и Канта), что их философия не воспроизводит *живой реальности*. Оправдан ли такой упрек? Интуиция (которая, кстати, может быть подлинной и ложной, как возможно подлинное религиозное откровение и откровение ложное) остается достоянием индивида до тех пор, пока не выразится в концептуальной форме. Лишь с этого момента она становится предметом науки или философии. Интуиция "не пользуется ни мало", если остается скрытой в недрах индивидуального переживания. Для того, чтобы передать ее другим, ее надо объективировать в понятиях, а коль скоро это имеет место — мы переходим в область "системности" и некоторой "мозаичности", о которой критически отозвался Лосский. Интуиция еще не есть философия, равно как и мистическое религиозное переживание не есть еще догматика.<sup>1</sup>

\* \* \*

В настоящей статье я развил некоторые мысли и исключил те, которые были бы повторением того, что было мною написано в ответ Николаю Онуфриевичу Лосскому. В частности, в письме от 16 мая 1954 года я писал:

"Вы пишете, что, по-видимому, слово "знание" у Вронского имеет

смысл, глубоко отличный от общепринятого. Совершенно верно. Но я не считаю плодотворным приступать к обозрению его отдельных терминов и частных понятий, не решив основного вопроса, от которого зависят отдельные развития его философии. Разрешите мне всепочтительнейше заметить, что Вы, как и в первом письме, сразу приступаете к частностям, именно — к понятию "знания", и излагаете *свою* точку зрения. Вы совершенно не упоминаете об основной проблеме, которую я пытался разобрать в предыдущем письме: монизм или триадизм? Если мои доводы против франковского монизма Вам кажутся неубедительными, то ведь Вы их не опровергаете! Мы можем, *до времени*, оставить на стороне учение Вронского, чтобы не усложнять предмета спора. Но перед нами остается проблема "трагедии философии" — несостоятельность монизма (любого типа) и необходимость принять "антиномический триадизм" (как об этом так хорошо пишет о. С.Булгаков). Вот эту фундаментальную проблему надо решить *до того*, как переходить к частностям. Это будет даже в духе Вашего "органического" мировоззрения. Полемику на эту тему можно вести, не вмешивая Вронского, так как последнее может ее только осложнить. Мы должны дойти до истоков философии, иначе наши рассуждения будут "философствованием", именно — "фантазированием в понятиях", о котором Вы писали в одном из предыдущих писем.

Разрешите Вам задать два-три основных вопроса:

1. Являетесь ли Вы сторонником триадической установки в философии и, если — да, то как Вы учите об установительной триаде?
2. Если Вы сторонник монизма, то — какого типа?
3. Если Ваша система монистична, то как Вы можете ответить на все те упреки, какие я поставил всем монистам в лице С.Л.Франка в предыдущем письме?

Судьба философии должна быть решена в метафизической области, а не в эмпирической, независимо от того, как Вы назовете этот эмпиризм — "интуитивизмом индивидуалистическим" или "универсалистическим" (я имею в виду Ваше определение системы Франка в качестве интуитивизма, т.е. вида эмпиризма, т.е. учения о том, что все знание основано на опыте, сформулированное Вами в Вашей статье "Теория знания С.Л.Франка" в Сборнике памяти этого философа).

Будучи принципиальным противником утверждения, что все знание основано на опыте (как быть с идеей Абсолюта?), разве что нам пришлось бы дать совершенно иной, более обширный, обнимающий трансцендентную сферу, объем понятия "опыт", я признаю совершенно приемлемыми слова Франка, высказанные по поводу "Обоснования интуитивизма", именно, что это только "описание интуитивизма". Но сам Франк, постулируя "металогическое начало", правильно и убедительно описывает процесс познания, хотя и не объясняет структуру этого металогического принципа всей реальности, называя его "непостижимым".

Возвращаясь к заключительной фразе Вашей статьи: "Дальнейшее развитие философии покажет, вероятно, что истина лежит где-то посредине между теориями этих философов" — и в связи с ней — не правильно ли

было бы определить дальнейшее ее направление, как реализацию принципа, что Бог и мир потенциально постигаемы, хотя актуально еще не постигнуты, и что постоянное постигание Абсолютного и относительного составляет сущность философского процесса?"

6 июня 1954 года я получил ответ от Н.О.Лосского:

"...я согласен с Вами, что знание предполагает три элемента: субъект, объект и содержание. Однако назвать их установительной триадой я не могу по следующей причине. (*Я тоже не называл этого "установительной триадой", а лишь привел этот пример как один из случаев триадичности вообще. — И. Г.*).

Интенциональные акты сознания, внимания и различения направляются субъектом на целое бесконечно сложного предмета, напр. кленового листа, но из этого целого они выделяют в опознанном, т.е. в различенном виде только бесконечно малую часть его, напр. цвет, — "этот кленовый лист желт" (что он лист и притом кленовый — это различено в предыдущих актах знания). Человеческое знание есть всегда *выборка* из предмета, оно всегда *фрагментарно*. Опознанные аспекты предмета я называю содержанием знания. Ничего установительного я тут не нахожу. '

Термин установительная триада в моей метафизике мог бы быть применен к следующим трем факторам реальности:

1. *субстанциальные деятели* (у Лейбница монады);
2. носимое ими *абстрактно-идеальное бытие* (напр. математические идеи, понятые в духе философии Платона; они — не мысли, не знание, а бытие, напр. число четыре есть способ действия в большинстве случаев бессознательного (четыре лепестка сирени);
3. *реальное бытие*, т.е. события, временные (психические) и пространственно-временные (материальные). Субстанциальные деятели творят реальное бытие сообразно абстрактно-идеальному бытию, напр. сообразно математическим идеям (бессознательное творение цветка сирени с четырьмя лепестками). Имея в виду эту триаду, я называю свою метафизику идеал-реализмом.

Я сторонник *плюрализма*, а не дуализма и не качественного монизма, сводящего весь состав мира к качественно одному виду бытия, к материальным процессам или к психическим процессам (панпсихизм): в эволюции природы возникают царства бытия, качественно отличные друг от друга, хотя высшее и опирается на низшее: неорганическая природа, органическая природа, индивидуально-психическая жизнь человека, социальное бытие и т.п. Но я сторонник *структурного монизма*, т.е. учения о том, что некоторые формы строения мира всеобщие; это выражено в понятии идеал-реализма, определение которого дано выше.

Словом опыт я называю наблюдение предметов в подлиннике путем различных видов интуиции, чувственной, интеллектуальной, мистической, аксиологической. Абсолютное, или, точнее говоря, Сверхабсолютное, т.е. Бог, есть предмет мистической интуиции. Условием возможности интуиции, направленной на предметы внешнего мира, служит единосушие человеческого я с субстанциальными деятелями всего мира. Единосушия с



Богом у тварных личностей нет; тем не менее, религиозный опыт возможен, благодаря посреднику Богочеловеку, поскольку Логос присоединил к своей природе божественной еще и человеческую природу, следовательно, мы единосущны с Ним по Его человеческой природе.

В религиозном опыте Бог предстает перед нами, как предмет отрицательного богословия, которое вовсе не есть утверждение непознаваемости Бога; наоборот, оно есть точное знание о Боге, как невыразимом в понятиях, относящихся к тварному бытию: это — *'docta ignorantia'*. И даже в положительном богословии учение о едином Боге в трех Лицах продолжает оставаться на почве отрицательного богословия, так как в нем понятие личности явным образом употреблено по аналогии, и притом по металогической аналогии.

Говоря, что истина находится посередине между системой Франка и моей, я никоим образом не делаю уступки его "антиномическому монодуализму". *Никаких антиномий я не признаю (Курсив мой — и. Г.)*; металогическую (*здесь пропущено слово*) я понимаю не как стояние между "да" и "нет", что невозможно, а как неподчинение закону тождества и противоречия в смысле отсутствия материала для применения этих законов, вроде того, как математический треугольник не подчиняется законам химии, потому что в нем нет такого содержания, к которому ее законы применимы. "Посередине", имеемое мною в виду, состоит в том, что как ни простое мое понимание мира, приходится признать, что многое в мире не постижимо земным человеческим умом, напр. почему Россия подверглась такому страшному испытанию, как большевистская революция.

В Ваших возражениях Франку я нахожу ошибки, обусловленные чтением его книги во французском переводе. Напр. Вы говорите, что, по Франку, "детерминировать значит распознавать в неизвестном то, что детерминировано"; ведь это, — говорите Вы, — "сухая тавтология". Учение Франка такое: логической определенностью обладает та система бытия, все элементы которой соотнесены друг с другом по законам тождества, противоречия и исключенного третьего. Такая система взаимопределенностей возможна потому, что она обоснована Сверхсистемным Абсолютным. Наше познание определенностей есть интуиция, т.е. созерцание нами определенностей. Нигде здесь найти тавтологию нельзя..."

Считаемое мною тавтологическим выражение Франка не имело бы этого характера, если бы Франк признавал наличие двух разных элементов реальности. Ибо что есть тавтология? Это есть повторение того же самого другими словами, не уточняющими смысла, или же употребление в определении (сказуемом) определяемого слова. С грамматической точки зрения выражение Франка, несомненно, тавтологично. В расширенном толковании Н.О.Лосского эта словесная тавтология как будто исчезает, но она повсюду невидимо присутствует во всех монистических системах вообще, а у Франка — в частности — сводится к формуле: бытие определяет бытие, что есть онтологическая тавтология.

Других моих "ошибок", правда, Н.О.Лосский не привел, да это уже было бы и несущественным. При его *плюралистической* и *анти-антиноми-*

ческой философской установке вряд ли дальнейшая полемика была целесообразной. Мы продолжали еще некоторое время переписываться, но уже по другим поводам и на другие темы.

\* \* \*

Что же можно сказать в заключение о критике Н.О.Лосским философии Вронского? Критика эта, на мой взгляд, с методологической точки зрения была проведена неправильно. Чтобы полемика оказалась плодотворной, ее следовало бы вести при помощи одного из двух возможных методов:

1/ рассматривать критикуемую систему на фоне одной из уже известных систем путем сравнения их в целом (этот метод предлагается самим Лосским в его "Общедоступном введении в философию");

2/ использовать "генетический" подход, при котором мы ставим в один ряд, последовательно, несколько крупных мыслителей данного направления и исследуем, чем *отличается* данный философ от своих предшественников, насколько он продвигает вперед философию, что он вносит в ее развитие нового. В данном случае можно было бы рассмотреть креационизм на фоне учений Декарта, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Требовать *такого* подхода я, конечно, не дерзал. Но, так или иначе, я был искренне благодарен Николаю Онуфриевичу Лосскому за его, оказанное мне, внимание.

#### П р и м е ч а н и е :

8. А как была создана музыка Гуно к известной опере "Фауст"? А как создан был текст гетевского "Фауста"? Тоже бессознательно и само по себе — бытием?

## ИСПАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1873 ГОДА

### В ОСВЕЩЕНИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Издавна почти общим местом во многих работах, посвященных анализу идеологических и культурных контактов между Россией и Западной Европой в XIX веке, стало утверждение о том, что испано-русские взаимосвязи такого рода были явлением случайным и малозаметным. Это утверждение в значительной степени априорно и уже поэтому нуждается в корректировке с точки зрения фактической его проверки. Конечно, интерес русской общественности к Испании не был столь масштабным и очевидным феноменом, как аналогичный интерес, скажем, к Франции. И, однако, вряд ли стоит преуменьшать значимость того, что временами казалось не только устойчивым явлением, но даже "модой" на Испанию, "испанский колорит", на всё, связанное с испанской политической и культурной жизнью. В течение XIX столетия можно отметить несколько "всплесков" повышенного "увлечения Испанией" в среде русской читающей публики. Один из этапов в развитии этого, довольно стабильного, интереса падает на конец 60-х — начало 70-х годов, когда в Испании разразилась пятая революция, давшая миру массу любопытных примеров острой политической борьбы, эволюции буржуазно-демократического радикализма, выступления на авансцену социальной жизни "рабочего вопроса", и, одновременно, продемонстрировавшая в рамках периода 1868-1875 гг. чередование различных форм государственного устройства: от кратковременного регентства до военной диктатуры и реставрации консервативной монархии. (1). И хотя кое-что в событиях испанской социально-политической истории того времени было производным, вторичным, иногда провинциальным даже, в сравнении с перипетиями политической жизни Франции, Англии, Германии, например, однако поучительного во всём этом было не так уж мало, а для русского общественного мнения — пожалуй, избыточно много. Неудивительно, что сам факт провозглашения первой в испанской истории Республики, равно как и ее судьба, стали объектом пристального внимания журнальной прессы России.

Мы не ставим перед собой задачи охарактеризовать в полном объёме освещение испанских событий 1873 года в русской периодике. Думается, что анализ основных тенденций, проявившихся в восприятии этих событий, уже способен дать "модель" отношения русской общественности к политической жизни за Пиренеями, а потому, взятые в качестве "контрольных примеров", такие журналы, как "Отечественные Записки" и "Дело" — органы прогрессивных кругов, "Вестник Европы" (либеральная пресса) и "Русский Вестник" (орган правых) хорошо показывают нам, как

в сознании русских людей семидесятых годов "монтировались" представления об одном из самых драматичных периодов испанской истории XIX века.

Как известно, в сентябре 1868 г. в Испании произошло восстание против режима королевы Изабеллы Второй. Королева бежала из страны; учредительные кортесы назначили временным регентом Испании Серрано — одного из вождей сентябрьского восстания; другой его вождь — генерал Прим, начал подыскивать нового монарха, и в ноябре 1870 года кортесы избрали королем протезе Прима — Амадея Савойского, сына итальянского короля Виктора-Эммануила.

Однако монархическая перетасовка происходила в условиях бурного подъема республиканского и рабочего движения в стране. "...Республиканские лидеры развернули широкую антимонархическую кампанию" и прямо заявили в одном из манифестов, что их действия представляли собой "репетицию будущей Иберийской республики." (2). Король Амадей перед лицом бесконечных раздоров между партиями, в обстановке нарастающего кризиса власти, счел за благо отказаться от престола, и 11 февраля 1873 г. Испания была провозглашена республикой. Кульминационным моментом дальнейших событий явилось создание правительства под руководством Франсиско Пи-и-Маргалья — выдающегося испанского революционного демократа. Им была выдвинута далеко идущая программа радикальных преобразований в стране. Однако сопротивление со стороны бакунистов и т.н. "непримиримых" вынудило Пи-и-Маргалья уйти в отставку. На посту президента его сменили Сальмерон, а затем Кастелляр. Раздорами в республиканском лагере воспользовалась реакция, и в январе 1874 г. генерал Павия совершил переворот, провозгласив диктатором страны Серрано. Окончательная развязка наступила в конце того же 1874 года после нового переворота во главе с Мартинесом Кампосом, приведшим к реставрации династии Бурбонов и вступлению на престол сына Изабеллы Второй — Альфонса XII (1874 — 1885). Такова была внешняя последовательность событий пятой испанской революции, в ходе которой возникла и погибла первая испанская республика.

Этой последовательности соответствовали большие *глубинные* изменения в среде испанского общества. Революция 1868—1874 гг. была самой наступательной из всех испанских революций XIX века. Сильное влияние радикально настроенных кругов, распространение социалистических идей, деятельность секций Первого Интернационала — все это не могло не усложнить картину политической жизни Испании, не вызвать принципиально иных, нежели ранее, идеологических и культурных сдвигов. И, вполне естественно, в поле зрения русских комментаторов испанских событий оказались как традиционные, так и совершенно новые факты и явления.

Понять и оценить их — такова была в данном случае задача русской журналистики. Решалась эта задача в соответствии с идейными позициями различных органов печати, а также в расчете на то, чтобы согласовать требования информационно й полноты комментариев и уровень тогдашнего знакомства русской читающей публики с испанскими делами. Лучше всего,

пожалуй, подобный расчет дал о себе знать в характерной сентенции М.М. Стасюлевича из большого очерка по поводу провозглашения испанской республики. Стасюлевич писал:

"Мы...никак не порицаем того, что сделали "державные кортесы, провозгласив в Испании республику" и если бы мы писали в Испании, то, разумеется, просто хвалили бы кортесы за их находчивость и выразили бы надежду на упрочение республики. Но мы беседуем с русским читателем, выражать порицание и хвалу в этом случае не наше дело; мы должны не порицать или хвалить, но объяснять события." (3).

Здесь обращают на себя внимание и явная симпатия Стасюлевича к "республиканскому эксперименту" в Испании, и его объективистская осторожность в прогнозах насчет удачливости этого опыта. Надо отдать должное Стасюлевичу как аналитику: ставя вопрос о прочности республиканского строя и высказывая сомнения относительно жизнеспособности республики, он дает блестящий разбор всех доводов "за" и "против". Его суждения общего характера подкреплены отличным знанием фактов, что же до самого фактического материала, то он не "давит" своим обилием на читателя, не заслоняет авторской мысли, и в этом отношении очерк Стасюлевича гораздо интересней развернутого обзора испанских событий, который появился в третьем номере журнала "Дело" и который в отдельных частностях написан на том же уровне.

М.М.Стасюлевич решительно полемизировал в своем очерке со многими типичными для его времени суждениями относительно Испании. Так, разбирая тезис о решающем влиянии церкви на ход общественной жизни страны, он справедливо сделал вывод, что в 70-е годы XIX века "политическая сила" католицизма в Испании была "сломана" (4) и что надо искать иные, более существенные, характеристики для понимания политических изменений в стране. Эти характеристики Стасюлевич пытался вывести из определения классовых позиций различных политических сил. Слабости режима, предшествовавшего республике (т.е. монархии Амадея), виделись ему в недостаточном развитии государства и в таких пережитках феодализма, как засилье военщины и чиновничьей олигархии, непрочность парламентарных форм и промышленная отсталость страны. Нельзя сказать, что во всех частностях своего анализа Стасюлевич был прав абсолютно, но основные вехи его рассуждений подкупают своей глубиной и меткостью. Недаром можно обнаружить влияние его мыслей относительно, скажем, "среднего класса" в Испании на некоторых других русских "испанистов" того времени. К примеру, Л.И.Мечников в своих "Очерках новой испанской литературы", опубликованных в журнале "Дело" (№ 9 за 1873 г.) почти дублирует выводы "Вестника Европы" об отсутствии в Испании "среднего сословия...в общеупотребительном значении этого слова". (5). У Л.И.Мечникова, правда, эти выводы подкреплены статистическим материалом, но суть рассуждений однозначна. (6).

Чрезвычайно интересны в анализе Стасюлевича его соображения по поводу партийно-политической борьбы в Испании. Он хорошо показывает "девальвацию" принципов либерализма и либеральной терминологии, от-

мечая расхожесть партийных лозунгов и внутреннее совпадение многих, по виду очень разнящихся между собой, политических группировок. Но и более того, – говорит Стасюлевич, и здесь он начинает обыгрывать парадоксальный внешне тезис, который, однако, оказывается результатом внимательного рассмотрения комплекса важных факторов, – более того, "Испания – одна из *демократических* стран в мире. Довольно странно говорить это об отечестве благородных кастильцев и арагонцев, "потомства готов"... "троекратных" грандов... Но тем не менее, это верно... Аристократизм здесь сделался достоянием всего народа и утонул в нем, подобно тому, как католицизм обратился в обычай и почти перестал существовать как живая, самостоятельная сила." (7).

Из анализа своеобразного "демократизма" Испании как страны, задавленной деспотизмом (порождением коего и была "демократия искателей милости, демократия целой армии клиентов государства и частных лиц... солдат, чиновников, управляющих и духовных" (8), страны, лишенной в течение долгого времени подлинной политической стабильности, раздираемой противоречиями и борьбой политиканствующих клик, Стасюлевич выводит причину неустойчивости любых государственных институтов, в том числе и республиканских, возникших в Испании после 11 февраля 1873 года. В этой связи он критически разбирает адресованный иностранным кабинетам циркуляр Эмилио Кастеляра, назначенного министром иностранных дел республики (в первом правительстве президента Фигераса).

Критическое отношение к аргументам республиканского министра отнюдь не умаляло симпатий Стасюлевича к республиканцам вообще. Он прямо говорит, что они "по качествам своих вождей и по образованности своих членов заслуживают более уважения, чем все другие партии в Испании... Эстанислао Фигерас... – приверженец идей республики федеральной, и как он, так и его значительнейшие товарищи: Эмилио Кастеляр и Франсиско Пи-и-Маргаль принадлежат к редким в Испании людям, которые никогда не переменали знамени." (9).

В целом Стасюлевич скептически оценивал перспективы республики, полагая, что поскольку королю Амадею не удалось справиться с проблемами страны, то республиканцам удастся это еще в меньшей степени. События подтвердили его прогноз, сделанный на основе глубоко аналитического рассмотрения политической ситуации в Испании. Хотя Стасюлевич почти игнорирует "рабочий вопрос" (о рабочих он упоминает в статье только раз – при характеристике деятельности республиканца Руиса Соррильи, бывшего одним из премьер-министров короля Амадея), его обзор можно считать своего рода камертоном, по которому (хотя, конечно, и не безусловно) настраивалась русская журнальная пресса более или менее оппозиционной ориентации в отношении к проблемам испанской республики.

Обзору "Вестника Европы" соответствовала по времени уже упоминавшаяся нами публикация из раздела "Политическая и общественная хроника" в мартовском номере журнала "Дело". (10). В журнальном очерке подробно рассматривались перипетии политической борьбы периода прав-

ления Амадея. Наряду с характеристиками таких лидеров, как Сагаста, Руис Соррилья, Серрано, давалась оценка личности самого короля, причем гораздо более суровая, нежели в "Вестнике Европы". Автор очерка не скупился на эпитеты "умный и честный" в адрес Амадея, но в то же время он подчеркивал его политический консерватизм, неосторожность его тактики балансирования между партиями, непоследовательность в принятии той или иной линии политического действия. "Амадей опасался выборов, которые наводнили бы палату радикалами и республиканцами; он терпел радикальное министерство, потому что не мог составить другое, но желая по возможности сдерживать его реформистскую деятельность... Король не хотел сообразить, что министерство, не способное произвести что-либо серьезное, окажется бессильным и для того, чтобы поддержать его колеблющийся трон" и т.д. (11). Детально рассматривается в очерке дело военного министра Идальго, вызвавшее конфликт, который послужил непосредственным поводом к отречению Амадея; говорится о заговорах и мятежах различных политических группировок – словом, весь очерк – это весьма основательная, полезная с фактической стороны, хроника событий предреспубликанского периода (само появление очерка вызвано фактом провозглашения республики, как об этом и сказано в предведомлении февральского номера журнала. – 12)

Но, пожалуй, фактической стороной и ограничивается польза данного очерка. Главный его недостаток – это обращенность в прошлое, фактографическое изобилие при отсутствии общих выводов, ибо там, где эти выводы имеются, они носят характер довольно тривиальных сентенций скорее риторического, нежели делового свойства. Если очерк Стасюлевича в "Вестнике Европы" как бы "запрограммирован" на перспективу будущего, то обзор "Дела", напротив, – сплошная ретроспекция. И в отношении к испанским событиям это даже не случайность; к подобной тенденции подводилась "теоретическая база". Так, почти два года спустя, в одном из номеров "Дела" в большой статье об Испании было сказано буквально следующее:

"Журнал не может и не должен брать на себя роль предсказателя событий, какую часто берут газеты. Назначение журнала делать выводы из тех фактов, которые достаточно выяснились и определились. Этой системы "Дело" держалось до сих пор, будет держаться и на будущее время." Прямо скажем, сомнительное кредо! (13).

Отмеченный недостаток не меняет, разумеется, того факта, что в комментариях на испанские темы журнал "Дело" исходил из свойственной ему революционно-демократической ориентации. Ясно, однако, что прогрессивная тенденциозность его авторов сама по себе не могла предопределить удачу в освещении тех или иных сложных вопросов. Это, впрочем, относится не только к журналу "Дело".

Так, в "Отечественных Записках" 1873 года публиковались "Письма об Испании" В.А.Зайцева. Их публикация началась еще до провозглашения республики и непосредственным откликом на этот факт можно считать лишь "Письмо четвертое" (14), однако и предыдущие корреспонден-

ции В.А.Зайцева помогали русскому читателю разобраться во многих аспектах испанской действительности, важных для последующих событий. Весьма существенной стороной очерков Зайцева было то, что автор уделил особое внимание "рабочему вопросу" и распространению социалистических идей за Пиренеями, а этим зачастую интересовались в России не только ради "читательского любопытства", но и в связи с ростом революционных настроений. Отдельные члены подпольных кружков знали известную статью Ф.Энгельса "Бакунисты за работой", посвященную разбору политических баталлий 1873 года в Испании – "событие, которое сравнительно широко обсуждалось в России" (15), как на уровне легальной прессы, так и в среде революционного подполья. (16).

В.А.Зайцев утверждал, что "стремления к социальной перемене в разных европейских народах выражались различно по различию и в средствах, и в цели." (17). Особой остротой формы социальной борьбы отличались во Франции; более умеренными выглядели они в таких странах, как Англия, Швейцария, Германия. В Испании, – по мнению Зайцева, – "дело должно идти французским путем, а не путем народов германской расы" и потому испанские "публицисты, встревоженные чрезвычайно быстрым распространением интернационала в Испании в последнее время, быть может, не слишком ошибаются, пророча, что социальная революция в их отечестве примет характер восстания негров на Сан-Доминго". (18).

Сам Зайцев явно симпатизирует именно такой перспективе. Разделяя бакунистские доктрины, он видит в рабочем движении Испании признаки торжества "негосударственного социализма", который противопоставляется им социализму "еврейско-немецкому", представленному именами Маркса и Лассалья, Бебеля и Либкнехта. Путаность рассуждений Зайцева в этом случае довольно очевидна. Силой испанского социального развития ему представляется как раз то, что скорее обуславливало его слабости. Недостаточная, в силу пережитков феодализма, классовая дифференциация испанского общества рассматривалась им в качестве залогов успехов антибуржуазной агитации. Он указывал на "отсутствие... коренной разницы между городским пролетариатом и сельским бедняком" и "обособленного от народной массы класса увриеров, который может претендовать на значение *четвертого сословия*... Отсутствие такого класса препятствовало до сих пор проникновению в Испанию социальной идеи. Но раз найдя себе путь, она проникает безразлично во всю массу народа, а не в строго определенную часть ее..." (19).

Зайцев подробно сообщает о возникновении в Испании секций Интернационала, о забастовочном движении в стране, о попытках буржуазных республиканцев воспользоваться в своих интересах рабочей активностью; говорится в его очерках и о расколе в организациях Интернационала, в частности, о разрыве в Мадриде "между большинством местной федерации и партией Поля Лафарга, зятя Маркса..." (20). Всё это очень полезная для русского читателя информация, важность которой подкрепляется резюмирующим выводом Зайцева о том, насколько "велико в Испании значение рабочей организации и как в виду этого значения ничтожны все воп-



росы политических и династических партий". (21). Вообще, стремление Зайцева давать глубокий социально-интерпретированный анализ испанской общественно-политической жизни само по себе весьма подкупает.

Однако в этом же стремлении (а вернее сказать, в том, как оно воплощается) есть свои издержки. Больше всего подводит Зайцева его доктринерство и пренебрежение многими конкретными реалиями политики, которые представляются ему несущественными "мелочами". Если в упоминавшемся нами обзоре журнала "Дело" читатель подавляется фактографической мозаикой, то в очерках Зайцева — другая крайность: автор их позволяет себе просто игнорировать факты, если они, как ему кажется, неудобны для его абстрагирования. Конечно, Зайцев — человек, мыслящий очень интересно, и его даже отдаленно нельзя сравнить с теми "политиканами и журналистами" консервативного толка, которые часто становились объектом его иронии, но, право же, легче "отделаться" от конкретного рассмотрения вопросов, касающихся "политических и династических партий", общей фразой о "неважности" этих вопросов, чем проанализировать их суть. И в этом отношении самые типичные комментарии испанских публицистов 70-х годов в том духе, что в династийно-политической борьбе "личности... в своей противоположности являют противоположные принципы", что "невозможно поддерживать кандидатуру Монпансье, не принимая доктрины... Либерального Союза... нельзя желать воцарения Альфонса, не отвергая законности Сентябрьской революции"... что "немыслимо одновременно приветствовать кандидатуру генерала Эспартеро и отрицать политическое кредо старой прогрессистской партии..." и т.п. (22) — эти суждения кажутся более основательными, чем любые "радикальнейшие", но отвлеченно-плакатные фразы Зайцева. Пренебрежение к фактам для публициста-аналитика не менее пагубно, нежели рабская скованность фактами. В "Письме четвертом" Зайцев, касаясь отречения короля Амадея, саркастически пишет: "Политиканы и журналисты" пресерьезно уверяют европейскую публику, что причиной его была история с артиллеристами и генералом Идальго. Это нас не удивляет, потому что публика, почерпаящая свои сведения из разглагольствований этих господ, привыкла глотать и не такие чудовищности." (23). Между тем, никакой "чудовищности" в комментариях по поводу "казуса генерала Идальго" нет. Оно хорошо, конечно, — стремление Зайцева внутренне отделить "причину" от "повода" изучаемого события, однако вряд ли хорошо уясняется *причинность* за счет доктринерского отказа "снизойти" до самого этого *повода*.

В комментариях о политической жизни испанской республики (после ее провозглашения) Зайцев также отнюдь не безупречен и в деталях, и в общих оценках. Верный бакунистским рецептам мышления, он, даже давая в целом любопытные характеристики таких лидеров республики, как Фигерас, Пи-и-Маргаль, Сальмерон, Кастеляр, подвергает их резкой критике, далеко не всегда оправданной с точки зрения политического такта и его же собственных убеждений. Зайцев, например, обвиняет Пи-и-Маргала и Фигераса в том, что они, мол, склонны пользоваться "фикцией на-

родного представительства", т.е. полномочиями кортесов, для создания республиканского правительства, как будто для республиканца и социалиста было страшным грехопадением использование институтов государственной власти в интересах *своих* партий, во имя *своих* идеалов. Для Зайцева всё это — политиканство, основанное на том, что "народ... имеет наивность... лить свою кровь, чтобы сделать Пи-и-Маргалья — министром внутренних, а Кастельяра — иностранных дел." (24). В то же время следует признать, что в некоторых моментах своего политического анализа Зайцев прекрасно характеризует противоречивость и слабости федерализма, явную опасность военно-монархических заговоров, переход на правые позиции Сальмерона и Кастельяра, стремившихся "основать консервативную республику не Тьеро-монархическую, а Тьеро-Гамбетовскую". (25).

Очень интересен также разбор Зайцевым политической ситуации в отдельных центрах и провинциях Испании: в Мадриде и Барселоне, в Андалусии и Эстремадуре. Явно симпатизируя сепаратистским и анархистским выступлениям, он дает впечатляющую картину противоборства сил правительства и отказавшихся подчиняться ему "общин", показывает рост революционных настроений среди испанских тружеников — с одной стороны, и культивацию абсолютной политической беспринципности в кругах буржуазии — с другой (готовность многих ее представителей служить кому угодно или не служить никому, лишь бы иметь возможность "обогащаться", выразалась тогда циничным четверостишием, которое цитирует Зайцев и которое можно было бы перевести примерно так:

"Амадею править хватит,  
А Дон Карлос не пройдет.  
Будем жрать!.. Народ оплатит  
За жратву любой наш счёт!" — 26).

Несомненно, что в ряду откликов на испанские события очерки Зайцева занимают одно из почетных мест в русской публицистике. Несмотря на многие "издержки" мыслей автора, вызванные в первую очередь его приверженностью к бакунизму, очерки принесли большую пользу. Что же касается освещения *социальной проблематики*, то в данном аспекте они давали не менее сильный стимул к углубленному пониманию революционной ситуации за Пиренеями, чем это делал Стасюлевич в сфере *политического* анализа. В результате как "Вестник Европы", так и "Отечественные Записки" (с учетом, конечно, разной степени и различных оттенков их свободомыслия) внушали русскому читателю демократическую интерпретацию событий, связанных с возникновением республики 1873 года.

Эту характеристику по справедливости надо распространить и на статьи журнала "Дело". У Л.И.Мечникова в "Очерках новой испанской литературы" весьма примечательна его полемика с Боклем по поводу того, что русский публицист считал со стороны английского мыслителя "огуловым осуждением целой страны", "отлучением от цивилизации, исторической анафемой". (27). Имея в виду огромный авторитет Бокля в среде

русской общественности шестидесятых – семидесятых годов XIX века, полемика Мечникова была вызовом устоявшемуся трафарету в восприятии испанской истории многими русскими интеллигентами. Но дело даже не только в этом. Обращает на себя внимание, что Мечников (как и другие демократические публицисты) подчеркивал общность исторических судеб Испании и остальных европейских стран, тем самым выступая против трафаретного представления об Испании как стране, абсолютно не похожей на другие государства, а, значит, и не подвластной влиянию "новых идей", революционных учений, которые, мол, даже будучи занесенными на испанскую почву, оказываются нежизнеспособными именно в силу неповторимого "своеобразия" Испании. Дань такого рода представлениям отдавали не только консерваторы, но и весьма радикально настроенные люди. Вот что, например, писал Д.Минаев в одной из своих юмористических поэм:

"А там, за гранью пиренейской...  
Но там уж Африка теперь  
И наглухо забили дверь  
Испанцы в мир наш европейский.  
В братоубийственной резне  
Весь край распался на два стана:  
Здесь Дон-Кихот, а там Серрано –  
Кто лучше в бедной той стране?  
Она, – в развитии калека, –  
Как бы единый человек  
Из девятнадцатого века  
В шестнадцатый шагнула век." (28).

В стихотворной форме здесь воспроизводится привычный ход мысли относительно "испанских дел". Впрочем, в данном случае многое объяснимо не политическими, а поэтическими соображениями. В более серьезном плане любили подчеркивать "специфичность" Испании в таком органе консерватизма, как журнал "Русский Вестник". На его страницах не появлялось в 1873-75 гг. ничего, сопоставимого по общественно-политической значимости с публикациями об Испании "Дела", "Отечественных Записок" и "Вестника Европы". Но "моде на Испанию" журнал все-таки следовал, печатая и переводные произведения испанских писателей (например, историческую, очень интересную, драму Мануэля Тамайо-и-Бауса "Сумасшествие от любви" – 29) и очерки типа "Писем об Испании" (живописные, но чрезвычайно "облегченные" в смысле политической стороны дела, записки Е.А.Салиаса – 30) и его же рассказ на испанскую тему. (31).

И ведь что характерно? Если у таких публицистов, как Мечников, Стасюлевич, Зайцев, признание общности исторического развития безусловно распространяется на Испанию, то авторы "Русского Вестника" при любом случае (будь то серьезная статья, или чисто жанровая зарисовка) так и щтасть отметить, "обыграть", подчеркнуть традиционное, весьма избитое, но полемически выгодное иногда, противопоставление Испании и Европы.

Вот пример легковесного свойства (из графа Салиаса), когда он начинает свой, очень приятно написанный, но сугубо "колористический" и, в общем-то, "аполитичный" рассказ об "испанских нравах":

"Переехав Пиренеи, положительно выезжаешь из Европы, и немногое что еще может ее здесь напомнить – слабо навеяно, поверхностно и уродливо привито; всё же коренное и существенное носит свой особый и характерный отпечаток, отличный от Европы.

Испанию долго уберегало ее географическое положение (как и Россию) и мешало ей вкушать до пресыщения как хороших, так и *гнилых плодов пресловутого прогресса.*" (Подчеркнуто нами – А.Г. – 32).

А теперь для сравнения процитируем куда более "серьезное" место из статьи Владимира Безобразова "Война и революция":

"Именно в Испании, – пишет он (и пишет это в 1874 году!) – всего менее, сравнительно с другими европейскими странами, были распространяемы отвлеченные революционные доктрины, и если даже в самое последнее время они приютились и здесь, то только приютились и не имеют в Испании никаких самостоятельных для себя двигателей." (33).

Как видим, несмотря на жанровый разнобой, внутренний смысловой "код" рассуждений Салиаса и Безобразова одинаков.

Совершенно ясно поэтому, что в контексте общего отношения к Испании, к проблемам политической жизни Западной Европы, да и к внутрирусским делам, самые что ни на есть "случайные" реплики и сентенции различных авторов оказывались далеко не случайными. Идеологическая поляризация давала о себе знать сквозь призму отдаленнейших наслоений и переходных ступеней. Гамма оттенков при этом была чрезвычайно пестрой; суждения по одному и тому же поводу – диаметрально противоположными. Если, например, испанские кантоналисты, поднявшие оружие против республиканского правительства в 1873 году, в описании Зайцева – настоящие герои, то по мнению Ф.М.Достоевского, они – просто-напросто "восставшие мерзавцы". (34). Характеристики оказывались столь же непримиримы, как несовместны были взгляды радикального демократа, каким выступал Зайцев, и убежденного в те годы врага революционеров, бывшего революционера Достоевского.

Информация об испанских событиях давалась на страницах русских журналов как в форме разбора запутанных перипетий политической борьбы, войны с карлистами, обстоятельств очередного переворота, так и в виде публикации очерков, посвященных отдельным персонажам испанской политики. Нельзя не упомянуть о большой статье "Маршал Серрано" (в журнале "Дело"), где излагалась биография Серрано, говорилось о его интригах против республики и давалась иронически-суровая оценка "этого Жиль Блаза и Фигаро", достигшего "высших степеней своим пронырством и бесцеремонностью в выборе средств для достижения цели." (35). Много внимания уделяли русские комментаторы фигуре Э.Кастеляра, который в качестве президента республики, – как говорилось в одном из очерков "Дела", – "употребил свое, действительно, поразительное, увлекательное красноречие против тех самых идей, за которые прежде так

настоятельно боролся" (36), что и погубило его очень быстро как политика. (37). Масса интересных сведений и оценок сообщалась в хроникальных заметках "Вестника Европы", где испанские дела анализировались и сами по себе, и в связи с международными отношениями, политикой Бисмарка, например, и т.д.

Одним из лучших аналитических разборов в этом плане был, написанный Стасюлевичем уже после реставрации 1875 года и как бы подтверждающий те прогнозы, которые давались им в адрес испанской республики в момент ее провозглашения, очерк в разделе иностранного обозрения "Вестника Европы". Здесь особенно примечателен вывод автора о несостоятельности всех главных политических партий Испании. Что касается самой республики, то ее судьба рассматривается с той степенью суровости, которая едва ли может полностью заслонить невольные республиканские симпатии, когда Стасюлевич клеймит военных заговорщиков, иронизирует в адрес монархических претендентов и показывает обреченность карлизма.

Выдвинув тезис о том, что любое правление "должно быть не только... безупречным в смысле принципа", но и "должно быть менее абстрактным, чем принцип, должно иметь тело, корни в стране", Стасюлевич писал:

"Республика в Испании выказала полную свою несостоятельность еще до того времени, когда Павия совершил свой "подвиг", разогнав кортесы... После отречения Амадея, в течение двух лет испробованы были принципы и программы всех оттенков республиканской партии, и испробованы с полнейшим неуспехом... Принцип провинциальной автономии и городского самоуправления повел к провозглашению отдельными провинциями и городами их независимости от Испании... Несостоятельность республики выказалась окончательно тем, что вожди партий принуждены были сами... отречься от своих принципов... Сам Кастеляр, великий оратор гуманности и свободы, должен был отнестись к федеральному принципу — бомбардированием, и, к ужасу своему, требовать восстановления смертной казни в войсках, объявлять осадное положение и т.д. Республика в Испании уже сама осудила себя, истощив все свои лекарства и возвратясь к старой методе лечения, когда Павия вырвал из ее рук ту палку, за которую она уже было взялась, но которую держала слишком нетвердо.

О правлении Серрано нечего говорить. В течение целого года он ничего не сделал, даже не дал названия своему правлению; оно оставалось каким-то инкогнито..." (38).

И далее Стасюлевич, сравнив качества двух противоборствующих ветвей Бурбонской династии, приходит к выводу о том, что в целом, как говорится, "обе они хуже", но что воцарение Альфонса XII было логичным результатом создавшегося в стране положения. Выводы Стасюлевича поневоле носят мрачноватую окраску, ибо ход дел в Испании оскорблял его чувства либерала, убежденного сторонника парламентарного прогресса, и человека, понимавшего поучительный смысл испанских событий для русской общественности.

Подводя итоги всему сказанному выше, можно констатировать, что в истории социально-политической мысли России XIX века осмысление опыта испанской Республики 1873 года было интересным эпизодом, свидетельствующим о специфике духовных поисков русской интеллигенции в соприкосновении с весьма драматичными обстоятельствами испанской общественной жизни. Ныне, спустя столетие, когда столь многое изменилось и в России, и в Испании, мы имеем достаточную перспективу, чтобы оценивать без ложной горячности как сами по себе исторические события XIX века, так и "светотени" в их восприятии современниками. Нас не вдохновит экзальтированный "республиканизм" в качестве панацеи от бед деспотического управления. Точно так же нас не может привлечь идея монархической власти без ее либеральной корректировки в рамках конституционно-правового государства. После горького опыта коммунистических и фашистских диктатур мы понимаем, что самое, казалось бы, "прогрессивное" решение "рабочего вопроса" может привести к торжеству самой безумной политической реакции. Поэтому мы куда как осторожнее, чем некоторые социальные утописты прошлого, воспринимаем любые "прогрессивно звучащие" лозунги. Умудренный жизнью человек всегда немного скептик; социальный опыт, окрашенный историческим самопознанием, всегда несколько мрачноват. Но и с такого рода поправками следует признать, что тематика настоящего обзора в сфере изучения русско-испанских связей XIX столетия может считаться актуально мотивированной.

#### П р и м е ч а н и я:

1. Здесь следует особо указать на деталь, которая, возможно, в перспективе времени кажется не очень существенной, но для современников событий, в том числе и *русских* современников, представлялась весьма важной. "Смена монархических династий", т.е. устранение династии Бурбонов и воцарение Амадея Савойского было фактом, глубоко отличным от реставрации Бурбонов после вступления на престол Альфонса XII. В этом плане показательны высказывания М.М.Стасюлевича на страницах "Вестника Европы", когда он, комментируя известие о провозглашении республики в 1873 году, характеризовал режим королевы Изабеллы Второй — "женскую линию Бурбонов" как "мнимую представительницу конституционализма"; "мужскую линию", т.е. Дон Карлоса как "представительницу легитимного абсолютизма", а короля Амадея в качестве символа "конституционной законности". ("Вестник Европы", 1873, Кн. 3, март, стр. 381-382). Все эти нюансы представлялись современникам событий явлениями принципиальными, и это необходимо учитывать, даже если теперь мы считаем не слишком важной разницу между царствованием короля Амадея и правлением какого-либо другого монарха. Бóльший или меньший налёт конституционализма в конкретной ситуации Испании 70-х годов прош-

лого века имел немаловажное значение после того, как — опять же по замечанию М.М.Стасюлевича — страна потратила тридцать пять лет (с 1833 года до революции 1868 года) на "неудачный опыт "либеральной" монархии". (Там же, стр. 381).

2. А.Гонсалес. История испанских секций Международного Товарищества Рабочих. 1868-1873 гг. М., 1964, стр. 64,66.

3. "Вестник Европы", 1873, Кн. 3, март, стр. 384.

4. Там же, стр. 385.

5. Эм. Денегри. Очерки новой испанской литературы. — "Дело", 1873, № 9, стр. 102.

6. Вообще-то очерки Эмиля Денегри (псевдоним Л.И.Мечникова) были видоизменением его же, прежде напечатанного в журнале "Отечественные Записки", цикла статей "Поездка в Испанию". Однако если сравнить между собой эти две публикации, то заметна большая разница между ними в очень любопытном ракурсе. Мечников значительно расширил в "Очерках", несмотря на их чисто, казалось бы, литературоведческую заданность, момент социально-политических характеристик и именно в них сквозит влияние Стасюлевича. Так, в очерке из цикла "Поездка в Испанию", имеющем подзаголовок "В вертограде испанской словесности" ("Отечественные Записки", 1869, № 8, стр. 345-375) приводятся те же статистические цифры, что и в "Очерках" из "Дела", однако рассуждения о "среднем классе", аналогичные тем, какие мы находим в "Вестнике Европы", появляются лишь здесь, хотя они были бы уместней в статьях 1869 года, не скованных чисто "литературным" названием. Характерно и то, что если в "Отечественных Записках" Мечников говорит о своем нежелании "вдаться в... подробности... экономические и политические, которые увлекли бы... далеко за рамки... статьи" (Указ. соч., стр. 349), то в "Очерках" из "Дела" он в них очень даже "вдается". Подобно Стасюлевичу, выступает он и против модного противопоставления испанцев другим европейским народам, доказывая подчиненность испанской истории общим законам исторического развития. Продолжив эту параллель, можно было бы найти и другие соответствия в суждениях Стасюлевича и Мечникова.

7. "Вестник Европы", 1873, март, стр. 388.

8. Там же, стр. 390.

9. Там же, стр. 400-401.

10. "Дело", 1873, № 3, стр. 261-297.

11. Там же, стр. 278.

12. "Испанский король Амадей I посланием к кортесам отказался от испанской короны. Кортесы ответили ему письмом, в котором выразили ему благодарность за его достойное поведение во время его царствования, и... провозгласили в Испании республику. В будущей хронике мы в подробностях коснемся этого важного события и посвятим ее вообще испанским делам." — "Дело", 1873, февраль, стр. 126.

13. Подобная "самоограниченность" журналистской задачи мстила за себя. От прогнозов, конечно, вполне избавиться не удавалось. Но само нежелание "прогнозировать" события, возвышаться над фактами, а не прос-

то их фиксировать, неизбежно порождало очевидные просчеты в суждениях. Так, сразу же за процитированной тирадой автор обзора "Политической хроники" говорил: "мы... не питаем никакой надежды на успокоение и мирный прогресс этой страны (т.е. Испании – А.Г.), раздираемой бесконечными переворотами и гражданской войной." (Там же). Известно, однако, что после 1875 года наступила определенная стабилизация режима, было покончено с карлистами и обеспечен был – пусть не слишком интенсивный, но очевидный прогресс в развитии государства. Таким образом, нежелание делать *какие-либо* "предсказания" приводило к предсказаниям *ошибочным*.

14. "Отечественные Записки", 1873, № 6, стр. 355-368.

15. Б.С.Итенберг. Первый Интернационал и революционная Россия. М., 1964, стр. 150.

16. "О событиях в Испании говорили члены вятского народнического кружка (см. ЦГАОР, ф. ОПИС, д. 235, 1874, л. 120 об.). О восстании в Испании говорили и петербургские рабочие (ЦГАОР, ф. ОПИС, д. 209, 1873-1874 гг., л. 295 об. и др.)." – Там же, стр. 215.

17. "Отечественные Записки", 1873, № 2, стр. 509.

18. Там же, стр. 510-511.

19. Там же, стр. 513.

20. Там же, стр. 518.

21. Там же, стр. 519.

22. Luis Maria Pastor. La politica que nace y la politica que expira. Madrid, 1871, pp. 29-21.

23. "Отечественные Записки", 1873, № 6, стр. 355.

24. Там же, стр. 357.

25. Там же, стр. 359.

26. Там же, стр. 368.

(‘Amadeo no queremos  
Carlos siete no viendra  
Entretante comeremos,  
Y el pueblo pagará.’)

27. "Дело", 1873, № 9, стр. 96.

28. Литературное Домино. (Псевдоним Д.Минаева). С птичьего полета. Поэма-фельетон. – "Дело", 1874, № 1, разд. 2, стр. 123-124.

29. "Русский Вестник", 1874, декабрь, т. 114, стр. 728-821.

30. Гр. Е.А.Салиас. Испания. Путевые очерки. – "Русский Вестник", 1874, апрель, т. 110, стр. 735-790. Там же, 1874, сентябрь, т. 113, стр. 45-77.

31. Гр. Евгений Салиас. Los novios. Рассказ. Из современных испанских нравов. – "Русский Вестник", 1874, март, т. 110, стр. 331-394.

32. Там же, стр. 332.

33. "Русский Вестник", 1874, октябрь, т. 113, стр. 449.

34. "Гражданин", 1874, № 1, 7 января. (Иностранные события).



35. "Дело", 1874, № 4, разд. 2, стр. 144.

36. "Дело", 1875, № 1, разд. 2, стр. 116.

37. Впоследствии в "Истории Испании XIX века" Пи-и-Маргалем была высказана примерно такая же мысль:

"После смерти Кастеляра в мае 1899 года Пи-и-Маргаль посвятил его памяти следующие строки:

"Кастеляр умер. Он был блестящим оратором и столь же блестящим писателем. Оплачем же как литератора того, кого мы не можем оплакивать как политика."

И действительно, Кастеляр-политик умер не в 1899, а в 1873 году."

(F. Pi-y-Margall. Historia de España en el siglo XIX. T. 5.

Barcelona, 1902, p. 591).

38. "Вестник Европы", 1875, февраль, кн. 2, стр. 831-832.

## ЛАКИРОВКА ИЗРАИЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

В "Современнике" № 39-40 опубликована обстоятельная статья Г.Галина и О.Исаенко о тридцатилетней истории Израиля. Авторы приводят множество фактов о событиях этих лет внутри и вне Израиля, но осведомленного читателя постепенно берет досада: уж чересчур явно авторы замалчивают или трансформируют факты с целью апологетики. И напрасно: величие Америки вовсе не страдает от дела Уотергейт, но очерк о ее современной истории, замалчивающий это дело, возбудил бы только сомнения в квалификации автора. А вот гг. Галин и Исаенко почему-то скрывают важнейшие факты израильской истории.

Например, когда и почему ушел от власти Бен-Гурион? Сорок лет управлял он страной – сначала через профсоюзный центр Гистадрут, потом через иммиграционное агентство Сохнут и, наконец, во главе правительства. Об этом – ни слова. Авторы статьи с претензиями на анализ чуть ли не всей истории Израиля, не сочли возможным хотя бы упомянуть о пресловутом "деле Лавона", годами сотрясавшем Израиль. Дело Лавона – это засылка в 1954 году провокаторов в Египет для возбуждения там беспорядков и ухудшения американо-египетских отношений; последовавшие затем подделка документов и лжесвидетельства с целью запутать это дело и, наконец, противозаконные политические интриги с целью захвата власти. В результате Бен-Гурион сбросил в июне 1955 г. правительство Шарета и вернул себе власть после своей временной отставки в декабре 1953 года. Однако в 1963 году, после второго раунда "дела Лавона", он вынужден был уйти по требованию своей партии (Эшкола, Шарета, Голды Меир и Сапира).

Ничего не пишут Г.Галин и О.Исаенко о причине отставки Рабина в 1977 году (нарушение валютных законов).

Неудивительно, что по адресу Голды Меир у авторов – особенно густая апологетика. На этом стоит остановиться подробнее. Прежде всего, авторы делают странную ошибку, сообщая, что правительство Голды Меир получило в марте 1974 года единогласный вотум доверия в кнессете. (См.: "Современник", № 30-40, стр. 200). Этого, конечно, быть не могло – ведь сами авторы указывают на предыдущей странице, что парламентская коалиция Голды Меир получила на выборах 68 депутатских мест из 120 в кнессете. Еще важнее то, что авторы затушевывают драматичность ухода этого правительства в отставку всего через месяц после его формирования, указывая, что Голда Меир, якобы, неоднократно просила об отставке.

Действительность была иной: Голда отчаянно цеплялась за власть. Вот что писала в те дни газета "Хаарец": "Сколько раз она уходила и

возвращалась? Сколько раз она грозилась уйти в отставку? Сколько раз она хлопала дверью "в последний раз"? Трудно вспомнить. Она похожа на человека, взволнованно и драматически прощающегося со всеми знакомыми и внезапно возвращающегося, потому что оказались забыты чемоданы... Но люди, которых она хочет видеть в правительстве, либо незнакомы обществу, либо общество их не хочет..." (Цит. по журналу "Клуб", № 15, от 13 июня 1974 г.). Общественность была возмущена политическими ошибками Голды: она отклонила выдвинутый Америкой в 1970 году "план Роджерса" (позтапный вывод израильских войск с Синая и открытие Суэцкого канала в обмен на позтапный мир), чем сделала неизбежной войну в октябре 1973 года. Об этом периоде авторы пишут в безмятежном стиле ("Временами на фронте перестреливались, а в ООН дипломаты воюющих сторон переругивались"). А между тем, могли ли продолжаться вечно закрытие Суэцкого канала (для черноморских портов СССР это было катастрофой) и оккупация арабских территорий?

Упомянутая уже газета "Хаарец" писала: "Всё то, что случилось с нами сейчас, — это то, чему противилась Голда Меир все эти 5 лет, и мы уплатили высокую цену: великие державы вмешиваются в наши дела, мы отступаем, а мира нет; упрямство сделало нас одинокими, а наше пренебрежение палестинским вопросом принесло горькие плоды." Вот каковы "достоинство и такт", с которыми, по словам Галина и Исаенко, Голда Меир использовала чувство престижа, созданное израильской победой 1967 года.

По мнению авторов, Израиль хотел мирных переговоров с арабами без всяких условий. Сошлемся еще раз на газету "Хаарец": "Политическая линия Голды Меир — мы хотим мира без предварительных условий, но при условии, что мы не должны возвращаться к границам 1967 года; при условии, что арабы не выставят никаких условий; при условии, что мы не вернем Голаны, Шарм-ал-Шейх и Иерусалим. Кроме этого, мы хотим мира без условий... — Ее линия с самого начала была линией ястреба, непримиримой, негибкой."

В настоящее время эта оценка общепонятна, но еще при избрании Голды Меир в 1969 году премьер-министром, произошел драматический инцидент, о котором, к сожалению, не рассказали "обстоятельные авторы" — Галин и Исаенко. Поднявшийся на трибуну кнессета Бен-Гурион сказал: "Кандидат на должность главы правительства скрыла от народа некоторые свои недостатки, которые могут превратиться в пороки и *навлечь несчастье на народ*... У нее есть одно дурное свойство — ненависть. *Ненависть* сводит ее с ума." Совершенно поразительная аналогия — даже словесная — с завещанием Ленина, который тоже в последний момент в 1923 году понял, что может сотворить Сталин с его наследием и потребовал его отставки, но тщетно... Бен-Гурион, конечно, знал в 1939 году этот документ...

Мы не случайно вспомнили здесь Ленина. Галин и Исаенко принципиально умалчивают о том, что режим, созданный в Израиле Бен-Гурионом, был последовательно социалистическим; после завоевания незави-

симости и сближения с Западом был объявлен своего рода НФП. Кибуцы, составляющие одну из важных опор власти, представляют явление, невиданное и в СССР; члены кибуца не получают зарплаты, не имеют собственности, а их дети не получают в кибуцных школах документов об образовании; всё это, вместе с отсутствием в Израиле системы сдачи квартир в наем (их можно только получить у государства — как в СССР, или купить), создает для кибуцников, их детей, внуков и правнуков — крепостное право... Одна из кибуцных ветеранок недавно рассказала о кибуцной атмосфере: "В кибуцах — и далеко не только в первые их годы — оскорбляли и травили людей, одаренных музыкальными и литературными способностями, преследовали всех тех, кто одевался "не как все", кто отличался, кто выделялся из массы... Израильское общество претерпело на своем пути множество изменений, но и поныне в нем гнездится тот же страх и агрессивная ненависть к выделяющимся из стандарта личностям — вернее, к индивидууму вообще." ("Сион", 1977, № 18, стр. 204). Замалчивая это и иронизируя над "мудрейшим из мудрых", авторы статьи в "Современнике" вводят читателя в заблуждение. Сталин знал, что Израиль — социалистическое государство и поэтому поддержал его создание, в том числе поставками чехословацкого оружия.

Невероятно, но Галин и Исаенко нигде не упоминают даже имени Вейцмана, первого президента Израиля и инициатора знаменитой декларации Бальфура 1917 года. Не из-за его ли завещания? Будучи уже тяжело больным, Вейцман вызвал своего близкого друга Меира Вейсгала и сказал ему: "Мне очень трудно, находясь в беспомощном состоянии, видеть все ошибки, совершаемые в этой стране. Бен-Гурион совершил нечто такое, чего бы я никогда не сумел совершить. Но не хотелось бы мне присутствовать при том, когда он сам попытается разрушить всё то, что он помог создать и ради чего мы столько лет боролись."

Авторы не сказали ничего и о бывшем министре финансов Пинхасе Сапире, а ведь его называли "королем Израиля". Именно этот "серый кардинал" сбросил Бен-Гуриона и сделал лидерами Эшкола, Голду Меир и Рабина. После же его отставки в 1974 году стало известно, что он был замешан в громадных финансовых скандалах.

Совершенно непонятным образом авторы ровно ничего не рассказали о выборах 1977 года, которые в Израиле названы "переворотом", т.к. впервые за 30 лет социалисты потеряли власть. Авторы не описали ход предвыборной кампании, когда "в считанные месяцы один из лидеров социалистов, назначенный на пост управляющего государственным банком, попал в тюрьму, министр строительства покончил с собой, а глава правительства ушел в отставку в результате нарушения законов." (Воззвание Ликуда — журнал "Шалом", 1977, № 5). Авторы ничего не сказали даже о создании новой партии — "Демократическое движение за перемены", сыгравшей главную роль в свержении социалистов под лозунгом: "Внутренний фронт — решающий. Необходимо навести порядок дома. Внешнеполитические проблемы будут в любом случае решены американцами." ("Время и Мы", № 16, стр. 213). Лидер этой партии профессор Игал Ядин стал

после выборов заместителем премьер-министра.

На поверку "обстоятельная" внешне статья Галина и Исаенко оказывается крайне поверхностной и убогой по мысли. Не удивляешься, прочитав у них о "построении государства, впитавшем все образцы современной цивилизации с экономическим базисом и всеохватывающей надстройкой..." Что, собственно, это должно означать? Как известно, экономический базис – это производственные отношения, т.е. экономический строй, а надстройка – это политический режим. Вряд ли авторы хотели высказать банальную истину, что в Израиле есть и экономический, и политический строй; но вряд ли также они имели в виду, что в Израиле смешаны все известные в современном мире образцы режимов... В лучшем случае можно было бы посоветовать гг. Галину и Исаенко не пользоваться марксистскими терминами...

Можно также упомянуть о поверхностном обвинении У Тана в отводе войск ООН с египетско-израильской границы. Авторы, очевидно, не помнят, что войска ООН стояли на территории Египта и по соглашению с ним должны были быть выведены по его требованию; расположить же эти войска также и на своей стороне границы Израиль в 1956 году не согласился... Или об обвинении великих держав, что они равнодушно наблюдали за войной Израиля за независимость. Именно несколько решительных резолюций Совета Безопасности заставили арабских интервентов прекратить огонь и дали возможность молодому еврейскому государству получить помощь оружием и людьми из-за границы. Или еще о подписании в "Думбартон-Оксе" устава ООН: в *Думбартон-Оксе* устав был разработан, а подписан на конференции в Сан-Франциско...

Замалчивание пороков государства – это опасное явление. Сейчас, когда правительство Бегина обещало провести глубокие реформы, а социалисты в Гистадруте и клерикалы в правительстве намертво блокировали их, только давление общественного мнения может дать Бегину шанс осуществить преобразования в израильском обществе.

Париж, 1979 г.



ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

### РУССКИЕ ПОЭТЫ ХАРБИНА

В первые годы эмиграции русское Зарубежье не имело единой культурной столицы. Центры возникали в Софии, Белграде, Берлине, Праге, в Таллине. Позднее наметился главный центр в Париже, но Харбин остался на далекой периферии – почти без связей с Парижем. Исторически Харбин был русской имперской концессией – в первые годы со своей полицией и своим судом. Но почти до конца имел он русский Биржевой Комитет, русский Банк Домовладельцев, русские учебные заведения, включая несколько высших, русские книгоиздательства, газеты, журналы, библиотеки, спортивные клубы, землячества, политические и профессиональные объединения, больницы и собственную русскую благотворительность. Русский университетский город на чужой земле – в истории России это явление единичное.

Среди беженцев, хлынувших в Харбин по окончании гражданской войны в Сибири, были и поэты. Самым значительным среди них был Арсений Несмелов, еще в России (в Москве и Владивостоке) издававший свои сборники стихов и рассказов. В Харбине он приобрел подлинное мастерство и издал сборники "Кровавый отблеск", "Без России", "Полустанок" и "Белая флотилия", да еще поэмы – "Через океан" и "Протопопицу".

Сначала Несмелов не хотел видеть Китай (наши отцы верили в то, что очень скоро вернутся в Россию и что в Китае, как и в других странах рассеяния, "раскладываться не стоит"). Когда стало ясно, что возвращение, по меньшей мере и по самым оптимистическим расчетам, откладывается на долгий срок, поэт стал задумываться о судьбах русских изгнанников в Китае, о неизбежном растворении русской капли в китайском море (как однажды уже случилось с казаками "албазинцами", взятыми в плен маньчжурами и уведенными в Пекин в 1685 году).

Несмелов обладал острым чувством истории и необычайной прозорливостью. Угадывал он и поражение Японии, и конец русского Харбина, и собственный конец – комедию суда и беспощадный приговор. Была в нем рыцарская решимость стоять до конца, не изменять своему призванию поэта ни при каких обстоятельствах. Трагизмом проникнуты многие его стихотворения; приведу одно из них – "В затонувшей субмарине":

Облик рабский, низколобый  
Отрыгнет поэт, отринет:  
Несгибаемые души  
Не снижают свой полет.

Но поэтом быть попробуй  
В затонувшей субмарине,  
Где ладонь свою удушье  
На уста твои кладет,

Где за стенкою железной  
Тишина подводной ночи,  
Где во тьме, такой бесшумной –  
Ни надежд, ни слез, ни вер,

Где рыдания бесполезны,  
Где дыханье всё короче,  
Где товарищ твой безумный  
Поднимает револьвер.

Но прекрасно сердце наше,  
Человеческое сердце:  
Не подобие ли Бога  
Повторил собой Адам?

В этот бред, в удушный кашель  
(Словно водный свод разверзся)  
Кто-то с ласковостью строгой  
Слово силы кинет нам.

И не молния ли это  
Из надводных, наднебесных,  
Надохваченных рассудком  
Озаряющих глубин, –

Вот рождение поэта,  
И оно всегда чудесно,  
И под солнцем, и во мраке  
Затонувших субмарин.

Субмарина Арсения Несмелова не выплыла. В августе 1945 года он был насильно увезен в чужую, страшную Россию и "умер, не доехав до места назначения".

Другим поэтом старшего поколения был Всеволод Иванов, человек тонкой культуры. Творчество его весьма разнообразно, но мне лучше всего запомнилась его "Поэма еды", в которой он со знанием дела рассказал о древних обжорах и русских любителях широкой масленицы. Помню, как этот мамонтоподобный человек подымался из-за стола и произносил низким, сочным голосом первую строфу этой бодрой, жизнерадостной поэмы:

Возьмешь высокую тему, —  
С высокой темой беда!  
Давайте, напишем поэму,  
Которой тема — еда.

В конце сороковых годов Всеволод Никанорович уехал из Шанхая в Россию. Умер в Хабаровске 9 декабря 1972 года.

Третьим поэтом старшего поколения, известным в Харбине в двадцатые и тридцатые годы, был Алексей Ачаир (Грызов). Писал он много, подчас претенциозно, а запомнился лучше всего своим стихотворением об эмиграции — о том, что все мы — не в изгнании, а в послании (отличная формула):

И за то, что нас родина выгнала,  
Мы по свету ее разнесли!

Ключевое слово ко всей жизни Алексея Алексеевича: **в е р н о с т ь**. До конца остался он верен России, родному казачеству. В августе 1945 года был он взят из Монастырской больницы и увезен на Колыму. Отбыв десятилетний срок, вышел дряхлым стариком. Прожил еще несколько лет в Сибири.

Так же одержима патриотической темой была Марианна Колосова. Если Ачаир имел хорошую службу (был он секретарем Христианского Союза Молодых Людей), то Несмелов и Колосова жили только газетными и журнальными заработками. Именем Колосовой поэтесса подписывала только свои стихи *о главном*: о верности России, но, как это ни звучит парадоксально, лучшие стихи Марианны Ивановны написаны на другие, более широкие, темы. Их она считала "недостойными" и подписывала гетеронимами ("Елена Инсарова", "Джунгар").

К началу тридцатых годов стали мелькать на страницах лучшего на Дальнем Востоке журнала "Рубеж" имена молодых поэтов, выросших в Харбине. Большинство их группировалось вокруг Чураевки при ХСМЛ, под крылышком Ачаира. "Рубежу" обязаны своими первыми успехами Лариса Андерсен, Георгий Гранин, Ирина Лесная, Елена Недельская, Василий Обухов, Валерий Перелешин, Николай Петерец, Елизавета Рачинская, Наталия Резникова, Григорий Сатовский-Ржевский младший, Сергей Сергин, Владимир Слободчиков, Ольга Тельтофт, Лидия Хаиндрова, Николай Ше-



голев и многие другие.

Несмотря на тяжелые условия жизни в оккупированной японцами Маньчжурии, Несмелов, Иванов, Ачаир, Колосова успели издать почти всё. Не отставали и младшие. Лариса Андерсен издала свою книгу "По земным лугам...", Лидия Хаиндрова – свои "Ступени" и "Крылья", Григорий Сатовский-Ржевский – "Золотые кораблики", Елена Недельская – "У порога" и "Белую рошу", Василий Обухов – "Песчаный берег", Наталия Резникова – "Песни земли" и "Ты", Ольга Тельтофт – "Бренные песни", Валерий Перелешин – "В пути", "Добрый улей", "Звезду над морем". Последними сборниками русских поэтов, изданными в Харбине, были пятая книга Алексея Ачаира "Под золотым небом" и "Жертва" Валерия Перелешина.

Когда "Жертва" печаталась в типографии "Заря" в Харбине, Валерий Перелешин жил в Шанхае. Издавала книгу его мать, известная журналистка Евгения Александровна Сентянина. Вскоре выяснилось, что на рынке имела для обложки только желтая бумага, и что краска была тоже только одна – зеленая. С тех пор Евгения Александровна ласково называет книгу "Жертва" – "яичницей с луком".

Русская поэзия в Харбине закончилась в один день, в августе 1945 года. Ачаир, Несмелов, Обухов были увезены (Обухов позднее вернулся в Харбин пешком и почти сразу умер от рака). Всеволод Иванов, Колосова, Андерсен, Хаиндрова, Щеголев, Слободчиков, Резникова, Лесная, Перелешин были уже в Шанхае. Гранин и Сергин умерли еще в 1935 году. Петерц умер в Шанхае в конце 1944 года. "Гарри" Сатовский-Ржевский умер в Харбине вскоре по окончании войны.

В настоящее время из харбинских поэтов живы только Лариса Андерсен (во Франции), Лидия Хаиндрова (в Екатеринодаре), Елизавета Рачинская (в Лондоне), Владимир Слободчиков (в Москве), Наталия Резникова (в США), Ирина Лесная (в Парагвае) и Валерий Перелешин (в Бразилии). Лариса Андерсен пишет очень мало. Слободчиков, Резникова, Рачинская, Лесная замолкли. Продолжают писать только Лидия Хаиндрова и Валерий Перелешин, вернувшийся в литературу в 1967 году и с тех пор издавший сборники "Южный дом", "Качель", "Заповедник", "С горы Нево" и "Ариэль", да еще антологию китайской классической поэзии "Стихи на веере" и перевод поэмы Цюй Юаня "Ли Сао".

## Проф. АЛЕКСАНДР ДЫННИК

А. С. ГРИБОЕДОВ (1794 – 1829)

(К 150-летию смерти автора "Горя от ума")

В 1806 году студентом Московского университета стал 12-летний мальчик – Саша Грибоедов. Это был единственный случай в истории университета, когда студентом филологического факультета стал юноша столь раннего возраста. Правда, домашним воспитанием этого, родившегося в богатой и родовитой семье, мальчика руководили просвещенные иностранцы-гувернеры и профессора университета, но без необыкновенных способностей Александра, конечно, не приняли бы в университет. В 1808 году он кончает филологический факультет, в 1810 году юридический. Поступив в этом же году на естественно-математический факультет Александр Сергеевич наверно окончил бы и его, если бы не война 1812 года, в которой, охваченный порывом патриотизма, он принял участие, как доброволец. Впрочем, военная служба скоро разочаровала Грибоедова и в 1816 году он уходит в отставку и приезжает в Петербург. Здесь он был принят на службу в министерство иностранных дел. Человеку такого широкого образования и передовых взглядов, каким был уже тогда Грибоедов, было нетрудно сблизиться со столичными писателями и поэтами: Пушкиным, Кюхельбекером, Катениным, Рылеевым и др. В среде просвещенных и выдающихся людей искусства Грибоедов вскоре становится известным не только, как человек необычайно глубокого ума, но и как человек разносторонних интересов и выдающихся, ярких способностей: талантливый поэт, замечательный музыкант-пианист, тонкий знаток театрального искусства и т.д.

Именно здесь в Петербурге Грибоедов по-серьёзному начинает пробовать свои силы в драматургии. Самостоятельно или сообща с некоторыми другими драматургами, он написал несколько пьес, которые с успехом были поставлены в театре. Наиболее известны "Молодые супруги", написанной в жанре традиционной светской комедии, и, ближе стоящая к реализму, комедия "Студент", в которой Грибоедов в остроумной форме высмеял уродливые крайности синтимиализма. В этом же городе зарождается у Грибоедова замысел его знаменитой комедии "Горе от ума". Для работы над комедией Грибоедову чрезвычайно было важно наблюдение над жизнью столичного дворянства, но как раз в это время (1818 г.) он был принужден покинуть столицу в наказание за участие в дуэли, которые тогда были еще строжайше запрещены. Грибоедову было предложено ехать на службу при русском посольстве в Америке или в Персии (теперь Иран). Грибоедов выбрал Персию. В 1819 – 1822 гг. Грибоедов живет сначала в Тегеране, а потом в Тавризе. Кроме дипломатических занятий много времени он уделяет изучению восточных языков: иранского и арабского. Владея в совершенстве главнейшими европейскими языками, Грибоедов сделался выдающимся полиглотом.

Не оставляет он здесь дальнейшую работу над "Горе от ума". В 1822 году Грибоедову удается получить перевод в Тифлис на место секретаря по иностранным делам при главнокомандующем русскими войсками на Кавказе. Чтобы оживить воспоминания о жизни дворянского света и закончить комедию, Грибоедову хотелось побывать в Москве. Благодаря содействию своего начальника – генерала Ермолова – Грибоедов получил продолжительный отпуск в Москву и Петербург. В мае 1823 года, когда Грибоедов приехал в Москву, у него уже были записаны первые два акта комедии. В Москве, под влиянием свежих впечатлений, Грибоедов много работает и уже к концу года успевает черне закончить свой труд. Свое произведение Грибоедов читал в домах многих писателей и артистов, и везде с потрясающим успехом. Автор "Горе от ума" стал вскоре знаменитым драматургом. Грибоедов подверг страстной и резкой критике социальные и нравственные недостатки русского общества 20-ых годов 19 века. Основной конфликт пронизывающий комедию – столкновение "века нынешнего" с "веком минувшим". Изображение борьбы взглядов ретроградной массы дворянства – оплота старины, с нарождающимся типом нового человека – честного, волевого и человеколюбивого – придает пьесе не только острополитический, но также общечеловеческий смысл и значение.

В "Горе от ума" – 4 акта и сюжет комедии несложен. Главный герой комедии – Александр Андреевич Чацкий – единственный здравомыслящий человек, представитель "века нынешнего", противопоставлен 25-ти "глупцам" – олицетворяющим пустоту жизненных интересов устаревшего уклада жизни со всем его ароматом: произволом, деспотизмом, высокомерием по отношению к слабейшим, и низкопоклонством, лестью, лицемерием, угодничеством по отношению к сильнейшим. Первым противником Чацкого по взглядам является богатый барин и важный чиновник – Равел Афанасьевич Фамусов. Кроме него "век минувший" представлен и другими персонажами. Здесь и недалекий и ограниченный солдафонкарьерист – полковник Скалозуб, и подхалимствующий чиновник, готовый на любую низость, лишь бы "дойти до чинов известных", но внешне почтительный и скромный секретарь Фамусова – Молчалин. К фамусовскому кругу относятся также и светский мошенник и картежный плут Загорецкий, модный франт и пустомеля Репетилов, выжившие из ума московские барыньки Хлестова, княгиня Тугоуховская и целый ряд других характерных типов уходящих в прошлое. Впрочем, в комедии выступают люди самого различного общественного положения: от сливок московской дворянской знати до крепостных слуг. Между фамусовским лагерем и Чацким стоит Софья – дочь Фамусова. В её образе Грибоедов показал как незаурядная по уму девушка поработена ложным воспитанием. В финале комедии, поняв, что она стала жертвой ложных представлений, Софья переживает трагедию, возможно более глубокую, чем сам Чацкий.

Хотя Чацкий и оказался жертвой своего живого и пытливого ума, будучи сломлен количеством старой силы, но своим по-молодому горячим и благородным бунтарством, он, тем не менее, наносит страшный удар по миру старому. Именно в этом заключается оптимистический пафос этой

обличительной пьесы. Грибоедов отнес "Горе от ума" к жанру комедии. Однако, в этом отношении уже в критике 19 века были различные мнения. В самом деле строго говоря, "Горе от ума" (первоначальное название "Горе уму") нельзя отнести к жанру бытовой комедии, т.к. на первом плане пьесы не любовная интрига, а общественная коллизия. В.Г.Белинский видел в этой пьесе комедию-драму, т.к. положение ума (т.е. здравомыслие и преданность высоким общественным идеям) проявилось здесь в аспекте драматическим и даже трагическим. Ведь Чацкий настолько был подавлен и унижен фамусовской Москвой, что вынужден был бежать. Ап. Григорьев, наоборот, считал, что Грибоедов имел все основания считать свою пьесу комедией, т.к. Чацкий выглядит не только драматически, но и фигурой комической, он смешон хотя бы тем, что его речи никого не убеждают, а та среда с которой он единоборствует как Дон Кихот, неспособна не только понять его, но и отнестись к нему серьезно. И.А.Гончаров, также указывал на жанровое своеобразие "Горе от ума". В пьесе этой он видел не только блестящую комедию, представляющую в смешном виде галерею живых типов и картину нравов, но также и вечно жгучую сатиру против всякой душевной грязи в человеке, любого гнилого общества в котором процветает угнетение, раболепство, подлость и отсталость.

В "Горе от ума" комические сцены сменяются патетическими, благодаря этому в пьесе сочетаются не только социальная сатира и комедия нравов, но и психологическая драма. Этим Грибоедов повел русскую драматургию по новому пути, поставил перед ней новые задачи, открыл новые возможности.

Замечательным новатором оказался Грибоедов также в деле развития языка русской драматургии. Ему удалось в совершенстве передать своеобразие и общий колорит речи людей фамусовского круга, в котором, как едко и насмешливо подмечает Чацкий, говорят на смеси языка "французского с нижегородским". Одновременно, создавая образы персонажей, Грибоедов блестяще разрешил важнейшую для писателя-реалиста задачу речевой характеристики своих героев. Каждое действующее лицо комедии говорит четко индивидуализированным, свойственным ему живым, разговорным языком. Это было особенно трудно сделать, так как комедия написана стихами. Кроме того, особой заслугой автора является и то, что ему удалось добиться удивительной легкости стиха. В этом произведении Грибоедов обратился к разносложному ямбу, т.е. шестистопный ямб он варьировал с другими ямбическими размерами – от односложного до пятистопного. Именно благодаря вариациям этих размеров стихи приобретают характер живой непринужденной беседы. Легкость стиха, непринужденность языка пьесы произвели в литературных кругах того времени особое впечатление. Недаром Пушкин, прочитав комедию сказал: "О стихах не говорю – половина должна войти в поговорки". Пушкин оказался прав: в русскую разговорную речь вошло много стихов из "Горе от ума".

Кто не слышал такие, например, выражения: "Счастливыз часов не наблюдают", "Свежо предание а верится с трудом", "И дым отечества нам сладок и приятен", "Что за комиссия Создатель быть взрослой дочери

отцом", "Блажен кто верует, тепло ему на свете", "Ах, злые языки страшнее пистолета", "Служить бы рад, прислуживаться тошно". Эти, и многие другие словесные блески из "Горя от ума", обратились в пословицы и поговорки, которые настолько вошли в русскую речь, что происхождение их кажется народным.

Заслуга Грибоедова была еще и в том, что ему в живой стихотворной форме удалось передать и обычно ведущиеся в московских гостиных разговоры, а также метко изобразить в действующих лицах комедии некоторых характерных представителей московской консервативной знати. Это еще более заставило "европейский" Петербург ждать с осени 1824 года (когда была закончена пьеса) посрамления "азиатской" Москвы на сцене театра. И когда Грибоедов летом 1825 года приехал в северную столицу, чтобы получить разрешение на издание комедии в печати, его тамошние друзья и почитатели устроили ему восторженную встречу. Несмотря на неслыханный успех чтений пьесы постановка ее не могла состояться. Старая московская знать, видевшая себя задетой сатирой Грибоедова, злобно возмутилась против автора и сделала все, чтобы добиться запрета появления комедии на сцене, так и в печати. Тем не менее, комедия Грибоедова стала широко известной: в многочисленных рукописных экземплярах она разошлась по всей России. Особенный успех она имела в кругах будущих декабристов, с некоторыми представителями которых Грибоедов, в это время, поддерживал тесные дружеские связи. В том же 1825 году Грибоедов возвращается на Кавказ, но в начале 1826 года его арестовывают по подозрению в принадлежности к декабристскому заговору. Хотя Грибоедов сочувствовал многим идеям декабристов, но формально он не был членом их тайного общества, так как сомневался в успехе их движения. Кроме того, предупрежденный заранее, Грибоедов успел сжечь все компрометирующие его бумаги. Поэтому на следствии никаких улик, отличающих его в антисоударственной деятельности найдено не было и через пять месяцев он был освобожден и снова уехал на Кавказ. В 1826-1827 гг. шла война с Персией. После победы русских, Грибоедов принял деятельное участие в заключении, очень выгодного для России, Туркманчайского мира. В награду за службу Грибоедов был назначен русским посланником в Персии. Однако, назначение на высокое положение Грибоедов принял с грустью и тяжелыми предчувствиями: он понимал, что это его назначение угрожало его жизни, так как персидское правительство, видевшее в нем дипломата навязавшего Персии заключение невыгодного договора, будет относиться к нему с ненавистью и жадой мести.

По пути в Персию Грибоедов на несколько месяцев задержался в Тифлисе, где женился на грузинской красавице-княжне Нине Чавчавадзе. С молодой женой Грибоедов отправляется в Персию. Два месяца он проводит в Тавризе, но так как служба требовала его присутствия в столице Персии, то Грибоедов, оставив из предосторожности жену, в самом конце 1828 года едет в Тегеран. В Тегеране он принял под свое покровительство персидских христиан, скрывши некоторых из них в здании посольства. Персидские вельможи, воспользовавшись представившимся случаем, стали

подстрекать мусульманские толпы силой захватить скрывавшихся. В результате штурма здания 37 членов дипломатической миссии, в том числе и сам Грибоедов, были убиты. Это произошло 30-го января 1829 года. Изуродованное тело писателя было отправлено в Тифлис и было погребено при монастыре св. Давида. На памятнике Грибоедову вырезана надпись, составленная его вдовой: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебе любовь моя."

Действительно, уже одним только произведением – поистине замечательной комедией "Горе от ума" – Грибоедов обессмертил свое имя в литературе.

Эта комедия, подобно шекспировскому "Гамлету" или "Дон Кихоту" Сервантеса, полна глубокого общечеловеческого смысла. Страстный протест против зла и возвышенные духовные устремления пьесы не утратили, во многом, своего жара и до сих пор. Именно поэтому конфликт "Горе от ума" актуален и в наши дни, продолжает волновать современного зрителя или читателя.

Еще И.А. Гончаров верно отметил, что "Чацкие живут и не переводятся в обществе... где... длится борьба свежего с отжившим, большого со здоровым... Каждое дело требующее обновления вызывает тень Чацкого... Вот отчего не состарелся до сих пор и едва ли состареется когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия".

Спору нет, в наш прогрессивный век, современные враги здравомыслия в России засели во множестве в "номенклатуре", а самые неистовые попав в Кремль, обрели почти безграничную власть, и безмерной подлостью, коварством и бесчеловечием подавляют тех, кто не хочет "для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи". Но следует отметить, что и Чацкие теперь тоже другие. Современный Чацкий – уже не романтический одинокий протестант, а один из самоотверженных и неукротимых молодых, по духу, людей российской современности, которые с жертвенной настойчивостью готовы вести беспримерную борьбу с рабым молчанием, и отстаивать права разума и силы слова.

В результате, несмотря на жесточайшие репрессии и драконовский террор, современный вариант скалозубовщины подвергается, как известно, все новым и новым ударам. Конечно, в сегодняшней России современные Чацкие, в общем, пока все еще слабы. Но уже сейчас можно сказать, что благодаря им спокойное и беспечное существование нынешних кремлевских Фамусовых и Скалозубов идет к концу. И если число новых, современных Чацких достигает весьма зловещих для режима пропорций то, в значительной мере, в этом повинно влияние таких вершинных произведений русской литературы, к числу которых относится также и жемчужина русской сцены – пьеса А.С. Грибоедова "Горе от ума".

**Проф. ЕКАТЕРИНА КУЛЕШОВА**

О СИМВОЛИКЕ И РАЗВЯЗКЕ В САТИРЕ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА  
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА".

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-89) – русский Свифт прошлого века – возведен на пьедестал "великого национального писателя" у себя на родине. На западе же он известен только как автор романа "Господа Головлевы", а в этом году выйдет первый английский перевод его сатиры "История одного города" (1). Как известно, сатира герает со временем свою остроту и актуальность, если она не является высоко-художественным произведением и не отражает универсальные темы. Из всех многочисленных сатир Салтыкова "История..." и является бессмертным произведением благодаря своей художественности и идейности, связанной не только с социальной темой, но и с натурой человека вообще. "История..." многократно привлекала внимание критиков (2), каждый из них черпал из эзоповского языка сатиры то, что ему было по душе (или что разрешалось цензурой данного времени), не считаясь с композицией и художественными приемами произведения. Поэтому и имеется с пошдьюжины различных интерпретаций развязки "Истории...". Если же вникнуть в виртуозность эзоповского языка сатиры, ее символику и основные идеи, то получается единственно возможное толкование аллегорической развязки "Истории...", что в свою очередь рассеивает "революционный" миф о Салтыкове и его социально-политической сатире.

"Историю одного города" (1869-70) можно без преувеличения назвать сатирической энциклопедией шестидесятых годов прошлого столетия: фоном действия служат такие исторически важные события, как великие реформы, польское восстание, инфляция, пожары и голодовки в стране; проблемы внешней и внутренней политики, вопросы образования, цивилизации, законодательства, книгоиздательства, либерализма и консерватизма в России затронуты и высмеяны в аллегорической форме. Текст сатиры пропитан информацией из журналов, газет и книг того периода. Около пятидесяти имен исторических лиц и современников Салтыкова вкраплены в сатирическое повествование.

По форме "История..." – летопись города Глупова от 1731 года до 1825 года, но этот жанр исторических писаний и хронология аллегоричны по цензурным и идейным соображениям. Салтыков воскресил прошлое России, сплавив его с настоящим, с целью создать пародию на современных ему историков и их псевдо-научные публикации, и передать мысль о закоренелости устоев русской жизни вообще:

"... те же самые основы жизни, которые существовали в 18 веке, – существуют и теперь. Следовательно, "историческая" сатира не была для меня целью, а только формой"(3).

или:

"Для меня хронология не представляет стеснений, ибо... я совсем не историю предаю осмеянию, а известный порядок вещей" (т. 18, стр. 235).

Бывший фурьерист и представитель либеральной интеллигенции, Салтыков, как никто другой, ознакомился с "порядком вещей" своей родины: семь лет он провел как ссыльный в Вятке и почти двадцать лет прослужил на государственной службе, занимая должность вице-губернатора в Рязани и Вятке, инспектора военных учреждений во время Крымской войны; работал над проектами по реорганизации и улучшению внутренней охраны, налоговой системы страны, и т.д. Он много путешествовал по стране, общаясь с самыми разнообразными слоями населения и представителями различных политических, социальных и литературных течений. В 1867 году после ссоры с тульским губернатором Салтыков вышел в отставку, затем сотрудничал в некрасовском "Современнике" и "Отечественных записках", опять-таки общаясь с социалистами, народниками, нигилистами, славянофилами и западниками. Богатейший материал, который он вынес из собственного опыта, облекся в художественную форму "Истории..." и других сатир, где беспощадно высмеиваются идеи и нравы всех групп, течений и их отдельных представителей. Салтыков был далек от сентиментальности и иллюзий, которые господствовали в эпоху Великих реформ. Несмотря на многочисленные влияния, он до конца своих дней сохранил свою независимость мыслителя и художника, боровшегося за свои идеалы и убеждения, что особенно сказывается в "Истории...".

Исходный пункт художественной сатиры – идеал или возвышенные убеждения писателя, иначе высмеивание и бичевание недостатков людей и общества не имеют смысла. Сам Салтыков это подчеркивает:

"Для того, чтобы сатира была действительно сатирой и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало" (т. 5, стр. 375).

Жало салтыковской сатиры направлено, прежде всего, против человека-автомата, утратившего связь с природными данными своей природы и жизни под влиянием традиций, законов, указов и новых веяний; против человека, превратившегося в марионетку и *глуповца* (4). Летописцы-историки строчат "летописи", по традиции превозносятся заслуги правителей. Градоначальник Брудастый с органчиком в голове способен навести порядок и заслужить уважение среди глуповцев только двумя фразами: "Не потерплю!" и "Разорю!" Узнав правду об испорченном органчике, глуповцы покорно решают, что ведь так и должно быть. Бородавкин пускает в ход



заводных солдатиков в "войнах за просвещение", а Беневоленский выпускает закон по закону только потому, что он ни на что другое не способен. Либеральная атмосфера в Глупове устанавливается во время правления Прыща, бюрократа с фаршированной головой. Угрюм-Бурчеев же превзошел всех: будучи "нивеллятором" он замыслил "втиснуть" в прямую линию весь видимый и невидимый мир – всех глуповцев и даже реку! Примеры такой "уровниловки" и автоматизма многочисленны в тексте сатиры: "автоматизм" – одна из основ салтыковской поэтики" (5).

Автоматизм в символике и содержании сатиры связан не только с материалом социально-политических явлений, но и с обобщенной характеристикой глуповцев-обывателей и либеральной интеллигенции. Тема человека-автомата актуальна и универсальна в своей концепции потери человеческого достоинства, духовности, творческих сил, интеллектуального взлета или просто связи с природой. Как уже отмечалось в критике, исторические законы, признаваемые с полной решительностью Салтыковым, сводятся к законам человеческой природы. В этом важном пункте Салтыков следует "социально-биологической мысли всех просветителей" (6). Все стороны общественной жизни, по Салтыкову, складывались не произвольно, а в соответствии с достигнутым уровнем господства над природой. Неизбежность "вечных скитаний" человечества объясняется им не непознаваемостью природы, а ее неисчерпаемостью, обусловленной вечным развитием самой природы. В неисчерпаемости природы и попытках овладеть ее тайнами Салтыков видел залог вечного прогресса человечества (7). Общественный прогресс непосредственно связан с самопознанием и "прогрессом" индивидуального человека: не законы или абстрактные идеи, а только внутренне возвышенное содержание человека способно внести улучшения в общественную жизнь. Концепция эта не отличается ни новизной, ни оригинальностью, но важно то, что Салтыков верил в нее всей душой и выразил ее в символической идейности "Истории...". В символике скрыт ключ к пониманию салтыковской сатиры и "идеала", из которого "отправляется творец ее".

Глуповскому микромиру автоматизма противопоставлены природные явления – повторяющийся лейтмотив с начала до конца сатиры. Только три времени года – весна, лето и осень – составляют фон действия; зима (символ смерти) почти не упоминается: даже в этом намек на животворящие силы природы. Природа у Салтыкова одушевлена и пантеистична: она может вознаграждать людей или наказывать за грехи. В повествовании доминируют такие элементы, как земля, вода (дождь и река), солнце, воздух и огонь (пожары). В этих элементах скрыты и животворящие и смертоносные силы природы – значения, вложенные в природную символику сатиры. Для того, чтобы полностью разъяснить основной замысел "Истории..." и ее финал (столь спорный в критике), необходимо вкратце перечислить самые важные места в тексте сатиры, где природные явления связаны с деятельностью и существованием глуповцев.

Был чудесный весенний день, "природа ликовала", когда глуповцы трепетали, ожидая "страшного суда" при появлении Органчика. Однако,

"благодетельные лучи солнца" вызвали улыбку даже на лице механической куклы и беда миновала. Во время же междоусобия, когда глуповцы занимались разными пакостными делишками, дождь размыл дороги и была такая грязь, что они вынуждены были сидеть дома и перестали пакостить друг другу. Политические интриги всегда совершались во тьме, т.к. они не "могли переносить солнечных лучей". Во время правления распутного Фердыщенко "природа перестала быть благосклонной к глуповцам": не выпало ни капли дождя, небо раскалилось, воздух содрогался, земля превратилась в камень, уничтожив все посева.

Через год природа смиловалась над страдающими и обильно оросила весной их поля, но Фердыщенко опять начал развратничать и летом настала засуха, начались пожары. Во время всенощной раздался оглушительный раскат грома, сверкнула молния и запылал "соломенный город". Казалось, что небо и земля объединились в своем гневе и настал *конец всему* (переключка с развязкой сатиры). Но это было всего лишь грозным предупреждением природы-матушки. Ее же проливные дожди затушили разбушевавшиеся пожары, а глуповцы вскоре забыли все бедствия и занялись "просвещением".

"Войны за просвещение" вел Бородавкин: он хотел заставить глуповцев культурно разводить горчицу и другие специи, но ему помешали проливные дожди. В "эпоху увольнения от войн" и при либеральном Грустилове привились наконец новые веяния в Глупове. Самым любимым занятием глуповцев стали поездки на "остров любви", а поля оставались необработанными. Освобожденные обыватели, разбрасывая семена на невспаханную землю, совершали заклинательные обряды с помощью языческих идолов, чтобы вызвать дождь или приостановить засуху. Природа же молчала.

Когда же в Глупов прибыл Угрюм-Бурчеев, всем "думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все проглотит, все разом..." Лицом к лицу столкнулись две силы, два "брёда": загадочные силы природы и фанатик прямолинейности, задумавший "втиснуть" природу в свой бредовый проект.

Угрюм-Бурчеев задумал разрушить старый город и построить новый по прямым линиям, но на его пути вилась река. Началась борьба с природой: строилась запруда из глуповского мусора, но "слепая стихия" шутила разметывала наносимый хлам, оставаясь свободной. В борьбе со стихией в сознании глуповцев пробудилось чувство собственного достоинства и желание освободиться от "идиота", принуждающего их делать "нечеловеческие усилия". Но вот: "Север потемнел и покрылся тучами... нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буравя землю, грохоча, гудя и стня... колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели... Неконец земля затряслась, солнце померкло... История прекратила течение свое".

Столь "загадочная" концовка сатиры вызвала противоречивые толкования среди дореволюционных и советских критиков. В общей сложности можно выделить два ведущих мнения по поводу аллегорической развязки.

Иванов-Разумник (8), Эйхенбаум (9) и Холшевников (10) считают, что после восстания декабристов в 1825 году настало *оно* – реакционное царство Николая I. Яковлев (11) и такие критики, как Эльсберг, Кирпотин, Бушмин, Покусаев, Макашин, уверены в том, что в развязке "Истории..." зашифрована "революционная аллегория". Даже Фут, современный английский ученый, который написал обзорную статью о существующих толкованиях концовки "Истории...", не сумел внести ничего нового (12). Приведенные выше слова самого Салтыкова опровергают первую интерпретацию, да и простая логика подсказывает, что нет смысла высмеивать историю-собственно.

"Революционная аллегория", как говорят, высосана из пальца, а не из текста "Истории..." или творчества сатирика. Салтыков никогда и нигде не проповедовал революцию, а когда его обвиняли в этом, то он вот как отвечал:

Неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустословия и т.д. Ройтесь, сколько хотите во всей массе мною написанного – ручаюсь, ничего другого не найдете" (т. 14, стр. 494).

или:

"Исследуемый мною мир есть во-истину мир призраков... Я понимаю очень хорошо, что, с появлением *солнечного луча*, призраки должны исчезнуть, но увь! я не знаю, когда этот солнечный луч появится" (т. 13, стр. 186)

Кроме того, в советской критике просто замалчивается отрицательное отношение Салтыкова к русскому либерализму, которое он аллегорически выразил в своей "Истории...". Не принято во внимание и мнение такого авторитета, как Максим Горький: "В искренность демократических тенденций русского общества Шедрин не верил – как он не верил и в народолюбие, которым тогда рисовались... Шедрин горько пророчески хохотал надо всеми и всем" (13). Нам остается подтвердить эти правдивые слова конкретными ссылками на текст и символику "Истории...".

Для внимательного читателя, знающего русскую историю, не представляет никакой трудности распознать в салтыковской аллегории всю историю русского либерализма, начиная с Радищева и кончая фурьеристами, нигилистами и народниками середины прошлого века. Салтыков бичевал как бюрократов, так и либералов за их ограниченность, автоматизм и незнание России.

Символика "Истории..." многослойна в своей причастности и к сатире-собственно, и к пародии, и к полемике, и к идейности. Такой многослойностью отличаются две аллегорические формулы: *золотой век* и *конец истории*, в которых завуалировано понятие о будущем совершенном обществе по теории утопистов, включая Чернышевского. Тема либерализма в "Истории..." обрамляется этими метафорами: в конце главы "Фантастический путешественник" прямо сказано, что золотой век в Глупове начи-

нается с Бородавкина ("Войны за просвещение"); в заключительной же главе тема либерализма является ведущей и концепция золотого века иронически доводится до кульминационной точки — до конца истории, когда будто бы все проблемы общественной жизни разрешатся. Ясно, что концовка сатиры, помимо всего остального, имеет и полемический оттенок, а в контексте сатирического повествования иллюстрируется весь абсурд утопии по отношению к реальности русской жизни.

*Утопист* Бородавкин не только вел войны за просвещение, но чуть не построил *фаланстеры* в Глупове. В бредовый же план Угрюм-Бурчеева вкраплен намек на "поселенные единицы" Аракчеева, а описание их соответствует концепции фаланстеров по Фурье. Не только в художественной форме, но и в прямых высказываниях Салтыков отождествлял концепцию фаланстеров с системой крепостного права в России (см. т. 7, стр. 7 и т. 14, стр. 401). Салтыков всегда был против любой "регуляризации" жизни человека, исходящей из мертвых теорий, а не из исторических и природных данных. По Салтыкову, "ошибка утопистов заключается в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями" (т. 16, стр. 445). Критикуя роман Чернышевского "Что делать?" (1863), Салтыков протестует против "произвольной регламентации подробностей, ... для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных" (т. 6, стр. 326).

Самое унижительное для русских либералов в том, что их деятельность метафорически отождествляется с деятельностью закоренелых бюрократов и фанатических сектантов. Образы градоначальников содержат в себе намеки и на правителей страны, определяющих исторический путь России, и на влиятельных современников сатирика, формирующих мнение массы. Исторические намеки вводятся для того, чтобы указать "корни происхождения" (заглавие одной из глав сатиры) современного зла. Тот же Бородавкин, в деятельности которого высмеивается внутренняя и внешняя политика России во время Крымской войны и 1860-х годов, изображен утопистом и "вольнодумом" (в тексте имеются намеки на Герцена и Огарева). Этот вольнодум по ночам расклеивает *прокламации о персидской ромашке* ("Колокол" Герцена!), а ведь персидская ромашка является средством для уничтожения клопов, блох, тараканов и других насекомых. В главе "Сказание о шести градоначальниках" военные заведения страны редуцированы до унижительного символа "клоповного завода"; "большой блошинный завод" символизирует тюрьму для политических преступников, а "тараканий малый заводец" — Третье Отделение. В символическом контексте понятно, что прокламация Бородавкина — революционная пропаганда, которая просто недоступна безграмотным глуповцам. Подобный пример имеется в главе "Поклонение Мамоне и покаяние".

Ни один из критиков не удосужился обратить внимание на интереснейший инцидент с книжицей Линкина, озаглавленной "Средства для истребления блох, клопов и других насекомых", за которую его обвиняют в антиправительственной пропаганде. Если рассматривать заглавие книжицы в контексте символики официальных заведений, упомянутых выше, то здесь

явный намёк на революционные писания. Однако автор этой книжицы изображен патриотом-фанатиком, выступающим против "польской интриги", что приводит нас к современнику Салтыкова – П.Мельникову, писавшему под псевдонимом Андрея Печерского. После польского восстания и во время руссификации Польши, в 1863 году министр внутренних дел, П. Валуев, поручил Мельникову написать патриотическую брошюрку под заглавием "О русской правде и польской кривде". Салтыков написал на эту книжицу уничтожающую рецензию, в которой он заклеил фанатический патриотизм и высказал мнение о том, что такого рода писания достигают совершенно противоположной цели в сознании читателей (т. 5, стр. 344-46). Мнение свое Салтыков изумительно виртуозно драматизировал в инциденте с Линкиным. В этой "палке о двух концах" передается мысль о тщетности всякого рода пропаганды, основанной на "кривде" по отношению к человеческому достоинству; о неподготовленности народа воспринимать новые идеи – будь они революционными или реакционными.

Из всей массы сатирических замечаний и выпадов против русского либерализма и консерватизма стоит выделить эпоху сентиментального и либерального правителя Грустилова для того, чтобы окончательно убедиться в отрицательном отношении Салтыкова к либеральным тенденциям русской интеллигенции.

Либеральные тенденции глуповского общества связаны с эротическими проявлениями в жизни и литературе или же с мистикой и сектантством а корни всего идут из либерально-мистической эпохи Александра I. Салтыков бичует *обличителей* (нигилистов), пытающихся опровергнуть авторитет "Платонов и Сократов"; эмансипацию женщин, дошедшую до половой распушенности; "кающихся дворян" за их хлыстовский фанатизм; народников за их "опрошение", лживое и бесцельное; славянофилов за их фанатическую приверженность к старинным традициям русской жизни. Здесь не только высмеиваются такие влиятельные писатели, как Лесков, Боборыкин, Страхов, Аверкиев, и др., но и ведется полемика с идеями Толстого и Достоевского.

Знатные глуповцы, видите ли, поклоняются Перуну, а "смерды" должны приносить жертвы Волосу, покровителю домашних животных. Такие консерваторы как М. Катков поют "гривуазные песенки" (неприличные солдатские песни, по-французски), а либералы заняты "комаринской" – народной пляской, под мелодию которой В. Трефолев, поэт некрасовской школы, сочинил чуть ли не революционную песенку в 1867 году, пользующуюся тогда популярностью среди либерально настроенной интеллигенции. Образованные глуповцы приходят в дичайший восторг от представления оперетки Оффенбаха "Прекрасная Елена" – от "выставки голых плеч, страстных взоров, возбуждающих телодвижений"; в реальной же действительности эта оперетка шла с большим успехом на сцене Александринского театра зимой 1868-69 гг. Во всем этом сказывается автоматизм – доминируют внешние проявления, а не внутреннее содержание, которое должно было бы руководить действиями человека.

Самобичование кающихся дворян – "новых людей" – высмеивается

Салтыковым остроумно и беспощадно. В сатирическое повествование о либерализме Глупова введен эпизод из модного в то время романа Д. Мордовцева, "Новые русские люди" (1868). Кающийся Ломжинов у Мордовцева, как и Грустилов у Салтыкова, приказал своему слуге хлестать себя за грехи своих предков с целью возродиться и "обновиться". Ну и подвиг "нового человека". Кроме самобичевания, глуповский "бомонд" занимается радениями по образу хлыстов, чтобы избавиться от поклонения Мамоне (земным благам) и приобрести духовный взлет. Возрождением духовности в Глупове и культом сектантского духа заведуют юродивые (здесь бичуются как консервативные, так и либеральные направления среди русской интеллигенции).

В заключительной главе, "Подтверждение покаяния. Заключение", салтыковский "смех сквозь слезы" достигает трагической ноты. В этой главе аллегорически суммируется вся история русского либерализма. В намеках на восстание Декабристов, с которого начался "мартиролог" либеральных деятелей, и на погибших борцов за "русскую правду" застыли горькие слезы сатирика. Отрицательное отношение Салтыкова к русскому либерализму отнюдь не делает его врагом либеральных и прогрессивных идей того времени. Он бичевал "прыщей" и "kozyрей" (прозвища, которые он дал псевдолибералам) за их автоматизм в восприятии новых идей, за их лицемерие и самолюбование. Настоящим же борцом за свободу он не мог простить их слепое пристрастие к западным новшествам без знания реальной жизни России.

Кира Санина объективно высказала мысль о том, что Салтыков "отмежевался" от любого проявления либерализма, практикуемого в России, но до конца своих дней остался верен идеям "теоретического либерализма" (14). Либеральные идеи для Салтыкова принципиально были связаны, прежде всего, с основными концепциями философии просветителей, как уже было отмечено выше; а в этих понятиях русский Свифт распознал искру более древней мудрости и надежду на будущее. К своей первой сатирической повести, "Противоречия" (1847), за которую он заплатился ссылкой, Салтыков подобрал такой эпиграф:

*Natura duce utendum est: hancratio observat, hanc consulit: idem est ergo beate vivere, et secundum Naturam.*

*Seneca, De vita beata, cap. 8.*

В русском переводе это значит: "Надо пользоваться и руководствоваться законами Природы: ее созерцает и с нею советуется разум; следовательно: жить счастливо – значит жить сообразно с Природой" (Сенека, О счастливой жизни, гл. 8).

Этот же самый "идеал" подтекстно выражен в "Истории одного города", созданной 23 года спустя. Глуповцы и современники-либералы наказаны сатириком за допускаемое и практикуемое насилие над Природой-матушкой, не говоря уже о России-матушке.

Примечания:

1. М. Е. Saltykov-Shchedrin, *The History of a Town*, tr. by I. Foote (Oriental Research Partners, England).
2. В следующих двух источниках перечислено 158 рецензий, статей, введений и комментариев к изданиям "Истории одного города" (большинство из них отличаются предвзятостью политических взглядов авторов или рецензентов): Л. Добровольский, Библиография литературы о М.Е.Салтыкове-Щедрине. 1848-1917. М.-Л. 1961 (содержит 55 рецензий и статей об "Истории...").  
В.Баскаков, Библиография литературы о М.Е.Салтыкове-Щедрине, 1918-1965. М.-Л., 1966 (содержит 103 занесения об "Истории...").
3. М.Е.Салтыков-Щедрин, Полное собр. соч., М.-Л., 1933-41. Т.18, с. 233-34. В дальнейшем ссылки на данное издание будут даваться в тексте с указанием тома и страниц в скобках.
4. Там же, том 9. Дальнейшие ссылки на текст "История одного города" – из этого издания.
5. В. Гиппиус, Люди и куклы в сатире Салтыкова, "От Пушкина до Блока", М.-Л., 1966, с. 313.
6. Л. Аксельрод-Ортодокс, К вопросу о мировоззрении Щедрина, "Литературное наследство", т. 11-12, с. 538.
7. Р. Левита, Общественно-экономические взгляды М.Е.Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, с. 16
8. Иванов-Разумник, Комментарии в кн.: М.Е.Салтыков (Н.Щедрин), Сочинения, т.1, М.-Л., 1926Б с. 617
9. Б.Эйхенбаум, Комментарии в кн.: М.Е.Салтыков-Щедрин, История одного города, Л., 1935, с. 271
10. В.Холшевников, О развязке "Истории одного города", Ученые записки, Л, Гос. Университет им. А. Жданова, № 229, вып. 30, 1957, с. 298.
11. Н.Яковлев, Вступительная статья в кн.: М.Е.Салтыков-Щедрин, История одного города, М.-Л., 1931, с.12.
12. I. Foote, Reaction or Revolution? The ending of 'The History of a Town' Oxford Slavonic Paper, v.1 (1968), pp. 105-25.
13. М.Горький, История русской литературы, М., 1939, с. 270 и с. 274.
14. К. Sanine, Saltykov - Chtchedrine: sa Vie et ses Oeuvres, Paris, 1955, p. 312



ДИМИТРИЙ ПАНИН

### ВОЗРАЖЕНИЯ СОЛЖЕНИЦИНУ

(По поводу интервью, данного им 3 февраля 1979 г.  
радиостанции Би-Би-Си)

Солженицин дал правильную оценку февральского переворота 1917 года, роли советов и временного правительства в России. Узники сталинских лагерей, осужденные за противостояние режиму, пришли еще к более решительным выводам. Солженицин-зек разделял мнение своих товарищей по нарам и был согласен с необходимостью устранения кровавого коммунистического режима в нашей стране. И позже, вплоть до своего отъезда на Запад в 1972 году, я никогда не слышал из уст Солженицина речей, осуждающих борьбу народа с режимом и вселяющих безумную надежду на его самоисправление. Эти мысли обнародованы были Солженицыным в его публицистических статьях, когда он был уже на Западе. Поэтому я счел своим долгом в книге "Солженицын и действительность" опровергнуть доводы Солженицына. К сожалению, я не услышал возражений ни от Солженицына, ни от его почитателей. В русской зарубежной прессе книгу предпочли обойти молчанием, а на французском она, как только вышла, по мановению волшебной палочки немедленно исчезла из продажи, и большинство книгопродавцов о ее существовании даже не знали.

Мне жаль, что Солженицын не прислушался к моей критике. В своем интервью он повторяет и углубляет свои ошибки, принося тем самым огромный вред делу освобождения от режима. Поскольку он вещает на весь мир, дезинформация советского и западного слушателей лишь увеличивается. Каковы же основные положения его интервью?



1. "Судьба страны будет определена теми, кто в ней живет, а не теми, кто вернется из эмиграции". "Я верю в наш народ на всех уровнях".

Эмиграцию можно разделить на подлинных эмигрантов и переселенцев. Первые продолжают за границей вести борьбу с режимом и выполнять задачи, которые не осуществимы в стране или возможны ценой многочисленных жертв. Солженицын недооценивает роли подлинных эмигрантов в освобождении страны от режима, которых следует разграничить с диссидентами, подыгрывающими левым кругам. Эти диссиденты, как правило, принадлежали в СССР к привилегированной касте и впитали с детства безбожные марксистские партийные соки. Освободиться от тяжелой наследственности непросто, и поэтому они пропагандируют часто идеи, устраивающие режим, и сами того не желая, объективно становятся его пособниками. К сожалению, именно они имеют доступ к радио и печати.

Солженицын справедливо подвергает критике писания участников правозащитного движения, которые часто, как например Янов, искажают историю.

2. "Но я никогда не призывал к физической всеобщей революции! Это такое уничтожение народной жизни, которое, бывает, не стоит одержанной победы. Да нам не просто уже освободиться надо, нам надо стать на путь лечения, а революции не вылечивают!"

В СССР идет непрерывная война режима и угнетенного населения; об этом свидетельствуют миллионы жертв. Когда война в разгаре, военные действия не приостанавливают для лечения раненых. Народ дружно проклял бы полководца, который отдал бы страну захватчику и запретил бы вести с ним борьбу пока раненые не поправятся.

У Солженицына трафаретное представление о революции. В книге "Мир - маятник" я доказываю на основе универсальных законов развития, что подлинная революция представляет собой резкий скачок в ходе эволюционного процесса. При этом скачок должен быть той же природы, что и сам эволюционный процесс (1). Исследование событий 1789 года во Франции и февраля-октября 1917 года в России показывает, что за этими событиями неправильно закреплено название революций. Название этих событий должно отражать их разную сущность. Например, свержение монархии в России в феврале 1917 года в разгар первой мировой войны можно назвать переворотом, ставшим возможным вследствие заговора, вредительства и саботажа тех, кто предал страну. Подлинными революционерами во Франции были шуаны (в основном крестьяне Вандеи, Бретани, Нормандии), а в России добровольцы Белого движения и казаки, восставшие против искажения нормального развития своей страны: порабощения, надругательства над верой, попрания естественных прав человека. Соответственно, устранение коммунистического режима в СССР – подлинная законная народная революция, а осуждение Солженицыным революции дано с позиций обывателя.

Из истории возможно извлечь следующий урок: стрела зла поражает впоследствии соплеменников стрелка. Предательство союзниками белой армии во время гражданской войны (1918 – 1920) в нашей стране породило

СССР, Гитлера, вторую мировую войну. Англия и США после выдачи Сталину десяти европейских стран и серии предательств в отношении своих союзников потеряли свой престиж, а Англия, кроме того, перестала быть мировой державой. Русские крестьяне были превращены в бесправных колхозников в результате своего массового дезертирства с фронта в 1917 году, погрома помещичьих поместий, отсиживания в лесах под кличкой "зеленых" во время гражданской войны вместо активного отпора врагам России. Многочисленные еврейские общины в России заплатили уничтожением синагог, равиннов, религиозных школ за временный успех Троцкого, Каменева, Зиновьева, предавших в первую очередь свой народ. Не слишком ли дорога цена? Активная помощь латышских стрелков Ленину не избавила Латвию от участи колонии СССР во время Сталина. Советские танки отблагодарили в 1968 году Чехословакию за выдачу Колчака (2) чешскими войсками в Сибири красным. Я привел лишь несколько примеров из многострадальной истории народов. За львиную долю бедствий в XX веке отвечаем прежде всего мы – русские. Нам надлежало охранить от потрясений огромную империю, созданную нашими предками, и помнить об ответственности за судьбу присоединенных к нам народов. Поведение в 1917 – 1921 годы ведущей русской нации империи было бездарным и позорным, за исключением горстки солдат и офицеров белой армии. Отравленные стрелы ведущих слоев нашей страны и левой интеллигенции пронзили сердце России. Только отважная борьба, связанная с подвигами и жертвами, сможет устранить посеянное зло, смыть позор, позволить начать новую жизнь.

Напрасно Солженицын оплакивает издержки революции. Каждый год господства Брежнева снижает рождаемость славянских народов в СССР минимально на два миллиона. Следовательно за 15 лет под Брежневым население страны уменьшилось на 30 миллионов. Я полагаю, что самая кровавая революция не дала бы такую цифру потерь.

Солженицын выступает против "революций", исходя из опыта событий 1917 года. Но в настоящее время обстановка в стране и технические средства (транзисторы, магнитофоны) в руках населения способны ослаблению режима и его устранению наиболее мирным путем. На Западе возможно создать центр координации борьбы с режимом в виде независимой радиостанции и подготовить проведение *революции в умах* (3). Давно пора начать обсуждение этих проблем в эмиграции и остановиться на лучшем решении.

3. "... отказаться от всех агрессивных международных бредней и начать мирное и долгое-долгое-долгое выздоровление!"

Наш долг в ходе борьбы освободить все народы от коммунистического рабства, после чего возможно подлинное выздоровление. Пока народы томятся под игом коммунизма, мы не имеем права бездействовать и заниматься пустыми разговорами.

Какой ценный подарок режиму делает Солженицын своим призывом: устранять его не надо, менять его дьявольскую природу не требуется, бороться с ним недопустимо, дабы не помешать его выздоровлению!

Солженицын не понял, что недопустимость борьбы с режимом приводит к соглашательству с ним. Ошибки, сделанные Солженицыным в его "Письме к вождям", усугубляются, и в интервью он доходит до прямой измены делу освобождения народа от режима, до предательства порабожденного населения.

Для советского человека рекомендация Солженицына "жить не по лжи" – насмешка. Советские люди вынуждены уже шестьдесят лет жить согласно морали рабов (4), которую породил режим. Они привыкли не говорить правду о себе, тащить с завода все, что можно пронести через проходную будку, работать спустя рукава на режим. В угоду Солженицыну они должны, вопреки инстинкту самосохранения, открыто выражать свое несогласие с режимом, одновременно прекратив подспудную борьбу с ним, добросовестно трудиться и не воровать у государства, говорить правду о себе. Короче говоря, внять проповеди Солженицына о необходимости раскаяния и самоограничения (5). Преждевременное выздоровление, навязанное Солженицыным, равносильно сознательному добровольному обращению подсоветского человека в раба и робота режима, в душеителя собственной свободы.

Многие из тех, кто сознательно наносит изъязн режиму, тем более те, кого режим считает преступниками (6), нарушившими интересы государства, принадлежит к силам освобождения, которые упустил из виду Солженицын.

4. "Жить не по лжи", биться за правду, не рискуя попасть за решетку, возможно на Западе, и Солженицын имеет возможность показать пример этой жизни, а заодно и пример самоограничения и раскаяния. Я хотел бы получить от Солженицына ответ на следующие вопросы:

Зачем он разоружает население СССР и эмиграцию, представляя борьбу с режимом чем-то недопустимым?

Зачем он внушает ложные надежды на дворцовый переворот? Ведь как историк он не может не знать об операции "Трест", проведенной блестяще в двадцатые годы чекистами, суть которой состояла в прекращении эмигрантами борьбы с режимом.

Не считает ли он своевременным открыто осудить падение нравов в эмиграции?

Совет "жить не по лжи" преждевременен и невыполним для подсоветских людей, но своевременен и насущно необходим для эмигрантов. Солженицыну должно быть хорошо известно, что в эмиграции душат мысль, замалчивают идеи, хоронят заживо тех, с кем боятся спорить, ведут тайные сговоры, интриги, распространяют клевету, доводят до самоубийства. В этом свете, призывы Солженицына к "изжить свар" эмигрантов в его обращении к трем эмиграциям, появившемся одновременно с интервью, может быть истолкован как запрет критики в его адрес. Разногласия разношерстной эмиграции не исчезнут от устранения личных ссор. Необходимо открытое обсуждение разногласий, в частности полезно было бы провести дискуссию в печати по моей книге "Солженицын и действительность". Возможно Солженицын признает тогда свои ошибки.

Не думает ли он, что сам провалил свою миссию на Западе, не используя резонанса своего голоса? что вместе того, чтобы стать знаменем освобождения, он ограничился обличением Свободного мира, стал соглашателем с режимом и составителем летописи его возникновения. Только не будут ли страницы этой летописи ворошить клешнями крабы на безлюдной земле, если не удастся вовремя удалить режим с подмостков истории?

Примечания:

1. Д. Панин. "Мир – маятник", 1977, Тель-Авив, стр. 121 – 131 ("Что следует называть революцией").
2. Вождь белой армии в Сибири.
3. "Мир – маятник", стр. 131 – 151; Д. Панин. "Горе – не беда". 1978, Париж.
4. Д. Панин. "Записки Сологодина", 1973, Франкфурт /М., 137 – 138.
5. Солженицын "Жить не по лжи" ("Вестник РСХД", 1973, № 108-110).
6. К ним не относятся подлинные уголовники, совершающие преступления против народа.

## МАКСИМОВ РАЗМЫШЛЯЕТ...

Американский президент Гарри Трумэн любил говорить, что все умные мысли людей давно уже высказаны, так что любая новоявленная мудрость есть лишь перелицовка старой. Идя от обратного, нужно сказать (и, верно, уже было не раз сказано), что и все глупости людские давно выявили себя, и новым быть не дано.

Так размышлял я, читая "*Размышления о демократии синтеза*" Владимира Максимова ("Новое Русское Слово" от 26 августа 1979 года). Для меня Максимов (не стану скрывать этого!) – авторитет. Во-первых, он редактор "Континента", во-вторых, – писатель, ну и в третьих... сам Президиум Верховного Совета СССР лишил его 30 января 1975 года гражданства страны "за действия, порочащие звание гражданина СССР". Лучшей рекомендации не придумаешь, и для меня Максимов – это Человек с большой буквы. Посему очень усердно принялся я читать его "размышления", толкующие о престройке СССР.

Такая перестройка – дело гигантского масштаба, и Максимов, надо полагать, будучи на уровне задачи, должен думать поистине *гигантскими* категориями. Что касается меня, то я гигантоманией не заражен и, предоставляя другим читателям и *не-читателям* "НРС" разобраться во всех аспектах максимовских "размышлений", сам остановлюсь только на национальном вопросе. Читателям "Современника" – полагаю – известно, что я не только белорус, но и большой любитель этого самого "национального вопроса".

Максимов решает его, так сказать, с небрежностью гения... в трех абзацах. Даем слово редактору "Континента": "Россия – страна, в строительстве и становлении которой приняли самое активное участие многие народы и народности. Исходя из этого, будущее русское государство наделяет каждого своего гражданина, вне зависимости от политической, национальной или религиозной принадлежности, равными правами и обязанностями".

Так изрек Заратустра. "Русское государство наделяет"... Разве не ловко сказано? Поскольку "многие народы и народности приняли самое активное участие в строительстве" этого молоха под названием СССР, поэтому "русское государство наделяет"... Мол, приходите ко мне, все вы, обиженные, не вознагражденные и оскорбленные, и получайте по вашим заслугам... Старший брат вас наделит... И чем же? – "Равными правами и обязанностями". Эврика!

Все эти народы и народности были уж как наделены пресловутой советской конституцией! Статусом республик с правом "национального становления, вплоть до отделения"! А две из этих республик – Украинская и Белорусская ССР – "суверенные" государства – даже места в ООН по-

лучили...

Посмотрим далее. Параграф второй Максимова гласит: "Всякий народ, входящий или пожелавший войти в состав Русской Федеративной Земли, имеет неотъемлемое право на свое самобытное национальное, культурное и религиозное развитие и сам определяет, какой язык является для него главенствующим."

В этом параграфе слово "неотъемлемое" – ключевое. Можно думать, что этим "неотъемлемым правом" каждый народ наделит "Русская Федеративная Земля". Простите, не совсем понятно. Оказывается, сначала возникнет Русская Федеративная Земля, которая уже позже "наделит", неизвестно почему, "неотъемлемым правом". Следовательно, этого права прежде не было. Все народности и народы сначала дружно и с энтузиазмом создали Русскую Федеративную Землю, а потом уже удостоились, за свои заслуги, "неотъемлемое право" получить. Неизвестен только сам процесс этого наделения. Будет ли он происходить с помощью пресловутых "достаточных подразделений всероссийской армии" (см. программу Бровцына "Российская Федеративная Империя" – "НРС", 19 мая 1977 г.), или без оных подразделений?

Как известно, со времен Вавилонского столпотворения каждый народ получил свой язык. Но как же РФЗ г-на Максимова будет обходиться без *общего* языка? Максимов, оказывается, нашел выход. Каждый народ, – пишет он, – "сам определяет, какой язык является для него "главенствующим". Точка. Мне, грешному, казалось, что большинство народов имеет *свой собственный* язык, который и является *главенствующим*. Максимов, в качестве дальнозоркого политика, рассуждает иначе, предлагая единый язык для всей толпы народов РФЗ и воплощая его в их "неотъемлемое право".

В связи с этим припоминается мне один случай. На "Экспо 67", т.е. на Всемирной выставке 1967 года в Монреале, проводились аж три советских праздника: день СССР, день Украинской ССР и день Белорусской ССР. На последней церемонии я присутствовал. Были какие-то культурные показы и пресс-конференция. В ходе нее один из присутствующих задал какому-то киселеву или машерову вопрос: "Почему, товарищ такой-то, в этой вашей БССР, где, как нам здесь известно, царствуют все национальные свободы, белорусский язык везде вытесняется русским, почему Беларусь руссифицируется?" И ответил, не моргнув глазом, этот самый высокий представитель этой самой очень суверенной БССР: "У белорусов есть два родных языка: русский и белорусский. Если уж они, как граждане суверенного государства, предпочитают, чтобы один из этих языков вытеснял другой, ну так это, в конце концов, их дело."

Я был поражен такой казуистикой. Оказывается, у народа могут быть два родных языка, как у человека, допустим, – две родных матери. По видимому, великие сыны белорусской земли, такие, как Калиновский, Богущевич и Купала, для которых национальная борьба за освобождение была также борьбой за права белорусского языка, никогда не задумывались над тем, что народ наш имеет сразу *два* родных языка. Выходит, бело-

русский народ, нашедший свое "удовлетворение" в известном октябре, к тому же "без унынья и лени" русский язык изучил. И уж, конечно, если белорусы, допустим, захотят читать Максимова или Седых в оригинале, то почему бы и нет? Зачем их переводить?

Но тогда, видимо, не только у белорусов, но и у грузин, армян, украинцев и прочих, имеется по два родных языка. И если г-н Максимов солидарен с вышеупомянутым бээсээровским пропагандистом, то выбор "главенствующего" языка в мифической РФЗ не представит никакой сложности (даже без "военных подразделений" Бровцына).

Третий параграф "национального вопроса" от Максимова возвещает нам, что "всякая дискриминация гражданина РФЗ по национальному, политическому или религиозному признаку является тягчайшим преступлением перед обществом."

Перед каким обществом? Русским, белорусским, украинским, еврейским, китайским? Разве Максимов забыл, что поработенные народы (в том числе и русский) являются жертвами насилия, сначала Русской империи, а потом колониального СССР? Развязка здесь очень проста: не нужно ни РФЗ, ни старшего брата "благодетеля". Пусть каждый из народов имеет то, что ему полагается, восстановит свое государство на своих этнографических территориях; пусть приветствует своих эков или переселенцев из Сибири, которые захотят возвратиться в национальное государство. Ведь история народов доказывает, что они столетиями сражались за свое неотъемлемое право и что у них государственные традиции измеряются тысячелетиями.

Иной подумает, что Максимов, со своим планом РФЗ, написал пародию на политическое прожектерство. Увы, написал он всё это всерьез. Характерно, что в его журнале "Континент" национальные проблемы в целом затрагиваются, но как-то мельком. В номере четвертом "Континента" был помещен ответ Редакции известному и по-настоящему дальнзоркому польскому публицисту Юлиушу Мерошевскому. Редакция писала:

"Что же касается так называемой проблемы УЛБ (Украина, Литва, Белоруссия), то мы всегда заявляли и заявляем теперь, что признание священного права на самоопределение каждого из названных народов, без всякого вмешательства со стороны, является одним из принципов нашего журнала". И уже позже, в номере восьмом "Континента", мы находим подтверждение: "Цель данной редакторской заметки состоит в том, чтобы еще раз во всеуслышание подтвердить этот принцип и заверить нашего читателя из Восточной Европы, в том числе Украины, Литвы и Белоруссии, что для нас это не слова, не временная тактика, не уступка общественному мнению, а постоянное действующее кредо."

Звучит, вроде бы, неплохо. "Заявляли" и "подтверждали", и вдруг (не от "Континента", а уже от "НРС") узнаем расшифровку провозглашенного "кредо". Максимов говорит: "Я попробую пойти на ощупь, почти вслепую". Чур меня, окаянный! "Кредо" – и вслепую?.. Не потому ли г-н Максимов спрятался за полы Седых, чтобы скрыть это свое редакторское "кредо" от читателей "Континента"?

"Размышления" Максимова, напечатанные в "НРС", трактуют об устройстве всей так называемой РФЗ, а я здесь коснулся только национального вопроса. Надеюсь, что кто-то займется другими "открытиями" редактора "Континента". На мой взгляд, они являются перелицовкой (как сказано в начале этой статьи) или банальных истин, или старых глупостей. До конца пусть это решат наши читатели.

---

---

Редакция "Современника" выражает глубокую печаль по случаю смерти графини Александры Львовны Толстой, дочери Л.Н.Толстого, неутомимой труженицы на ниве Русского дела, оставившей неизгладимую память в сердцах всех людей доброй воли.



В связи с трагической гибелью Президента Корейской Республики Пак Чжон Хи, Редакция "Современника" выражает свое соболезнование семье покойного Президента и Правительству Корейской Республики. Как бы ни относиться к некоторым аспектам деятельности Пак Чжон Хи, нельзя не отдать должное его усилиям, которые обеспечили экономический и социальный прогресс Южной Кореи. Особо следует отметить, что Пак Чжон Хи был стойким антикоммунистом, и в его лице мир потерял безусловно выдающегося государственного деятеля.





НЕМНОГО О КЛОУНАДЕ И ПРИНЦИПАХ

Журналистов порой полушутя, полуобидно называют "пиратами пера". Доля негативности в этом определении, конечно, присутствует, но она всё же умеряется подтекстовым признанием силы печатного слова. Гораздо хуже случай, когда того или иного журналиста можно назвать "клоуном пера". По моему глубокому убеждению, подобный титул в эмигрантской прессе заслужил в первую очередь рецензент газеты "Русская Мысль" г-н М.Сергеев.

Главная черта его стиля – это стремление к трудно достижимой "грациозности". Ради нее он готов пожертвовать всем: сутью дела, истиной, этическими соображениями. "Аллэ-гоп!" "Маэстро – марш!" "Буаля!" – так и хочется сказать, наблюдая за курбетами его словесных пассажиров в обзорах "Периодика", которые он дает. И тут же возникает горькая мысль: эх, поменьше бы грациозности, побольше – объективности!

Когда же порой г-на Сергеева понукают всякого рода "задние соображения", когда он "гневается" (причем, гневается "на заказ"), то его рецензии начинают приобретать характер внелитературной ругани и газетного хулиганства. Именно таким "хулиганствующим стилем" написал он обзор сорок второго номера журнала "Современник".

"Рецензия М.Сергеева... переходит все допустимые границы и представляет собой не литературно-критический отзыв, но известный общественный поступок, о котором уже приходится говорить."

"С завидной последовательностью он грубо, почти нецензурно, обругал каждого автора журнала, в том числе и живущих в России, лишенных возможности свободно ему ответить."

"...Может быть, просто не стоит просить г-на М.Сергеева писать о литературе? Иначе читатель узнаёт только одно: что существует некто Сергеев и что этот некто литературы не любит."

"...Господин Сергеев... вступает на внелитературный путь оценок..."

"...Критический стиль господина Сергеева сильно смахивает на критический стиль какой-нибудь "Вечерней Москвы".

Приведенные мною цитаты относятся к началу 1979 года и принадлежат они авторам журнала "Эхо" (В.Марамзин, А.Хвостенко, А.Глезер – см.: "Эхо", № 4, стр. 122-125). Сейчас конец 1979 года, но под каждым из этих слов готов подписаться и я, ибо в своих критических приёмах г-н Сергеев "всё в той же позиции сидит".

Но, конечно, в отношении "Современника" гнев его особенно форсирован, и я никак не мог, читая его рецензию, отделаться от впечатле-

ния, что устами Сергеева, в сущности, глаголет некто другой, у кого есть куда больше оснований не любить наш журнал, чем у рецензента газеты "Русская Мысль". Этот некто другой – г-н Андрей Седых, издатель и редактор газеты "Новое Русское Слово" в Нью-Йорке.

На страницах "Современника" мы открыто осуждали и осуждаем мафиозные интриги г-на Седых, а ведь то, что журналист, пишущий под псевдонимом М.Сергеев, тесно связан с ним, – это секрет Полишинеля. Г-н Седых нередко шантажирует многих авторов, ставя перед ними условие не сотрудничать с "Современником", под угрозой лишения права публиковаться в газете "Новое Русское Слово" (к такой же практике прибегает и редактор "Нового Журнала" г-н Гуль). С одной стороны, г-н Седых пытается создать вокруг нашего журнала заговор молчания, с другой – он подстрекает кого попало (не гнушаясь самыми сомнительными личностями, вроде пресловутого Шумана, например) клеветать на "Современник" любыми способами. Люди, являющиеся, так сказать, очень чуткими к финансам, но не слишком чувствительными в вопросах совести, охотно соглашаются выполнять директивы своего нью-йоркского "шефа". И поскольку гнев г-на Сергеева на "Современник" переходит все границы, поскольку, тем не менее, ничто в 42-ом номере журнала *лично его* не задает (зато кое-что сильно "задает" г-на Седых), мы вправе построить весьма вероятное умозаключение: инвектива г-на Сергеева против "Современника" и з а к а з а н а ему, и о п л а ч е н а.

Нелегко, как правило, материальное положение русского эмигрантского журналиста, но все-таки оно не оправдывает тех нравов, которые господствуют в газетах и журналах эмигрантского "истаблшмента"! "Современник" – журнал независимый и небогатый; у нас нет возможности "финансово давить" на наших авторов, но – клянусь! – располагай мы денежными средствами на уровне "Нового Русского Слова", "Континента" или "Нового Журнала", мы все равно не прибегли бы к столь гнусным приемам, какие используют господа Седых и Гуль. Ненавидя "Современник" за его независимую позицию, г-н Седых, например, отказался печатать даже *платные* объявления нашего журнала, лишь бы усилить нашу "блокаду" прессой эмигрантского "истаблшмента". Газета "Русская Мысль" в этом плане ведет себя несколько приличнее: хотя ее отношение к "Современнику" с того момента, когда наш журнал стал по-настоящему *современным*, колебалось в диапазоне от сдержанной до открытой враждебности, газета все-таки наши объявления печатает и дает обзоры журнала. (Посмотрим, что будет дальше, после этой отповеди ее зарвавшемуся сотруднику!). Во всяком случае, печально положение эмигрантской прессы, когда достоинства одной из ее газет определяются тем негативным способом, что она, мол, не докатилась до уровня подлости другой газеты. О времена, о нравы!..

Лично г-н Сергеев знает собственный грех небеспристрастия и зависимости от г-на Седых. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что он пытается уличить в подобном же пороке других журналистов. (Психология вора, который кричит: "держи вора!"). Он яростно атаковал Влади-

мира Рудинского, обвиняя его в том, что тот, якобы, "склонился" перед "Современником" (читай: "продался" ему!). Трудно придумать более возмутительную нелепость!.. Если бы г-н Рудинский писал в нашем журнале нечто противоположное тому, что он писал прежде в других изданиях, тогда обвинения г-на Сергеева могли бы показаться обоснованными. Однако любой читатель русской зарубежной прессы видит, что г-н Рудинский ни в чем не изменил своим убеждениям, начав публиковаться в "Современнике". Со своей стороны, мы не подвергаем его никакой цензуре, хотя наши взгляды по многим вопросам с ним расходятся. Я лично не могу, например, согласиться с его ультра-монархическими концепциями (которые, однако, имеют право на существование), но отнюдь не побуждаю его трансформироваться, скажем, в "республиканца". "Современник" – это беспартийный, независимый, демократический журнал (для г-на Сергеева все эти понятия равнозначны "всеядности" и "свалочности"), и мы даем возможность выражать на его страницах самую широкую амплитуду взглядов, независимо от их оттенков, либо от принадлежности наших авторов к той или иной "волне". Единственное ограничение в политическом плане, диктуемое нашей идейной позицией, проистекает из нашего принципиального антикоммунизма.

Казалось бы, что такая демократическая установка "Современника" должна вызывать сочувствие, а не ярость у каждого демократа, каждого объективного читателя и критика. Но объективность, увы, не является делом "клоунов пера" типа г-на Сергеева!

Не гнушаясь политическими инсинуациями, г-н Сергеев в то же время делает из старомодности своих эстетических вкусов некую "программу". Поскольку сам он – старый, и даже (пользуясь его собственным смысловым нюансом) – "очень, о-очень, о-о-очень" старый человек,\* то всё, отмеченное новшеством, экспериментом, молодым задором, модернистскими тенденциями, вызывает его озлобленно-систематическую критику. С претензиями на роль не то "неистового Виссариона", не то новоявленного Вольтера, он изливает желчь против всех авторов, не укладывающихся в прокрустово ложе его журналистских критериев, заимствованных из школы Михайловского или Дон Аминадо, Буренина или... Михаила Корякова. Впрочем, особой последовательностью он не отличается: браня, скажем, такого модернистского автора, как Владимир Казаков, он отчаянно атакует и Валерия Перелешина, коего можно упрекнуть разве в излишней "архаичности" и чрезмерной скованности классическими образцами. В то же время каждый пронизательный критик легко признает талант и Казакова, и Перелешина, независимо от их приверженности к разным литературным поколениям и вкусам. Но для этого, опять же, в критике нужна не клоунада, а элементарная объективность.

Между прочим, ханжеский упрек В.Перелешину за присутствие в его "Поэме без Предмета" гомосексуальной темы лишний раз свидетельст-

---

\* См. статью этого журналиста, подписанную его собственной фамилией, в газете "Новое Русское Слово" от 10 января 1979 года.

вует о "свободомыслии" рецензента "Русской Мысли" (представьте себе, что он бы понаписал во времена процесса Оскара Уайльда!). Я не стану детально спорить с г-ном Сергеевым о проблемах гомосексуализма и отражении их в искусстве, скажу лишь, что это все же лучше той литературной проституции, которой занимается г-н Сергеев.

А теперь немного *pro domo mea*. Атакуя меня лично, М.Сергеев иронически награждает меня словом "универсальный". Должен покаяться: не без греха в этом, не без греха. Мое образование и пошире, и поглубже, чем у г-на Сергеева, – вот и подмывает порой "разбрасываться". (Кстати, всегда думал, что человек, которому есть *чем* "разбрасываться", рангом выше того, кто хотел бы, да не может).\*\* Любопытны и такие полемические выпады г-на Сергеева по моему адресу. Говоря о сделанных мною переводах стихов Янки Купалы на русский язык, он берет слово "перевод" в кавычки, а ругаясь в отношении моей статьи "Три четверти трех столетий русской истории", именует ее "гениальной", не заключая это слово в кавычки. Как же так, г-н Сергеев? Если рецензенту не нравится качество перевода, он должен либо *доказать* его неполноценность (чего г-н Сергеев не делает), либо уж воздержаться от уничижительных кавычек. С другой стороны, а вдруг я приму слово "гениальный" в буквальном смысле, раз уж оно не закавычено?.. Может быть, М.Сергеев, выискивающий у "Современника" несуществующие "грамматические ошибки", сам задумается над своей грамматикой и стилистикой? Иначе придется, пожалуй, "закавычить" понятие о его собственной журналистской грамотности...

Добавлю, что – как ни суровы бывают ко мне мои критики – никто из них никогда не утверждал, что я пишу о том, чего не знаю. Из статей же М.Сергеева я мог бы нанизать такой "шашлык примеров" его некомпетентности, что, проглотив любой из этих кусочков, он может получить несварение желудка. Посему, из соображений простой гуманности, я воздержусь от этого.

Возмутительны некоторые искажения фамилий в рецензии г-на Сергеева. Ругая авторов "Современника", он приписывает трактат Валентина Гиндина "Что нужно, чтобы пришел Христос?" другому нашему автору – Леонарду Гендлину, на ходу переделывая его в "Валентина". Впрочем, на фоне всего вышеизложенного, это уже – "мелочи"...

В спорте есть золотое правило, вполне распространяемое и на сферы искусства, литературы (литературной критики, в частности): во-время уйти, пока тебя не побили. Постоянная "конфликтность" М.Сергеева с представителями "третьей волны", с модернистами, антишовинистами, со всякого рода непонятными ему течениями идеологической и культурной жизни – это не что иное, как драматический (иной раз и невольно комич-

---

\*\* Прошу извинения у читателей: образованный человек, вообще-то, не должен хвалиться своей образованностью, однако к этому меня невольно "склонил" М.Сергеев недообразованным лихачеством своего пера.

ный) конфликт журналиста, пережившего свое "акмэ" и не понимающего, что время его ушло. Он еще драчлив, но кулачки слабоваты, дыхание перехватывает, перо обгоняет мысль, уже увядающую, и никакие фарсовые трюки не спасают положение. Он — в творческом нокдауне. И не обязательно потому, что кто-то *персонально* побивает его. Главный его победитель — само время, сама не привычная ему, — не сладкая, конечно, но и не совсем уж безнадежная, — эпоха. Именно с ней г-н Сергеев не в ладах больше, чем с журналом "Современник". И его "клоунадное боксирование" против всего нового или не понятого им в жизни, политике, искусстве, чревато неизбежным нокаутом. Подумайте над этим, г-н Сергеев, прежде, чем делать очередные "выходы на арену" или на ринг полемики принципового свойства. И хотя бы в порядке самоуважения к собственным журналистским заслугам, отмеченным *не псевдонимом М.Сергеев*, уйдите во-время — не н о к а у т и р о в а н н ы м.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Н Е О П Е Ч А Т К И.

*Рискуя создать журналистский прецедент, Редакция настоящим подтверждает (специально для сведения рецензента газеты "Русская Мысль" М.Сергеева — см. его обзор "Периодика" в "РМ" от 20 сентября сего года), что название рассказа Владимира Рудинского "НАВОЖДЕНИЕ" (№ 42 "Современника") не содержит никакой "грамматической ошибки". Слово "навождение" в данном случае образовано от глагола "наводит", ибо сюжет рассказа позволяет дать трактовку событий, сводящихся к тому, что некто н а в о д и т на героя своего рода н а в А ж д е н и е. Поскольку, однако, рассказ, по его сюжету, мог быть назван и "НАВАЖДЕНИЕ", Редакция вступила в соответствующую переписку с автором и получила от него подтверждение правильности данного им названия — "НАВОЖДЕНИЕ".*

*Таким образом, никакой "грамматической ошибки" Редакция "Современника" в данном случае не допустила.*

## О ТАК НАЗЫВАЕМОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ПРИБАЛТИКЕ

Доктрина о восстановлении советской власти в Прибалтике имеет своей непосредственной целью создание иллюзии о неправомерности и исторической ошибке создания независимых государств на территории бывшей Российской империи. Выступая в качестве фактических наследников великодержавной политики, советские империалисты пытаются представить принадлежность прибалтийских стран России исторической закономерностью и прогрессивным явлением.

В 1920 году между Прибалтийскими государствами и Советской Россией были подписаны мирные договоры, по которым Советская Россия безоговорочно признавала независимость, самостоятельность и суверенитет новых государств и на вечные времена отказывалась от всех прав, которые ранее принадлежали России на эти территории.

После прихода к власти в Германии Гитлера и нарушения им в 1935 году Версальского мирного договора, в Европе создалась напряженная ситуация. Германия начала лихорадочно вооружаться. (Следует отметить, что и до нарушения версальских соглашений немцы секретно сотрудничали в военной сфере с Советским Союзом, и последний в значительной степени помог в сохранении ядра вермахта и подготовке новых кадров для армии). Откровенная антикоммунистическая позиция Гитлера в первое время препятствовала сближению Германии с Советским Союзом. Западные демократы в своей примиренческой политике не смогли эффективно противодействовать агрессивной политике Гитлера и защитить независимость Австрии и Чехословакии, а также территориальную целостность Литвы (22 марта 1939 г. Литва была вынуждена уступить Германии Клайпедский край).

В создавшейся международной ситуации, видя абсолютную неэффективность Лиги Наций, Советский Союз тоже решил позаботиться о расширении сферы своего влияния, в первую очередь в области Балтийского моря (как-никак, – наследие Российской империи!).

После неудач своей "мюнхенской политики", Великобритания и Франция 11 апреля 1939 года начали переговоры с СССР с целью создания антигитлеровской коалиции. Но одновременно с началом этих переговоров советское руководство начало зондировать почву в Берлине о возможности сближения с Германией.

Руководя переговорами с Великобританией и Францией, Молотов 2 июня предложил гарантировать независимость прибалтийских государств. Но те, особенно после пояснения, что "помощь будет оказана и в том случае, если о ней и не просят", всячески подчеркивали свой нейтралитет и

противились подобным "гарантиям". В результате соглашения достичь не удалось.

23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Риббентроп вылетел в Москву. В Кремле состоялись переговоры, в которых принимал участие Сталин, и был подписан пакт о ненападении.

Советско-германский пакт развязал Вторую мировую войну. Через неделю после его заключения, 1 сентября 1939 года, немецкие войска вторглись на территорию Польши. Советский Союз 17 сентября также напал на Польшу, мотивируя это заботами о западных украинцах и белорусах.

27 сентября Риббентроп опять прибыл в Москву для решения спорных вопросов и окончательного раздела Польши. Риббентроп не хотел соглашаться на требование Сталина о советском влиянии в Литве (по секретному протоколу от 23 августа Литва находилась в сфере интересов Германии), но Гитлер пошел на уступки, и в ночь на 28 сентября был подписан договор о германо-советской границе и о дружбе, к которому присоединены секретные протоколы о репатриации немецкого населения из прибалтийских стран и репатриации украинцев и белорусов из областей, находящихся под управлением Германии, и о новом разделе сфер влияния.

Кроме того, были подписаны секретный протокол о сотрудничестве для ликвидации в оккупированных областях враждебной польской агитации и совместная декларация Германии и Советского Союза о мире в Восточной Европе (воистину две миролюбивейшие державы!).

Советский Союз начал провокации против балтийских государств. Отношения особенно ухудшились после бегства из таллинского порта интернированной там польской лодки "Ожел". В переговорах с прибывшим в Москву министром иностранных дел Эстонии К.Сельтером Молотов потребовал немедленного заключения договора о взаимной помощи, по которому Советскому Союзу было бы предоставлено право на создание военных баз на территории Эстонии. Молотов говорил с позиции силы: "Не заставляйте нас применять силу для достижения своих целей!" К.Сельтер отказался продолжать переговоры без консультации с правительством. Президент Константин Пятс не нашел другого выхода, как продолжать переговоры с Москвой, чтобы избежать военного конфликта. (В дальнейшем этому примеру последовали правительства Латвии и Литвы). Чтобы напряжение не ослабевало, Советский Союз инсценировал инцидент с танкером "Металлист", который, якобы, был торпедирован вблизи Нарвы.

Прибывшей эстонской делегации Молотов выдвинул требование о размещении 35-тысячного гарнизона советских войск в Эстонии. В дальнейшем, когда в переговоры включился Сталин, эту цифру снизили до 25 тысяч. Гарнизоны размещаются на островах Саарема, Хийумаа и в Палдиски. Кроме того, в распоряжение Красной Армии предоставляются аэродромы внутри страны. В ходе переговоров Сталин неоднократно подчеркнул, что эстонцам не следует опасаться советских гарнизонов: "Мы вам гарантируем, что Советский Союз никоим образом не собирается изменить суверенитет Эстонии, ее правительство, государственное устройство

и хозяйственную систему, внутреннюю или внешнюю политику." Подобная декларация была включена отдельным пунктом в подписанное соглашение (как в дальнейшем в подобные договоры с Латвией и Литвой).

Подписанный 28 сентября 1939 г. договор по требованию Советского Союза должен был быть ратифицирован в течение шести дней без обсуждения в Государственной Думе Эстонии. Президент исполнил и это требование.

По приглашению Молотова 2 октября в Москву для переговоров прибыл министр иностранных дел Латвии В. Мунтерс. С советской стороны в переговорах участвовали Сталин, Молотов, Потемкин и посол СССР в Латвии Зотов, с латвийской стороны — Мунтерс и посол Латвии в СССР Коциньш. Как откровенная угроза прозвучали слова Сталина: "Австрия, Чехословакия и Польша как государства исчезли с карты. Другие тоже могут исчезнуть... О чем договорились в 1920 году, не может оставаться в силе вечно. Петр Великий заботился о том, чтобы у нас был выход к морю. Сейчас у нас его нет, и такое положение не может продолжаться."

Договор с Латвией, а по сути дела, продиктованные Советским Союзом требования, был подписан 5 октября. В ходе переговоров удалось уменьшить число советских военнослужащих с требуемых сорока тысяч до тридцати. Пятый параграф гарантировал неприкосновенность суверенитета Латвии, в шестом параграфе указывался срок действия договора — 10 лет. Уже 30 октября в Латвию начали прибывать части Красной Армии.

В переговорах с министром иностранных дел Литвы Уршбисом Молотов решил "подсластить горькую пилюлю" широким жестом передачи Литве Вильнюса и Виленской области (дипломатически СССР не признавал захвата Польшей этой территории).

Литовцы сопротивлялись советским требованиям до 9 октября, но 10 октября Уршбис вынужден был подписать "договор о ненападении и дружбе". Величина советских гарнизонов была определена в двадцать тысяч человек.

В то время, как советская сторона живо записала в каждый из заключенных договоров, что целью Советского Союза не является ущемление суверенитета прибалтийских стран и вмешательство в их внутренние дела, уже осенью 1939 года для нужд Красной Армии были напечатаны карты Прибалтики с обозначениями: Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР. 11 октября помощник комиссара НКВД Серов подписал секретную инструкцию за № 001223 о выявлении и депортации из Прибалтики всех антисоветских элементов.

Финляндия в своей политике была более ориентирована на Скандинавию, но это не спасло ее от советских притязаний. Требования Москвы оказались намного большими, чем предполагало вначале финское правительство. Советская сторона применила испытанный прием провокаций и обвинила Финляндию в артиллерийском обстреле советской территории (в дальнейшем, от пленных красноармейцев, финны во всех подробностях узнали, как был подготовлен инцидент).

30 ноября советские воздушные силы с аэродромов в Эстонии (гру-



бое нарушение только что подписанных соглашений!) бомбардировали Хельсинки и другие финские города. Финское военное и политическое руководство считалось с возможностью советского нападения (в этом оно оказалось дальновиднее и решительнее эстонского, латвийского и литовского) и частично уже мобилизовало финскую армию. Главкомандующим был назначен маршал Густав Маннергейм.

Чтобы "юридически" оправдать агрессию против маленького соседа, московские "режиссеры" в селе Терийоки образовали "Народное правительство Финляндии" во главе с проживавшим в СССР Куусиненом. После этого фарса Молотов громогласно заявил, что СССР не находится в состоянии войны с Финляндией, а лишь оказывает братскую помощь дружественному правительству. "Помощь" эта дорого обошлась Советскому Союзу. Но советское военное руководство мало считалось с огромными людскими потерями: пушечного мяса хватит! Поэтому, несмотря на ряд одержанных побед, финны были вынуждены запросить мира, условия которого были исключительно тяжелыми. Однако жертвы оказались не напрасными: Финляндия сохранила свою самостоятельность. (И в настоящее время, в отличие от Прибалтики, ей не угрожает тотальная руссификация).

После завершения войны с Финляндией Советский Союз усилил нажим на прибалтийские страны. Учитывая создавшуюся ситуацию, правительство Латвии предоставило широкие полномочия своим лондонскому и Вашингтонскому послам.

Первой жертвой агрессии стала Литва. 28 мая Молотов направил ноту, обвиняя литовские власти в похищении нескольких красноармейцев и убийстве одного из них. От расследования советская сторона отказалась, но уже 7 июня потребовала отставки министра внутренних дел, а 9 июня обвинила Литву в заключении военного союза с Латвией и Эстонией, направленного против СССР. Момент для захвата Прибалтики представлялся исключительно выгодным: внимание всего мира было привлечено к падению Парижа и разгрому немцами французской армии.

14 июня 1940 года Молотов вручил литовскому послу ультиматум, в котором требовалось впустить на территорию Литвы неограниченное количество советских войск и сформировать дружественное Советскому Советскому Союзу правительство. Президент Литвы А.Сметона стоял за сопротивление, но большинство в правительстве было за капитуляцию, считая жертвы напрасными (в конечном счете жертв оказалось очень и очень много!).

15 июня Литва была оккупирована, и Красная Армия заняла позиции вдоль латвийской границы. В тот же день, рано утром, одна красноармейская часть вторглась на территорию Латвии и убила четырех человек, в том числе одного ребенка. Латвийское правительство потребовало расследования инцидента, но уже 16 июня в 14 часов СССР предъявил Латвии ультиматум, на который следовало дать ответ до 20 часов. Суть его заключалась в беспрецедентных требованиях:

1. Немедленно составить такое правительство, которое добросовестно выполняло бы договор о дружбе (иными словами, состав правительства продиктует Москва).

2. Пропустить на территорию Латвии неограниченное количество советских войск.

Одновременно Советский Союз угрожал бомбардировать латвийские города (совершенно так же, как Гитлер угрожал Чехословакии в 1939 году).

Поскольку не была проведена мобилизация и нехватало вооружения, правительство решило принять ультиматум, хотя некоторые министры этому противились. Аналогичное решение приняло и эстонское правительство.

17 июня 1940 года части Красной Армии перешли латвийскую границу со стороны Литвы и Белоруссии, спешно были заняты все узлы коммуникаций и важнейшие объекты в Риге. То же происходило в Эстонии. Политработники и сотрудники НКВД с баз советских войск немедленно приступили к организации "демонстраций трудящихся". Большую часть этих демонстрантов составили деклассированные элементы, а то и просто уголовники. На следующий день для "активизации масс" из Ленинграда прибыло несколько сот активистов.

Коммунистические партии прибалтийских стран не могли играть значительной роли в те дни (как это расписывают сейчас советские историки-борзописцы). В рядах компартий находилось лишь по несколько сот человек. Кроме того, русские "товарищи" держали своих прибалтийских "коллег" в неведении о своих планах, поэтому в различных местах действия коммунистов, особенно в первые дни, отличались разнобразием.

С самого начала режиссура находилась в опытных и твердых руках. В Прибалтику прибыли специальные эмиссары: начальник зарубежного отдела НКВД Деканозов – в Каунас, представитель Совета Народных Комиссаров Вышинский, прославившийся организацией показательных процессов – в Ригу, член Политбюро Жданов – в Таллин.

Какое-то время Ульманис в Латвии, Пятс в Эстонии, Меркис (который замещал бежавшего за границу Сметону) в Литве еще считались главами государств, фактически же были пленниками: оказать какое-либо влияние на ход событий они не могли. Вышинский, например, передал на утверждение Ульманису состав нового правительства и указал, что в него не могут быть внесены никакие изменения.

Первыми шагами новых правительств были: легализация компартий (но не других партий!), амнистия политическим заключенным (таковых оказалось столь мало, что удивился Вышинский, привыкший к сталинскому размаху репрессий). Кроме того, следует отметить, что по политическим мотивам в годы президентства Ульманиса в Латвии были осуждены не только коммунисты, но и другие, даже экстремисты-националисты из движения "перконкрустовцев").

В нарушение конституций прибалтийских государств были объявлены выборы, на которые не были допущены никакие другие списки, кроме правительственных. Чтобы быть вполне уверенными в исходе "спектакля", министерства внутренних дел издали инструкцию, что тех, у кого в паспорте не будет отметки об участии в выборах, следует считать "врагами народа". Во время выборов, если агитаторы не находили дома избирателей,

они сами опускали в урну избирательный бюллетень (совсем как в нынешние времена!).

Судя по найденным в Литве материалам избирательной комиссии, большинство бюллетеней было испорчено. Палецкис, возглавлявший коммунистическое руководство Литвы, на одном секретном заседании признал, что действительными можно было считать 16-18 % опущенных бюллетеней. Тем не менее, официально было объявлено, что в Эстонии 92,8 % голосовавших отдали свои голоса за "Союз Трудового Народа", в Латвии — 97,6 % за "Блок Трудового Народа", в Литве — 99,19 % за "Унию Трудового Народа". Как эти цифры "создавались", можно судить по тому, что в одной английской газете результаты были опубликованы за сутки до выборов. При этом газета ссылалась на информацию ТАСС. Рвение прислужников Москвы зачастую принимало совершенно фантастические формы. В литовской прессе сообщалось, что проголосовало в Каунасском округе 106,18 %, а в Гельшяе — 104,68 % всех избирателей.

После выборов изменился тон выступлений официальных лиц. Если 6 июля глава просветского латвийского правительства А. Кирхенштейн говорил: "Мы свободны и такими останемся, ибо верим обещаниям Сталина", то 21 июля речь шла о вхождении в состав СССР. Депутаты Сейма Латвии, Сейма Литвы и Государственной Думы Эстонии были предупреждены во время сессий, что каждый, кто потребует слова вне установленного порядка или воздержится от голосования за принятие резолюций, будет передан в руки НКВД. В правительстве Латвии, хотя она считалась еще суверенным государством, находились иностранцы — граждане СССР. В Таллине на заседание Государственной Думы прибыли вооруженные матросы. В таких условиях были приняты решения о подаче в Верховный Совет СССР просьб о вхождении в состав Советского Союза.

Жданов в Таллине разъяснял председателю совета министров "народного правительства" Эстонии Йоханнесу Варресу (Барбарусу), что Эстония слишком маленькая страна, чтобы существовать самостоятельно (сколько теперь еще более маленьких стран получили самостоятельность и принимают участие в решении международных вопросов!), поэтому ей необходимо связать свою судьбу с Советским Союзом. Эстонские коммунисты поняли обещание Жданова об особых привилегиях Эстонии, как о статусе Монголии. Варрес и Круус разработали соответствующий проект, но Жданов самым грубым образом выругал эстонских коммунистов, "мешающих историческому развитию". (В 1946 году Варрус-Барбарус покончил жизнь самоубийством).

В Латвии после "выборов" правительство Кирхенштейна формально отрешило от власти президента Ульманиса. Свое последнее обещание — разрешить Ульманису выехать в Швейцарию — советское руководство грубо нарушило: его депортировали в Россию.

Последний акт фарса присоединения был разыгран в Москве, когда 3, 5 и 6 августа соответственно Литва, Латвия и Эстония стали советскими республиками.

Присоединение прибалтийских стран, принесшее латышскому, эстон-

скому и литовскому народам неисчислимые страдания и жертвы, в настоящее время ставит под угрозу само существование этих наций в связи с усиленной колонизацией и руссификацией, особенно после выдвижения брежневской доктрины о "новой исторической общности — советском народе".

По прошествии почти сорока лет со дня насильственного присоединения большинство свободных стран юридически не признает инкорпорацию Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Народы также не забыли своей самостоятельности. Выросло новое поколение, своими глазами не видевшее независимых прибалтийских государств. Но каждый народ стремится к свободному развитию. Существование советской империи не вечно: придет день, и она рухнет, подобно всем существовавшим империям. Русским тогда придется жить с соседями, которых их правители так долго давили. Чем скорее русские поймут всю сложность и щекотливость этой проблемы, тем лучше для них самих.

#### ОТ РЕДАКЦИИ:

*Виктор Калныньш — латышский историк, активный борец за независимость Латвии, много лет отсидевший в советских концентрационных лагерях. В 1978 году эмигрировал в США.*

*Статья В.Калныньша (сокращенный вариант) публикуется по тексту журнала "Факты и Мысли", № 12, за 1979 год.*

ДВА ЮБИЛЕЯ ЯНУСА  
(Троцкий и Сталин)

1.

Эти два человека тяжело прошлись по истории. Впрочем, история тоже "прошлась" по ним. Величие было дано обоим, однако ценой убийства авторитета их личностных измерений: и несостоявшийся красный Наполеон — Троцкий, и состоявшийся красный Чингис-хан — Сталин, умирали дважды, но как бы с перевертышем во времени. Троцкого сначала развенчали, потом убили; Сталин умер на вершине славы и был развенчан посмертно. Культ Сталина и десталинизация (равно как культ и развенчание Троцкого) осуществлялись коммунистами. Но, разумеется, на одном этом основании нельзя оставлять за ними монопольное право на интерпретацию значимости для истории двадцатого столетия людей, которые родились практически одновременно, сто лет назад. "Герой Октября" Троцкий угодил при этом "под самое яблочко": родился почти в день революции, коей впоследствии командовал (8 ноября 1879 года); день рождения Сталина (21 декабря 1879 года) лишен столь символической ассоциации, однако и без нее человечество не может забыть дату появления на свет крупнейшего из тиранов прошлого и настоящего времени.

Сопоставление Троцкого и Сталина легче всего делать по принципу контраста, или, во всяком случае, *контрастирующего поучения*. Что-то вроде структуры "Жизнеописаний" Плутарха просится из-под пера. Именно так и писали многие журналисты, "отрабатывая" испытанный прием противопоставления и не замечая, что во многом это противопоставление (само по себе весьма эффектное) не является, так сказать, субстанциальным.

Своего рода "классической моделью" портретов Сталина и Троцкого может считаться соответствующая глава в книге Леона Фейхтвангера "Москва, 1937 год" (заметим, кстати, что в этой книге знаменитый писатель умудрился начисто просмотреть *реальный* "тридцать седьмой год" в СССР). Немало содействовал принципу "контрастного изображения" и сам Троцкий. Стилистический блеск его пера ослеплял многих — даже людей, далеких от симпатий к нему; читая филиппики Троцкого против Сталина, страстные и безусловно пронизательные, аналитичные и до художественности выпуклые, порой невольно принимаешь *его* ход мысли. Трудно бывает предположить, что многое из *таких* обвинений, высказанных с *таким* умом и пафосом, можно повернуть против самого человека, высказавшего их. Между тем, это *нужно* сделать.

"Он отталкивал меня, — пишет о Сталине Троцкий в своей автобиографии, — теми чертами, которые составили... его силу на волне упадка:

узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков, не заменив их, однако, насквозь продуманным и перешедшим в психологию мирозерцанием." (Л.Троцкий. Моя жизнь. Т.2. Берлин, стр. 213-214).

В принципе, очень справедливо сказано: в Сталине всё это было. Но как же рискованна для любого марксиста такая аргументация Троцкого! Ведь "марксизм освободил от *многих предрассудков*" (читай: "*старомодных*" и "*буржуазных*" понятий добра и зла, красоты и уродства, Божественного и Сатанинского) не одного Сталина. Более того, знакомые с опытом истории, мы можем легко заключить, что *в самом марксизме как учении* фатально заложено то, что порождает Сталина и сталинизм, и всю чудовищность коммунистической практики. Да и помимо!.. Разве экономическая интерпретация истории, предложенная марксизмом, не "узка"? Разве не свойствен ему убогий эмпиризм, доведенный до логического конца хотя бы пресловутой ленинской "теорией отражения"? Разве не отмечены "психологической грубостью" сочинения не только таких, в сущности, вульгаризаторов марксизма, как Ленин и Сталин, но и самих "отцов-основателей" – Маркса и Энгельса? А на фоне научной революции XX века, не провинциальным ли оказался марксизм с его потугами "объяснить необъяснимое"?.. Если всё это так (а это именно так!), то *марксист-Троцкий* не может судить Сталина, не будучи осужден и сам. Конечно, индивидуальные отличия людей играют большую роль, но в лоне марксизма, с его детерминированностью, очень ли важно, что блестящий Троцкий был интеллигентнее грубого Сталина? На практике марксистско-ленинские идеи, персонифицированные как в Троцком, так и в Сталине, давали объективно-негативный результат с точки зрения общественного развития. И недаром ненависть Сталина к своему главному сопернику не помешала ему адаптировать многие идеи Троцкого: советская индустриализация, разорение деревни в угоду городу, и даже сталинский империализм, генетически восходят во многих аспектах к тому, что именуют троцкизмом.

Слишком многие авторы подчеркивали разницу между Сталиным и Троцким; немало было и таких, которые ее абсолютизировали. Нам хочется, напротив, указать (в сущности, это не ново, но полезные вещи стбит иногда повторить) на то, что сближает двух врагов-сообщников как представителей одной, чудовищной доктрины коммунизма. Оба этих человека стали символами враждующих фракций; оба плодили и плодят злобу и соперничество – такова уж особенность коммунистической идеологии, но в сущности, оба суть воплощение некоего идолообразного божества – Януса тоталитаризма и тиранических инстинктов. Этот Янус и подарил нам ныне сталинско-троцкистский столетний юбилей.

## 2.

Разумеется, в определенной степени фигура Троцкого не может не вызвать симпатии даже у его врагов (у тех, что способны мыслить – не

только ненавидеть животным образом). Судьба Троцкого трагична, а трагизм — это лучшая апелляция к человеческой сострадательности. Отсюда уже — один шаг до сочувствия.

В жизни Наполеона — Святая Елена, в жизни Троцкого — убийство в Мексике, сообщили совершенно особый ореол людям, которые и без того были бы весьма масштабны в истории, однако этой масштабности не хватало бы, так сказать, "последнего штриха". В отношении Наполеона мы можем говорить сейчас достаточно хладнокровно, отделенные солидной временной дистанцией. С Троцким — сложнее: страсти вокруг него еще кипят; если бонапартисты во Франции представляют собой антикварно-эстетический аксессуар на политической сцене, то IV Интернационал — это реальный политический фактор, и троцкизм существует в качестве актуальной (пусть и не ведущей) линии политико-идеологических конфронтаций в мире. Посему объективно-академическое освещение фигуры Троцкого зачастую наталкивается на ряд психологических трудностей (особенно если иметь в виду русскую эмиграцию, кажется, патологически не способную к объективности научного образца).

Герой и мученик для одних, он — предатель и раскольник для других; кровавый убийца и авантюрист — для третьих. Но так или иначе, Троцкий оказался человеком из разновидности людей того типа, о котором западные журналисты любят заключать: "они изменили течение нашей жизни". И без Троцкого нельзя во многом понять историю XX века вообще; историю России и русских революций в частности.

Был ли он прирожденным революционером, как нередко о нем думают? Едва ли. В нем сильна была жилка "нонконформизма", но это не обязательно должно было трансформироваться в политический революционаризм. Наделенный несомненным даром литератора и человека широкого гуманитарного склада ума, он скорее всего мог бы стать писателем, критиком, человеком искусства. Мог бы стать, наконец, — политиком и парламентарием, безусловно темпераментным, но не обязательно чересчур радикальным. В насыщенной внешними событиями жизни Троцкого, при всей его одержимости идеями, которые, в конце концов, создали "троцкизм", был вообще силен элемент случайности: переход от юношеского увлечения народничеством к марксизму объяснялся едва ли не второстепенным стечением знакомств; и даже слияние с большевиками в 1917 году — в определенной степени случайность. Задержись чуточку группа "межрайонцев" в своем промежуточном состоянии, и Троцкий не оказался бы в числе большевистских лидеров. В момент смерти Ленина в 1924 году болезнь Троцкого сыграла роль чуть ли не знаменитого "насморка Наполеона" при Бородино. Удаленный от Москвы, он ослабил свою позицию как наиболее вероятного ленинского преемника и позволил "тройке" Зиновьева-Каменева-Сталина отеснить его от верховной власти. В конкретной политической борьбе периода 1925-27 годов он предпринял почти необъяснимо-слабые ходы, игнорируя представлявшиеся возможности для наиболее сильных ударов по оппонентам из сталинского блока. Сам он

впоследствии объяснял это своей партийной лояльностью, но если даже так оно и было, то это еще одна "случайность" в его биографии. Наконец, финальные события в жизни Троцкого – в диапазоне от неудавшегося на него покушения, организованного Сикейросом, и до *состоявшегося* его убийства Меркадером, прямо-таки нанизаны на звенья случайных эпизодов.

Но, конечно, доминантой в биографии Троцкого была сама его незаурядная личность. Путь, пройденный им от социал-демократа-подпольщика до руководителя Октябрьского переворота, от лидера Петербургского Совета 1905 года до Председателя Реввоенсовета в гражданскую войну, от ближайшего соратника Ленина до вождя антисталинского радикализма в мировом масштабе – это парабола с падающими и восходящими звездами. С точки зрения исторического смысла многое здесь безвозвратно ушло в прошлое; но многое волнует до сих пор и кажется современным. Троцкий – иногда неожиданным для самого себя образом – поставил ряд проблем, которые хоть и окрашены марксизмом, но перехлестывают через рамки *только марксистского* мышления. Право меньшинства на собственные взгляды перед лицом компактного большинства, "перманентность", если не в революции буквальной, то в революционной по сути специфике человеческой мысли; соотношение интеллекта и чувства в социально-политической борьбе; неизбежная оппозиция в коллизии: "личность и масса" – всё это проблемы очень широкого свойства, и в марксистские схемы они не замыкаются. Можно сказать, что *как личность* Троцкий был выше Троцкого-марксиста, однако во многом доктринерство марксизма погубило его личность. И когда в завещании Троцкого мы читаем: "Жизнь прекрасна. Позвольте же будущим поколениям очистить ее от зла, угнетения и насилия, и полностью наслаждаться ею", мы видим облик Троцкого-человека, а не комиссара в кожанке и с маузером. К несчастью, рецепты для "очищения" жизни, предписанные марксизмом, перечеркивали его благие намерения, но поскольку таковые все-таки были, как наследие революционного идеализма, они ослабляли Троцкого в реально-суровой политической битве.

Прекрасно по этому поводу сказал Авторханов:

"Блестящий публицист, выдающийся оратор и талантливый мастер революции – Троцкий все-таки был человеком без к о н ц е п ц и и в л а с т и, что, в конечном счете, объясняет и его... поражение в борьбе с ремесленником революции, зато гениальным мастером власти – Сталиным." И далее: "Будучи и у власти, Троцкий действовал скорее как романтик революции, чем мастер власти." (А.Авторханов. Происхождение Партократии. Т. I. "Посев", 1971, стр. 612 и 613).

Именно так! И, может быть, именно в силу неистребимого привкуса романтизма, эманация коего пронизывает всё, связанное с личностью Троцкого, история выделила его из общей массы других, даже *выдающихся по-своему*, марксистов, обеспечив ему повышенный интерес как современников, так и потомков. Если же добавить к этому, что как политический писатель и стилист он занимает одно из первых мест в истории рус-



ской журналистики (такой его литературный шедевр, как "Моя Жизнь" вызывал невольное восхищение даже у автора "Моей борьбы" – Адольфа Гитлера!), то мы вправе говорить и о культурологическом значении литературного наследия Троцкого.

И всё же... И всё же... В упомянутой нами книге "Происхождение Партократии" А.Авторханов выразил страстное сожаление о том, что в двадцатые годы, "чтобы предупредить... сталинскую тиранию с ее миллионными издержками человеческих жизней, Троцкий, Зиновьев и Каменев не оказались способными на насильственный переворот путем физической ликвидации самого Сталина с полдюжиной его ближайших сопреступников. Какие бы социологические соображения о "системе" или философские рассуждения о неведомых законах революции не приводили против меня, я все-таки утверждаю: без Сталина история СССР пошла бы по-другому." (А.Авторханов. Ук. соч., т. 2, стр. 238).

Соглашаясь с общим пафосом сказанного, повернем его логику в другом направлении. Бесспорно, если б Троцкий, а не Сталин, пришел к власти после смерти Ленина, во многом "история пошла бы по-другому". Возможно, не расцвел бы сталинским цветом "Архипелаг ГУЛаг", а были бы только островки оного; возможно, не было бы страшных безумств коллективизации, а лишь "пролетарски-чистое" преодоление НЭПа; вероятно, "сын Израиля – Леон, Демоноокий и лукавый" (строки Зинаиды Гиппиус!) не допустил бы государственного антисемитизма в СССР, а вызвал бы лишь его волну в народной глубине как реакцию на "евреизацию" советского аппарата. Всё возможно...

Однако, зная суть "марксизма-ленинизма" и его практических воплощений, мы можем сказать одно: слава Богу, что *и Троцкий* не пришел к власти! Ничего хорошего от такого вождя Россия тоже не получила бы, как не получила она этого от Ленина и Сталина. Коммунизм может реализовываться в более мягких или в более жестких формах, в зависимости от смены условий места, времени и исторических персонажей, но сама антигуманная суть коммунистической доктрины измененной быть не может. Вот почему, хотя чудовищней сталинизма трудно что-либо представить себе, однако не стоит мыслить в качестве спасительной ему альтернативы пришедший к власти троцкизм. Две ипостаси одного общего зла равны этому злу.

### 3.

В личности Сталина воплотилась кульминация тиранического начала, присущего не только коммунизму, конечно, но в коммунизме нашедшего наиболее завершенные формы. Человек практики столь же, сколь Троцкий был человеком идеи, Сталин сумел "идеологизировать" свой практицизм и придать ему видимость чего-то, похожего на "революционную теорию". На деле, разумеется, Сталина, как яркого честолюбца, интересовали не глубины теорий, а вершины власти. Поэтому сталинизм, по сути своей, есть не "продолжение" марксизма-ленинизма, в который он драпи-

руется, а беспринципное властолюбие, использующее марксистско-ленинскую терминологию. (При иных обстоятельствах Сталин мог бы использовать терминологию прямо противоположную: недаром же сталинизм и гитлеризм так пугающе похожи друг на друга во многих аспектах).

Однако что было – то было: Сталин провозгласил себя "учеником Ленина" и долгое время искусно играл эту роль. Более того, он умел некогда производить впечатление "умеренного, скромного и мягкого" революционера – чуть ли не куратора партийной справедливости на посту генерального секретаря компартии. Великий актер – он знал свои возможности, а многие, весьма проникательные люди, даже не подозревали об "игре" с его стороны. В период борьбы против Троцкого он умудрялся выглядеть "как человек без какой-либо личной злобы и неприязни, как беспристрастный ленинец и охранитель доктрины, который критикует других только ради защиты общего дела". (Isaac Deutscher. *Stalin. A political biography*. Penguin Books, p. 277). И тут же И.Дойчер приводит любопытное свидетельство Базанова:

"Когда я впервые принял участие в заседании Политбюро, борьба между триумвирами (Зиновьев, Каменев, Сталин – А.Д.) и Троцким была в полном разгаре. Троцкий прибыл на заседание первым. Другие появились позднее... Вошел Зиновьев. Он прошел мимо Троцкого и оба сделали вид, что не замечают друг друга. Когда появился Каменев, он приветствовал Троцкого сухим кивком. Наконец, вошел Сталин. Он приблизился к столу, где сидел Троцкий, и приветствовал его самым дружеским образом, обменявшись с ним энергичным рукопожатием..." (Ibidem).

На редкость символичная картина! Заставив действовать против своего главного врага – Троцкого, временных союзников – Зиновьева и Каменева (коих он безжалостно убьет затем, не взирая на бывшие "услуги"), Сталин демонстрирует Троцкому едва ли не "джентльменство" своей натуры. Поистине до шекспировских глубин доходила игра Иосифа Виссарионовича!

Но и не только в "игре" дело. Сталин совершенно хладнокровным образом вмонтировал троцкизм в свою политико-государственную практику. Тот же И.Дойчер – большой специалист и по Сталину, и по Троцкому, пишет в своей книге "Вооруженный Пророк":

"Нет, пожалуй, ни одного пункта в программе Троцкого 1920-21 гг., который ни использовал бы Сталин в своей индустриальной революции 30-ых годов. Он ввел прикрепление и регулирование рабочей силы; он настаивал, чтобы профсоюзы содействовали росту "производительности" вместо того, чтобы они защищали потребительские интересы рабочих; он отнял у профсоюзов последние остатки автономии и превратил их в придаток государства. Он сделал самого себя как бы протектором хозяйственной бюрократии, даровав ей привилегии, о которых Троцкий даже не мечтал. Он декретировал "социалистическое соревнование" на заводах и шахтах, и сделал это, бесцеремонно заимствовав лозунги Троцкого. Он ввел собственную безжалостную версию "своетского тэйлоризма", коему сочувствовал Троцкий. И, наконец, он вывел из интеллектуально-историчес-

ких аргументов Троцкого, двусмысленно оправдывавших принудительный труд, практику его массового применения." (Isaac Deutscher. The prophet armed. Trotsky. 1879-1921. V. 1. New York, 1965, p.515).

Конечно, применение Сталиным троцкистских рецептов лишало их той известной утонченности, которая была связана с личностью Троцкого. Но сама возможность "перелива", так сказать, троцкизма в сталинизм очень показательна и порождает некую диалектику. Сталин реализовывал теории Троцкого по-сталински огрубленно; в наше время кажется порою, что современный троцкизм – это просто романтизированный сталинизм. Между Сталиным и Троцким как личностями существовала некая общность палача и жертвы; что же до сталинизма и троцкизма, то это – своего рода сообщающиеся сосуды – общий знаменатель коммунистической доктрины позволяет признать, что жидкость, их наполняющая, – однородного происхождения.

Всё сказанное не перечеркивает, конечно, факта борьбы между Сталиным и Троцким как политическими врагами. Лично Сталин ненавидел своего блестящего конкурента глубокой ненавистью посредственности к незаурядному человеку, причем незаурядному за счет *собственных* качеств, никаким "аппаратом" не изобретенных и никаким "культом" не подогретых. Можно представить себе степень тщеславной уязвленности Сталина его вечно "теневым" положением возле Ленина и Троцкого. Тот же 1917 год – год "Великого Октября" – какой триумф для Троцкого, и какая двусмысленность (учитывая внутрипартийные "шатания" полу-ленинца, полу-каменевца Сталина) для будущего (согласно "культовой литературе") "ближайшего соратника Ленина"! Десять лет спустя, в 1927 году, Сталин совершил (вернее, *завершил*) свой "Октябрьский переворот" против вождистской роли Троцкого в партии; еще десятилетие спустя, он фактически ликвидировал саму эту "ленинскую партию", заменив ее своей – "сталинской". После этого история была переписана; "ненужные" имена из нее выброшены; *нужные фальсификации* совершены. Сталин, как хорошо говорит Авторханов, "апеллировал... к истории... чтобы брать из нее то, чего не было, но должно было быть для успеха дела". (А.Авторханов. Технология власти. Франкфурт на Майне, "Посев", 1976, стр. 387). При этом нельзя, может быть, считать, что Сталин органично вырос из русской истории, но *врос* он в нее органически. Не случайны поэтому рецидивы сталинизма в советской истории даже хрущевского времени, не говоря уж о периоде после падения Хрущева. "Сталин, сталинизм и сталинисты" – это тема, которую не исчерпать одним только перечнем *прямых* соотношений подчиненности и хронологической привязанности к эпохе *живого* Сталина. Связи здесь глубже, традиции опосредствованнее, внутренняя логика многообразней. В той же книге "Технология власти" Авторханов правильно замечает, что "брежневщина есть последняя историческая попытка наследников Сталина спасти сталинизм как доктрину управления диктатурой." (Ук. соч., стр. 804). Здесь речь идет о Советском Союзе, однако существует и международный аспект: немало потенциальных ста-

линых рвется к власти то ли на волне терроризма, то ли на гребне пресловутых "освободительных движений" в странах третьего мира, то ли под знаменем хотя бы и нео-троцкистских теорий. Мелкая, но характерная деталь: как сообщает журнал "Тайм", во время недавнего переворота в Афганистане, когда просоветский президент Тараки был свергнут своим премьер-министром Хафизуллою Амином, один кабульский наблюдатель сравнил нового диктатора (не с угандийским мясником-тираном, как можно было бы думать по совпадению фамилий), а со Сталиным. ('Time', October 1, 1979, p. 15). Поэтому воистину, перефразируя известный лозунг Троцкого в отношении Ленина, "Сталин умер, но жив сталинизм"!

Никто не знает в точности, когда "призрак коммунизма" перестанет терзать человечество своим кошмарным видением. В том, что это произойдет в конце концов, мы не должны сомневаться: христианская цивилизация, несмотря на все ее внутренние конфликты и слабости, смогла в прошлом восторжествовать над деструктивными силами, сумеет она и в будущем пережить облеченный в "прогрессивные одежды", по сути же самый что ни на есть *реакционный* – коммунизм. Падение его неизбежно, ибо хотя сумма зла в современном мире очень велика, добро, заложенное в нем, – качественно сильнее. В происходящей сейчас борьбе идей мы – антикоммунисты, должны не только пропагандировать наши позитивные идеалы, но и разбираться в механике тех подрывных акций, которые осуществляются нашими противниками; понимая их психологию, уметь ей противостоять; зная их кумиры, уметь их развенчивать. Именно по этой причине оказывается бесполезным "юбилейный разговор" о тех исторических уроках, которые можно извлечь из анализа жизни, величия и падения двух коммунистических гигантов – Троцкого и Сталина.

МНИМАЯ И РЕАЛЬНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Эмиграция постоянно провозглашала, что печется де: "Только о России!" На деле, ее интересы поглощались склоками и беспочвенными мечтами о мирной эволюции советской власти. (Вспомним, как этим возмущался в свое время И.Л.Солоневич!). В результате, каждый раз, когда наступала встреча с Россией, Зарубежье оказывалось совершенно неподготовленным.

После Второй Мировой войны явилась новая эмиграция; и сколько труда и времени ушло на преодоление (и посейчас полностью не достигнутое) враждебности старой; за неупотребление буквы ять, за пользование словами, не привычными для тех, кто оставил родину в период гражданской войны!

Теперь, как ни курьезно, — наоборот: любое новшество советской орфографии (включая те, против которых интеллигенция в СССР настойчиво протестует!) моментально принимаются заграничной прессой; самый модный жаргон (в частности, вполне неприличные выражения, вплоть до чистой блатной музыки) сделались последним криком моды для редакторов, еще недавно с гневом вымарывавших у сотрудников вовсе невинные просторечные фразы!

И одновременно, ненависть к новейшей эмиграции разрастается до пределов катастрофических. Здесь, правда, действуют, — в отличие от целиком нелепого бойкота, проводившегося в отношении второй волны, более или менее реальные причины: различные (крайне притом противоречивые!) тенденции политического и идеологического порядка, выражаемые теперешними выходцами из-за Железного Занавеса и — шире — диссидентами вообще.

Но тут как раз встает вопрос: чего, собственно, эмиграция, и в первую очередь крайне правый ее сектор, желают от борцов против коммунизма там?

Когда — как оно довольно-таки естественно — инакомыслящие под большевистским гнетом, пытаясь добиться справедливости для себя и своих друзей и единомышленников, избегают обострять спор и ссылаются на советские же законы и принципы, формулированные коммунистическими же авторитетами (Марксом, Лениным и т.д.), то эмиграция с презрением видит тут соглашательство, сделки с сатанинским режимом, недопустимый компромисс. С точки зрения логики и морали, оно и верно (я и сам испытываю то же чувство!), но мы рассуждаем тут по принципу: 'Fiat justitia, pereat mundus!' Не следовало ли бы считаться с положением, в каком оппозиция в недрах советского строя находится? Уместно ли тре-

бовать массового героизма и самопожертвования, — и это пребывая, сами-то, в условиях относительной безопасности?

Но обнаруживаются и такие в СССР, кто готов за идею на что угодно. И если идеи бывают разные, то есть и сторонники таких воззрений, с коими вроде бы самые правые эмигранты должны бы чувствовать себя солидарными, — такие, кто прямо говорит о Боге и о Царе.

И что же? Их спешат объявить провокаторами...! Наиболее яркий пример — о. Димитрий Дудко. Тщетно разумные люди в эмиграции доказывают, что его книги суть самые страшные удары по большевизму, что безбожная власть желать и поощрять их не может, даже приноси они ей Бог весть какие выгоды в плане контрразведки и подрывной работы (существующие, ясное дело, лишь в воображении зарубежных шпиономанов!).

С тупым упорством группка ограниченных, трусливых индивидуумов повторяет аргумент, представляющийся ей неопровержимым: большевизм слишком силен и ужасен, чтобы с ним кто-либо осмеливался всерьез сражаться: значит, — кто выступает против него, тот есть на самом деле его же агент!

Впрочем, эти же доводы пускались уже в ход против Солженицына; да и теперь еще пускаются (хотя, все же, какие идиоты способны им и посейчас придавать вес?!).

Чудовищнее всего — истерические выкрики, витающие ныне над русским рассеянием: почему же Дудко (и других) мало преследуют? Те гонения, которые бесстрашный воин Христа перенес и переносит за веру, — лишение права проповеди, изгнание из Москвы в провинцию, покушение на самую его жизнь, стоившее ему тяжелого увечья, — выглядят для *антикоммунистов* недостаточными!

Известно, что в глазах *врагов человечества* (по меткому выражению Солженицына) сочувствие за границы (в том числе и эмиграции) образует защитную стену: тех, чье имя *слишком* широко знакомо всему миру, они предпочитают не трогать.

Поэтому, если удастся распространить слух, будто о. Димитрий Дудко — советский агент, то позже расправа над ним не вызовет ни скандала, ни протестов. "Очевидно, не сумел угодить начальству; стал неудобен, так как знал больше, чем следует" — вот что, с циничной ухмылкой, будут говорить о нем в кругах, чей голос для большевиков играет роль.

Подлинно, хочется нашим господам эмигрантам, особенно правого лагеря (к которому я сам принадлежу, но безумства которого разделять решительно отказываюсь!) процитировать стихи Велемира Хлебникова:

"Народ безумец, народ безбожник,  
Куда идете? Оглянитесь!"

Мы стараемся разрушить броню, спасающую от ударов палачей и преступников святого, самого настоящего, какого знает наша эпоха. Сладко ли нам окажется иметь на совести его гибель?

Но пусть до того и не дойдет; остается верным то, что трезво сказал Н.Собакин в "Нашей Стране" от 27 июля сего года: "А ведь какой грех — взять да измержавить невинного человека!"

Бесспорно, что шпиономания обычно приносит больше вреда, чем сами шпионы, сея повсюду взаимное недоверие и подозрительность, дезорганизующие любую работу и сотрудничество. Но, помимо разъединения друзей и союзников, она чрезвычайно облегчает акцию истинных шпионов, ибо публика, слышав много раз попусту крики: "Волк! Волк!", перестает на них реагировать, даже когда выныривает на сцену реальный серый зверь.

Обвинения против художника Глазунова, похоже, ни на чем не основаны; но и будь в них какая правда, с чего же их распространять на о. Дудко, похвалившего его картины? Картины (я их не видал) могут быть талантливыми и даже патриотическими, независимо от слабостей в жизни создавшего их художника, и даже от его политических убеждений (творчество, особенно на высоком уровне, нередко ускользает от контроля сознанием творца).

Впрочем, опять же кидается в глаза странная непоследовательность эмигрантского общественного мнения. Например, Виктору Некрасову, *тридцать лет* пробывшему в компартии, никто не ставит прошлого в укор. Приводят довод (но тогда почему же не распространить его и на Глазунова?), что принадлежность к КПСС сделалась в СССР формальностью, необходимой, чтобы жить и работать, и что числящиеся партияцами зачастую в душе — противники системы. Отчего же не допустить, что оно и с Глазуновым так; и что, если он рисует изображения мифического благосостояния масс в красном Чили или ужасов вьетнамской войны (а еще насколько это верно? картины порою бывают двусмысленны и допускают различные толкования...), то это с тем, чтобы ему не мешали делать и выставлять иные полотна, какие он считает нужными.

Особенно абсурдны нападки на о. Дудко в связи с его письмом митрополиту Филарету. Безусловно, что катакомбная Церковь есть форпост христианства и антикоммунизма в СССР, которому мы должны всей душой сочувствовать и всячески помогать, сколько в силах. Тайной Церкви потребны священники и, чтобы их рукополагать, — епископы. Официальная Церковь их ставить не хочет, да и не может, будучи под контролем властей.

Вот и напрашивается выход — самый что ни на есть для антикоммунистов желательный и самый для большевиков страшный: установить контакты между катакомбной Церковью и зарубежной. При чем же тут советская провокация?!

На это противники отвечают, что, мол, о подобных вещах можно бы говорить разве что по секрету, а не публично. И сами же первые о них и кричат в печати, возбуждая подозрения в предательстве, содействии чекистам и т.п.

Не будем не в меру пугливы. Заграничный Синод имеет опыт противостояния большевизму; хотим надеяться, не лишен и мудрости. А уж в КГБ и наверняка сидят весьма неглупые чиновники. Всё то, что мы ухитряемся сообразить, обе стороны сообразят и сами. Кроме, понятно, конкретных имен, места и часа и т.п.

Чтобы возвести в сан священника или епископа из числа прихожан ка-  
такомбной Церкви нужно лишь, чтобы он приехал за границу, — что в на-  
ши дни достигается разными путями и не столь уж невыполнимо, — и всту-  
пил в сношения со здешней иерархией. А будь у Зарубежной Церкви дос-  
таточно решимости, то можно было бы организовать и путешествия в Со-  
ветский Союз, причем не обязательно требуется, чтобы епископ ехал во  
всем облачении... Естественно, что КГБ будет следить и мешать, но столь  
ли уж невозможно провести чекистов?

В неумеренном рвении "обличать и разоблачать", эмигрантские "спе-  
циалисты" придумали любопытный способ распознавания стукачей в Со-  
ветском Союзе, не вставая из удобного кресла! Если выясняется, что  
кто-либо в подъяремной России читает эмигрантские журналы или книги  
(в чем и впрямь повинны и о. Дудко, и почти все видные инакомыслящие),  
то его автоматически вносят в список сексотов. До чего ж можно вывер-  
нуть вещи наизнанку! А мы-то, в сердечной простоте, радовались, что те-  
перь, наконец, голос эмиграции, до сих пор бесполезно звучащий в ог-  
раниченном кругу изгнанников, стал доходить до нашей родины!

Большевикам страшно выгодно, когда в эмиграции правая печать за-  
нимается фабрикацией фальшивок (против Солженицына, Галича и др.)  
и дутых обвинений направо и налево. Это ее дискредитирует, а с нею и де-  
ло, которому она на словах служит. И если мы, знающие эмигрантский  
быт, не придаем ее жабьему кваканью никакого значения и не удивимся  
никаким уткам в ее — ни для кого не авторитетных — листках, то для жи-  
вущих в России (куда такие печатные органы могут доходить и при со-  
действии самого КГБ), они, весьма вероятно, представляют собой сильно  
действующий фактор разложения. Вредно для дела, если в их дикие пок-  
лепы верят; вредно и то, что, понимая ложность их бредней, читатели  
вправе записывать их клевету на имя эмигрантских монархистов и эми-  
грантских правых в целом.

Потому стоило бы внимательно исследовать, в какой степени всё это  
делается по глупости, в порядке самодурских капризов, а в какой — ин-  
спирируется различными окольными — возможно, довольно сложными пу-  
тями — советской агентурой.



РЕДАКТОРУ "СОВРЕМЕННОКА"

Уважаемый г-н Редактор!

Из прессы я узнал об ожесточенных нападках на Ваш журнал со стороны российских шовинистов, которые, как мне кажется, попросту сотрудничают с КГБ. Читаю "Современник" и мне всё ясно: Ваша политическая позиция "безусловной поддержки прав всех народов нынешнего СССР к освобождению и созданию независимых государств на их этнографических территориях" — эта позиция колет шовинистам глаза. Они скорее поддержат красную Москву, чем поступятся своей империалистической манией. Но их вопли только доказывают правильность Вашей позиции. Держитесь ее, и позвольте Вас заверить, что среди нас — белорусов, Вы имеете много друзей.

В "Современнике" мне особенно нравится "Форум", где Вы даете свободу высказывания разных точек зрения. Обращают на себя внимание глубоко проникновенные статьи Александра Гидони. С большим интересом прочел я также "Меморандум Содружества" Петра Болдырева. Он чрезвычайно хорошо обоснован и показывает, как именно русский народ и порабощенные Москвой народы могут сотрудничать в совместной борьбе против коммунистической гидры.

Желаю Вам успехов в работе.

МИКОЛА КИСЕЛЬ (Торонто)

Милостивый Государь, г-н Редактор!

Журнал "Современник" я начал читать недавно по совету моих друзей. Как белорусу, мне приятно, что Вы помещаете иногда материалы о наших белорусских поэтах и писателях, что помогает познанию русскими нашей культуры и национальных стремлений. Весьма впечатляет и Ваш объективный подход к решению т.н. "нацвопроса".

Неудивительно, что "Современник" подвергается атакам со стороны всяких черносотенцев, империалистов, ретроградных российских шовинистов и других примитивов.

Жонглируя пустыми лозунгами, эти люди стоят за "единую и неделимую Россию". Хочу их, при Вашем посредстве, заверить, что я не знаю ни одного белоруса, который ни поддерживал бы идеи "единой и неделимой России"... на ее этнографических территориях. Мы — белорусы, не хотим ни Москвы, ни Ленинграда, ни какой-нибудь там... Костромы. Мы уверены, что нынешние владыки русско-советской колониальной империи не имеют мандата ни от русского, ни от других порабощенных народов на

*их имперскую власть. Русский народ — такая же жертва коммунизма, как и мы — белорусы. Однако нашему народу еще тяжелей, поскольку Москва забрала от нас независимую автокефальную Православную Церковь, деформирует нашу культуру и проводит жесткую руссификацию. К примеру, в Минске сейчас нет ни одной школы, где преподавание велось бы на белорусском языке.*

*Поддерживая идею "единой и неделимой России" в ее этнографических границах, мы надеемся, что русские — в свою очередь — поддержат идею единой и неделимой Белоруссии на нашей этнографической территории. Только на таких основаниях можно заложить действительную дружбу народов, победить общего врага и построить независимые, демократические государства: Россию и Белоруссию.*

**АНТОСЬ ВИШНЕВСКИЙ**  
(Ошава, Онтарио)

*С оглушительным барабанным боем шествует организация под названием Оргкомитета РБК. Ее лозунг: "Русские — за ликвидацию своей империи". Но спрашивается: какие русские? Можно ли считать взгляды какой-то кучки новоиспеченных "национальных" лидеров взглядами подавляющего большинства русских людей? Может ли вообще подлинный патриот превратиться в гробокопателя своей родины? Может ли он с безграничным цинизмом оплевать все великое прошлое своей страны и перечеркнуть деятельность выдающихся людей, создававших в течение веков ее могущество и величие? Нет! Для русского патриота в настоящем смысле нечто подобное является немыслимым.*

*Пусть предатели не лелеют надежд, что их призыв встретит самый широкий резонанс. Да! Резонанс будет широким, но как раз в обратном смысле. Пусть они не напяливают лживую маску русских патриотов. Эта образина никого не обманет.*

*Гордо несут лопаты на своих плечах могильщики империи, но скажем в заключение одно: придет время, когда их же лопатами им выколют могилу, которую они готовят для российской империи.*

**В. П. МААК** (Торонто)

**ОТ РЕДАКЦИИ.** Мы поместили отклики на "Меморандум Содружества" Петра Болдырева. (См.: "Современник", № 42, стр. 188-192). Каждый читатель, следящий за "Современником" на протяжении его последних лет, поймет, что наши симпатии, безусловно, на стороне г-н. М.Киселя и А.Вишневого, а не на стороне г-на Маака. Но мы даем возможность высказываться на страницах журнала и тем авторам, с которыми заведомо не согласны.

При этом мы ратовали и будем ратовать за соблюдение к у л ь т у

ры спора. А именно в недостатке элементарной культуры можно упрекнуть г-на Маака. Весь смысл его письма заключается в мысли: "Да здравствует великороссийский имперский дух и проклятье всем, кто выступает за развал московско-советской империи!" Сей "лозунг" легко уместился бы в две строчки, а г-н Маак написал три абзаца. Чем же он их наполнил? Обыкновенной руганью, ибо обзывать "предателями" всех, кто мыслит иначе, чем "поклонник империи" г-н Маак, — это не значит аргументировать.

Когда же поймут некоторые наши читатели, что выступая в печати, следует стремиться не просто к ругани в адрес оппонента, а к разумному спору по существу дела и к соблюдению принципов культурной полемики?

*Уважаемый г-н Редактор!*

*В прошлом номере "Современника" Вы поместили мое письмо "Церковь не без греха". Не знаю, что думает по его поводу большинство читателей Вашего журнала, однако на меня обрушиваются нападки кое-кого из упорствующих в грехе людей и даже недостоинных священнослужителей (таких, как, например, о. Владимир из г. Торонто). Казалось бы, я повторяю слова, предписанные нам Святым Евангелием: всякая власть от Бога; противиться власти — значит, противиться Богу и вести себя не похристиански. Я понимаю, что призыв к покорности любой власти, какая установлена на земле, многим не понравится. Но если они считают себя христианами, то пусть и объяснят мою "ошибку" с христианских же позиций.*

*А пока я только вижу, как нарастает смятение и неустройство в мире. В Виннипеге уже носят тысячелетней давности идола из Днепра вместо Креста; монархисты тоже подыскивали себе хлыста... Не возвратом ли к заповедям Евангелия, не смирением ли, что сильнее любой гордыни, сможем мы перебороть зло? Церковь любит поучать нас, но ей самой есть чему поучиться у заповедей Христовых.*

**Ф. НЕСТЕРОВ**

*(Форт Эри, Онтарио)*

## **РАЗДЕЛЕНИЕ НЕЧЕСТИВОГО ТРУДА**

*В журналистике бывает всякое. Мне — давнишнему газетчику — известны многие примеры некрасивых трюков, применяющихся в эмигрантской прессе. По этой части, однако, впереди всех — нью-йоркский "босс" — редактор газеты "Новое Русское Слово" Андрей Седых.*

*Самый колористичный пример — освещение г-ном Седых и его подручными истории пожаров в помещении редакции "НРС". Пожар 1977 года так и остался пока необъяснимым; зато в связи с делом Александра Макаровского, которого обвинили в поджоге, случившемся в мае 1978 года,*

г-н Седых накрутил и накручивает одну психологическую несообразность за другой. А чтобы "усилить впечатление", он поручил своему администратору В.Я.Вайнбергу взять на себя роль обвинителя, специализируясь, правда, по мякочу, вкрадчивому, так сказать, обволакиванию читательского сознания нужными г-ну Седых версиями случившегося. И г-н Вайнберг постарался...

На страницах израильского журнала "Время и Мы" ( № 41, 1979 год, стр. 212-219) он опубликовал статью "История одного поджога". Выполняя "задание шефа", г-н Вайнберг играет в "объективность", пишет в такой раздумчиво-сдержанной манере. Он даже рисует А.Макаровского в довольно симпатичных тонах и, делая все подходящие к случаю намеки на то, что Макаровский — "советский агент", в конце концов великодушно отстраняет эту проблему. "Платный агент КГБ Макаровский или не платный агент? Психически нездоровый или вполне нормальный? Все эти вопросы сейчас достаточно праздны", — пишет В.Вайнберг (стр. 218). Извините, г-н Вайнберг, — так и хочется сказать в ответ, — "праздной" является ваша демагогия — и только. Если Макаровский выполнял задания КГБ и это д о к а з а н о, так надобно говорить об этом во весь голос. Ну, а если дело в другом, а не в "сотрудничестве с КГБ", то и постыдные намеки следует прекратить.

"Шеф" г-на Вайнберга — редактор "НРС" А.Седых — тот рубит с плеча. "...В ночь на 14 мая 1978 года... советский агент, служивший у нас в типографии и уволенный за кражу адресов, которые он и его компаньон использовали для рассылки рекламы о выходе задуманного ими журнала "XX век", зашел в типографию поздно ночью." И далее — в стиле полицейского романа описывается, как жутко коварный "агент" почему-то очень плохо — н е п р о ф е с с и о н а л ь н о п л о х о! — справился со своим заданием. Типографию, которую хотел сжечь, так и не сжег, а себя умудрился чуть ли не спалить. (См.: "НРС", 2 октября 1979 г.). Прочтешь такое и подумаешь: ну до чего же скверно обстоит дело с тренировкой диверсантов на Лубянке — простейшего пожара толком организовать не могут!

Но и о другом подумаешь!.. Спрашивается, почему все-таки г-н Седых называет Макаровского "советским агентом"? Ведь американский суд, осудивший его как поджигателя, ничего подобного не установил. Спекуляции вокруг его биографии носят вообще юридически несостоятельный характер. И потом! Как это произошло, что "советский агент" получил у г-на Седых работу в его типографии? Как получилось, что сам г-н Седых, на страницах своей же газеты, рекламировал журнал Макаровского "XX век", который теперь почему-то ставится Макаровскому в вину? И многие еще вопросы можно задать...

Конечно, Макаровский совершил преступление и за это его никто не оправдывает. Но никаким "агентом" он, по всей вероятности, не был, а просто, столкнувшись с г-ном Седых, который вообще не ладит, как известно с "третьей эмиграцией", был доведен им до состояния психического аффекта. В этом состоянии он решил "отомстить". За что? Лучше

всего знает об этом сам г-н Седых (знает, но не скажет!). Мы можем только, в качестве реконструкции событий, предположить, что, видимо, поддержав вначале идею журнала "XX век", г-н Седых затем усмотрел в Макаровском либо конкурента, либо просто чересчур самостоятельного человека (а таковых людей г-н Седых не жалует). Ну и довел парня до бешенства: выбросил его с работы, на которую сам же принял, обвинил в воровстве а д р е с о в п о д п и с ч и к о в газеты "Новое Русское Слово" (страшно подумать, тайна какая!). Так что вместо того, чтобы — для раздувания собственной значимости — кивать на Лубянку, лучше бы подумал г-н Седых о своем стиле работы с людьми. Тогда, глядишь, и пожары прекратятся, а что касается Лубянки, то у нее грехов хватает и без того, чтобы взваливать на нее конфликты внутри редакции "Нового Русского Слова".

Пишущий это письмо живет в "парижском далеке" и, в принципе, во всей этой истории его дело — сторона. Но очень уж противно бывает наблюдать за гнусностями людей, которые берутся формировать "общественное мнение" эмиграции. Противно и стыдно...

...СКИЙ.

Париж, октябрь 1979 г.

Один из авторов "Современника" — Валентин Гиндин, передал Редакции журнала текст своего письма г-ну Андрею Седых. В этом письме Валентин Гиндин разоблачал психологию и нравы Т.Шумана (он же — Юрий Безменов), "услугами" которого г-н Седых пользовался для интриг против журнала "Современник". Разумеется, Редактор "НРС" не напечатал письма В.Гиндина.

Публикуя ниже сокращенный текст письма Валентина Гиндина, Редакция "Современника" разделяет его общий пафос, но не берет на себя ответственности за конкретный смысл некоторых обвинений В.Гиндина по адресу Шумана-Безменова.

*Уважаемый г-н Седых!*

*Я хорошо знаю печатающегося в Вашей газете автора "Писем из Канады" Томаса Шумана (он же — Юра Нестеров, Николай Безменов и т.д.). По моему убеждению, это — типичный каджибей.*

*Мафиозо не может сказать своему боссу: "Я у тебя больше не работаю". Так же и каджибей не напишет письмо Андропову, сообщая, что он уходит в отставку. Однако товарищу Шуману это "удалось": он смело "крикирует" КГБ по телевидению, на программе "Шульман Файл", или на собрании общества Джона Бёрча.*

*А ведь он, г-н Седых, — каджибей. И не бывший, а самый настоящий, как "ученик" Троцкого и его убийца Рамон Меркадер, или убийца Кеннеди Освальд. Смотрите, как бы он не явился к Вам с каджибейским топорищем вместо "Письма из Канады".*

*Этот самый Шуман послан в Канаду на оперативную работу по сбору информации в отношении правых кругов, прессы и т.д. и по внесению раздора в эмигрантские круги. Он звонил, например, из моей квартиры и просил канадскую полицию явиться и помочь советскому гражданину, находящемуся, якобы, у меня дома, получить право политубежища в Канаде. Он же грозил пистолетом редактору журнала "Современник" г-ну Гидони. (Почерк-то, почерк-то, г-н Седых! Тут вам и Орджоникидзе в Наркомтяжпроме, тут вам и Крыленко на процессе Промпартии).*

*Этот самый Шуман рассказывает Вам "басни Крыленко" о том, что советское посольство в Оттаве убрало его из Радио Канады. На самом же деле, своими немислимыми инсинуациями каджибей Шуман поставил Си-Би-Си перед дилеммой: или закрывай радиостанцию, или выгоняй зарвавшегося агента-provokatora. Последнее и было сделано.*

*И услугами таких людей, г-н Седых, Вы пользуетесь для травли журнала "Современник"? Проявите объективность и напечатайте мое письмо под рубрикой "Письма из Канады".*

*Примечание В.Гиндина: Г-н Седых объективности не проявил.*

**ВАЛЕНТИН ГИНДИН**

СЕКСУАЛЬНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В США

*Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет";  
а что сверх этого, то от лукавого.*

*Матф. 5. 37.*

Ну, где там ваша сексуальная революция? — подумал я, приземлившись в аэропорту Кеннеди. Однако все вокруг было сексуально мирно: женщины не ложились под меня, а проходили мимо. "Ну, ничего, — утешал я себя, — аэропорт — не лучшее место для демонстрации достижений сексуальной революции." (А почему бы и нет?) Но я решил подождать, и... вот уже жду два года, мечтая встретиться один на один с изобретателем словосочетания "секс. революция".

Теперь, оглядываясь назад, я могу сравнить сексуальную жизнь в Советском Союзе и в США. И главный вывод тот, что демократическое общество в отличие от тоталитарного может дать свободу слова, но ни одно общество не может дать свободу дела.

Расскажу об основных отличиях в сексуальной жизни в Советском Союзе, чтобы была ясна предыстория моих впечатлений,

Детство в СССР более бесцеремонно. Часто на пляже видишь по пояс голых девочек 11–12 лет с начинающими обрастать мясом сосками. Детям разрешается мочиться чуть ли не в любом месте. Как правило, дети предоставлены самим себе и родители не боятся оставлять их дома одних, без всяких там нянь.

Основные места знакомства молодежи — это улица, школа, танцы. Завязать знакомство на улице вовсе не является неприличным, и многие предпринимают долгие прогулки в людных местах, в поисках романтической встречи.

Так как люди в СССР не получают религиозного образования и в большинстве своем чужды религии, то запреты на половую жизнь весьма неэффективны и базируются на невежественных "медицинских" устрашениях, либо на обывательских "нельзя", страданиях венерическими заболеваниями, беременностью, импотенцией, а также тем, что "никто замуж не возьмет".

Несмотря на это, внебрачная половая жизнь процветает, поскольку большинство не находит убедительных причин для ее сдерживания.

Если молодая пара начинает встречаться регулярно, то их отношения

не дают того эффекта зависимости друг от друга и взаимных обязательств, который наблюдается в США. Если к девушке пристают, то она не станет объяснять свое нежелание знакомиться или продолжать знакомство тем, что у нее уже есть некто "регулярный". Девушка не поддерживает разговор и не называет своего имени, если не желает встретиться еще раз. Она не будет вежливо улыбаться и, вероятно, будет резка, если не груба. Трудно себе представить американский вариант, чтобы девушка весело улыбалась, активно поддерживала разговор, представилась, рассказала бы о своей жизни, расспросила бы о твоей, а потом при просьбе дать свой телефон, объявила бы, что у нее очень ревнивый "ха-халь". В СССР существует однозначность вежливости и откровенность грубости. И уж если с тобой девушка вежлива, это значит, что ты ей по вкусу.

На танцплощадках женщины ведут себя активней хотя бы потому, что им дается право два-три раза за вечер перенять инициативу приглашения на танец – объявляется специальный "дамский танец". В отличие от американских дансингов, на советской танцплощадке пахнет потом, т.к. дезодорантов в продаже почти нет, а духам не всегда справиться. Более того, часто не трудно определить, что у женщины менструация, т.к. специальных тампонов советская промышленность не производит, да и вата является большим дефицитом.

Что же касается самого полового акта, он лишь доказывает, что существуют различия между странами, но не между людьми. Правда, подступы к нему осложняются в СССР тем, что найти место, где заняться любовью, труднее – есть даже русский анекдот: есть чем, есть кого, но негде. Люди живут скученно – в одной комнате по несколько человек. Машины далеко не у всякого, в гостиницах дают номера только мужу и жене, проверяя факт супружества по паспорту. В общежитиях часто живут две, а то и три женатые пары в одной комнате, перегородженной занавесками. Так что групповой секс происходит чуть ли не вынужденно. Из противозачаточных средств наиболее популярны презервативы, стоимостью 2 цента штука, но и они не всегда имеются в продаже. Многие женщины боятся принимать таблетки или использовать внутриматочные устройства и предпочитают считать дни. Просчеты обходятся им абортom, который делается грубо, без обезболивания, но бесплатно. За нелегальную доплату или пользуясь услугами частного, а не государственного врача, что противозаконно, можно добиться более внимательного отношения и обезболивания.

Порнография в СССР запрещена, но тяга к ней велика настолько, что если попадает даже такой невинный журнал, как "Хастлер", он поспешно перефотографируется домашним способом и поглощается всеми вокруг. По рукам ходят многократно переснятые картинки, скандинавские авторучки с микродиапозитивами, а у истинных любителей можно найти и порнофильмы.

Проституция в Советском Союзе не признается существующей, ибо, по утверждению правительства, уничтожены ее социальные корни. Чтобы



быть последовательными, правители изъяли упоминание о проституции из уголовного кодекса, так что формально даже нельзя предъявить обвинение в проституции. Однако оскопление уголовного кодекса не может лишить жизнь ее половых признаков. Как и в США, проституция не уничтожается, а подавляется. Только если в США она принимает облик массажного кабинета, сауны и пр., то в СССР она уходит в подполье, не меняя имени. Основными центрами проституции являются вокзалы, рестораны и винные магазины. Вокзалы и винные магазины – это пристанище низшего класса. Не имея права обвинять их в проституции, милиция хватается наиболее активных или наиболее пьяных и обвиняет их в нарушении общественного порядка или в тунеядстве, т.к. каждый в СССР обязан если не работать, то хотя бы числиться на работе. Более трудно уличить проститутку в ресторанах, поэтому в лучшие рестораны часто не пускают женщин без сопровождения мужчин, подозревая любую женщину в проституции. Однако существует и высший класс проститутки под негласным покровительством тех или иных властей. Их используют для ублажения нужных иностранцев и для себя лично. Так как никакая информация и, тем более, статистика о сексе недоступна для советского обывателя, то основной источник информации – это слухи и личный опыт. Вот, к примеру, недавний случай организованной проституции среди молоденьких девушек, большинство из которых, при проверках, оказывались девственницами. Это ставило в тупик следователей, пытавшихся раскрыть эту организацию. Все девушки работали продавщицами в универмаге в Ленинграде. Во время работы им звонил их шеф и передавал вызов. Они отпрашивались у ничего не подозревавшей напарницы на полчаса, выдумывая какую-нибудь причину. Квартира свиданий находилась в двух шагах. Эти девочки делали минет и быстро возвращались на свое рабочее место.

Что же касается немеркантильных порывов, то если уж женщина пришла на свидание, то за остальным дело не станет. Доказательством тому – колоссальное количество венерических заболеваний, несмотря на то, что в СССР они лечатся гораздо эффективнее, чем в США. Обращаясь к венерологу, ты сразу обязан дать подписку о том, что не будешь вступать в половой контакт ни с кем, пока не разрешит врач. Эта подписка дается еще до выяснения результатов анализа. Даже если анализ отрицательный, то делается профилактическое лечение. В случае сифилиса оно затягивается на года. В последние годы во всех крупных городах открылись венерологические профилактические пункты, работающие круглосуточно.

Всё это говорит лишь о растущей сексуальной активности на фоне бессилия медицины.

Свою лепту в сексуальной активности в СССР дает и гомосексуализм. Однако педерастия запрещена законом, а о лесбиянках открыто не упоминается нигде, и только когда речь заходит о Сафо или географические блуждания по карте натываются на остров Лесбос, возникает смущенная заминка. Посему никакой социальной активности гомосексуалисты прояв-

лять не могут. Более того, гомосексуализм изымается из биографий великих людей, чтобы не дискредитировать образцы для преклонения и подражания. Нигде, например, не найдешь упоминаний о педерастии Чайковского – этого кумира русского музыкального искусства. Вялые намеки иногда можно найти об Оскаре Уайльде, т.к. его репутацию можно не жалеть – ведь он буржуазный и не русский писатель. Однако если увидишь в СССР идущих в обнимку мужчин или, чего доброго, целующихся, это вовсе не обязательно гомосексуалисты – это обычное проявление дружеских чувств.

Вот, пожалуй, и все основные отличия от сексуальной жизни в США. Но приехав в Америку, я по неистребимой наивности ожидал увидеть хоть что-нибудь, напоминающее сексуальную революцию, – ну, хотя бы баррикады тел... Человечество всегда было горазδο на выдумку новых слов, при всем том оставаясь неизменным. Вот оно и выдумало фразу "сексуальная революция". Человек же, взращенный на словах, стремится понимать их буквально, ибо только на словах человек в состоянии построить и осуществить мечту.

Повсюду твердят об изменениях, которые произвела "сексуальная революция". Ее глашатаи (а не деятели, потому как их нет) кичатся следующими "достижениями":

1. Изобретением эффективных противозачаточных средств, которые, якобы, развязали руки, то есть, ноги женщинам для безоглядной половой жизни. Страх забеременеть не очень-то удерживал женскую половину человечества. Это всегда тревожило больше родителей девушки, нежели саму девушку, а если ее и охватывали страхи, то скорее после, чем до. Все века женщины, выпятив грудь и оттопыря зад, не останавливаясь, шли через беременности и аборт на сближение с мужчинами. Многие женщины даже теперь предпочитают страх забеременеть страху возможных гормональных изменений, вызываемых противозачаточными таблетками. Изобретением таблеток общество оградило себя от перенаселения, но вовсе не освободило женщин от запретов, страхов, препятствий. Для женщины, верящей в аморальность измены мужу, наличие или отсутствие противозачаточных средств не играет никакой роли, потому что основой ее поведения являются нравственные убеждения. Женщина же, у которой эти убеждения не просматриваются с достаточной четкостью, не останавливается ни перед чем, а тем более перед страхом забеременеть.

2. Всеобщее сексуальное образование – это следующее "великое" достижение сексуальной революции.

Демократические общества в целях самосохранения от перенаселения идут на увеличение области терпимости к сексуальным проявлениям. То, что раньше считалось порнографией, позором, теперь объявлено наукой и получило легальное существование. Это позволяет в открытую говорить, рекламировать, объяснять действие противозачаточных средств и тем самым сдерживать рождаемость. В тоталитарных обществах, в которых не допускается послаблений сексуальных норм, борьба с перенаселением идет с помощью войн. Таким образом, увеличение терпимости

к сексуальным проявлениям — это средство сдерживать рост населения мирными средствами. Потому-то и детей в школах не пытаются обучать, а холодно инструктируют. Собственно говоря, пытаться обучать любви так же нелепо, как обучать испражняться и как есть с хорошими манерами. И в школе не будут учить школьницу, как ей легче достичь оргазма (это ведь только личное удовольствие), но зато будут старательно натаскивать на то, как подсчитать безопасные дни.

3. Увеличение области терпимости к сексу во имя широкого внедрения противозачаточных средств имеет издержки в виде роста порнографии — еще одного "достижения" секс-революции. Прежде всего, не стоит забывать, что порнография существовала всегда. Теперь, правда, вся порнография, созданная 100 лет назад и ранее, скромно называется эротическим искусством. Изменение произошло не качественное (одни участники умирают, другие приходят им на смену и принимают те же позы), а лишь количественное. Причины этого изменения вовсе не нравственные, а чисто технические. Рост порнографии произошел лишь из-за увеличения дешевизны и мастерства типографских работ, доступности фото, теле и кинооборудования. Потенциальных потребителей порнографии всегда было достаточно, и техника помогла их выявить, а не создать. Удивляться следует не тому, что порнография (какое прекрасное слово!) стала широко доступна, а тому, что несмотря на широкую доступность, консерватизм остался прежним и потребление порнографии не так всеобщее, как этого можно было ожидать. Люди по-прежнему ополчаются на свои желания, которые они не в состоянии или не осмеливаются осуществить. А именно в эти желания тычет зрителя носом порнография.

4. Пожалуй, самым главным "достижением" сексуальной революции считается борьба женщин за равноправие с мужчинами. Некоторые мужчины с болезненным чувством справедливости им даже помогают в этой борьбе. Главным аргументом за равенство, который приводят женщины, является их обретенная экономическая независимость и их гипотетическая способность выполнять работу не хуже, чем мужчины. Этот гипертрофированный акцент на экономику, заимствованный из марксизма, лишь еще больше подчеркивает реальное положение вещей. Никуда не деться от того, что сексуальная жизнь является определяющей в поведении, характере, сути человека. Прямо и косвенно она проникает во все области человеческого бытия. Женщины требуют равенства во всем за исключением равенства в сексуальном поведении — здесь они так же требовательно настаивают на привилегиях: от специального обращения с ней как с леди (милостиво соглашаясь, чтобы мужчина оплачивал ее развлечения) до признания у нее особых духовных потребностей, которые, якобы, формируют ее более разборчивое и пассивное сексуальное поведение. В своих претензиях женщины умышленно пренебрегают физиологическим различием, считая его третьестепенным, которое будто используется только для формального различия полов, но не как различие, ведущее к принципиальному и вечному неравенству. Отбрасывая тело, и лишь на основании сомнитель-

ного равенства умственных способностей с мужчиной, женщины требуют равенства там, где его быть не может — в отношении. Мужчина прежде всего соотносит себя к женскому телу, а не к ее уму или душе, и отношение это будет, следовательно, всегда отличаться от отношения мужчины к мужчине. Искомое равенство женщина может получить только в обществе педерастов, но она первая очень скоро начнет им тяготиться, так что равенство, требуемое женщинами, смехотворно, а само требование — подло.

Многие женщины пытаются утверждать, что якобы для того, чтобы у них возникло желание, им нужно больше узнать мужчину и проникнуться определенными чувствами. Одна, например, вполне серьезно заявляла, что она может отдаться со второго раза, но уж никак не с первого. Мужчины, к счастью, не наделены такими способностями к счету, это может послужить основой конфликта, отражающего неизбежное неравенство. Количество примеров такого рода можно приводить до бесконечности, но я ограничусь еще парочкой. Женщины пытаются установить в своем теле запретные зоны, или зоны святости, если угодно. Так, приличные женщины позволяют себя целовать, но не дают снять штаны. Проститутки часто ходят вообще без штанов, но не позволяют своим клиентам целовать себя в губы. Или — у мужчины возникает чувство, что его используют, когда женщина соглашается, чтобы он развлекал ее, принимает от него подарки, но не отдается. У женщины же возникает это чувство, когда мужчина совокупляется с ней и этим ограничивает свои интересы по отношению к ней. То есть, мужчину оскорбляет, когда им пренебрегают как сексуальным партнером, а женщину — когда в ней видят только сексуального партнера. Обратная ситуация бывает крайне редко. Ситуация окажется полуфантастической, если представить женщину, которая с радостью отдается мужчине, но отказывается принимать подарки, ходить с ним развлекаться за его счет и вообще проводить с ним время вне постели, и тут мужчина начинает чувствовать, что его используют. — Ну, не смешно ли?

Физиологическое неравенство между мужчинами и женщинами, к счастью, очевидно. Разница в сексуальном поведении, к сожалению, бросается в глаза. Таким образом, равенство справедливо лишь между равными, а равенство между неравными есть неравенство. Пренебрегая физиологическим различием с мужчинами в своих теоретических требованиях равенства, женщины все свое реальное поведение строят только на этом различии. В своей борьбе женщины добились устрашающе многого — поощряемого обществом права на провокационное поведение. Причем право это полностью освобождает ее от обязательств отвечать на спровоцированную реакцию мужчины. Вспомните первые кадры из "Ночной субботней лихорадки", когда по улице идет девица, размахивая по ветру бедрами, облапанными джинсами. Но когда герой фильма пытается продемонстрировать свою реакцию, она позволяет себе возмутиться и грубо пренебречь спровоцированным вниманием. Найдется куча умников, среди которых окажется и сама эта девица, станущих утверждать, что у нее не было задних мыслей, когда она виляла задом. А я отвечу — Ложь! Она знает, что делает! Тогда мне ска-

жут — что ж такого, если она чуть-чуть кокетничала, вовсе не желая его возбуждать. А я отвечаю, что действия, не соответствующие намерениям — ложь, а следовательно безнравственны и этически неприемлемы. Где же вы, представители общественности, церквей и пр., ратующие о правдивости и искренности?

Между тем, женщина, чувствуя везде свою безнаказанность (за исключением темных улиц), наглеет все больше и больше, нося рубашки без лифчика, почти невидимые бикини, будучи уверенной, что никто не посмеет посягнуть на нее в публичных местах. Самое нетерпимое, что выпячивая свои вопиющие неровности или показывая их обнаженными, женщины вовсе не демонстрируют свою доступность. Обнаженное тело перестало означать приглашение к совокуплению. Мужчины разных стран романтически верят, что, быть может, если не в их стране, то в какой-нибудь другой еще сохранилось или уже приобретено то желанное однозначное соответствие между поведением и истинными намерениями. Соединенные Штаты часто представляются именно такой страной, так как в ней очень много говорят о сексе и находится она притягательно далеко — за океаном. Вот почему многие американки, побывав в Европе, возвращаются оскорбленными, что, мол, европейские мужчины считают всех американок очень доступными. Чему же удивляться, если наивные европейцы, завидев обещающие улыбки задниц американок, смеют верить, что обещания эти будут выполнены с такой же готовностью, с какой они были даны.

Современное женское поведение построено на откровенной и систематической эксплуатации физиологической способности мужчин к быстрому возбуждению. Такое поведение принимается обществом, потому что это поведение формально пассивно. Однако когда спровоцированные мужчины пытаются использовать физиологическую способность женщины — постоянную готовность к совокуплению — это почитается преступлением.

Казалось бы, следуя естественному ходу вещей, всё происходит так. Первое, что видят друг в друге мужчина и женщина, — это тела друг друга, поэтому, если эти тела по вкусу, то возникает физическое влечение (часто оно возникает даже когда и не очень-то по вкусу, вернее, вкус тем менее привередлив, чем сильнее голод). Возникнув, это влечение должно быть удовлетворено. Затем, по мере общения и узнавания друг друга, может возникнуть духовное влечение. Оно вторично, ибо душа не бросается в глаза так очевидно, как тело. Духовное влечение может только маскироваться под первичное. Женщины, заручившись нравственной поддержкой общества, настаивают на обратном порядке: сначала духовный, а потом физический контакт. Общество заключило сделку с женщинами — оно потакает женщинам, когда они следуют обратному порядку в своем поведении и, благодаря этому, общество тормозит реакцию мужчин на женское провокационное поведение и тем избегает хаоса. А женщина взамен получает возможность манипулировать мужчинами, спекулируя на их возбудимости.

Большинство женщин гnevаются, что мужчины хотят лишь их использовать, и предъявляют туманные притязания на духовные глубины в муж-

чине, которые, как правило, отсутствуют в самих женщинах. Желаящая стабильности отношений, но очень часто ничего не могущая предложить, кроме своего тела, женщина, своим небольшим, но подлым рассудком, придавливает свою похоть и начинает откровенно продавать свое тело за мужские чувства и привязанность. Будучи пассивной, а, следовательно, более опасаясь одиночества, женщина ищет гарантий стабильности, больших, чем быстро проходящее желание. Для этого женщина выработала в себе систему сознательного и подсознательного подавления желания, и это дает ей возможность устоять перед соблазнительностью мужчины и дожидаться возникновения в нем не только желания, но и чувств.

Однако с какой стати нежелание женщины должно уважаться больше, чем желание мужчины, тем более, что легкость перехода у женщины нежелания в желание делает бессмысленным придание нежеланию столь серьезного значения.

В связи с этим встает вопрос об изнасиловании. Прежде всего, элементы изнасилования часто присутствуют при первом сближении с женщиной, которая может оказывать определенное сопротивление, даже желая отдалиться. Теоретические объяснения такого поведения стыдом, страхом и т.п. не проясняют ситуации. Практически же женское сопротивление разделяется на три уровня: борьба за губы, борьба за грудь и борьба за бедра. Сопротивление женщины прекращается на любом из этих уровней, в зависимости от того, как быстро ее желание берет верх над ее умствованием. Кроме того, она прекрасно знает, что "аппетит приходит во время еды", и это знание часто подсказывает ей прекратить сопротивление, даже если желание у нее еще не вполне отчетливо. Борьба за бедра может быть весьма отчаянна, но часто резко прекращается, когда удается стянуть трусики ниже колен. Многими женщинами этот рубеж воспринимается как необратимый и дальше они нередко предлагают свое содействие, самостоятельно снимая их. Однако борьба за бедра может продолжаться даже когда женщина обнажена. В этом случае сопротивление длится только до момента введения члена, либо начала клиторального возбуждения. Казалось бы, именно эти моменты должны служить началом особо резкого сопротивления, потому что именно предвидение полового акта вызвало сопротивление женщины, и он, ненавистный и тягостный, должен бы вызвать максимум физического протеста. Но всё происходит наоборот: женщина сопротивляется только подступам к половому акту, само же совокупление не только прекращает сопротивление женщины, а часто возбуждает ее и даже доводит до оргазма. Таким образом, задача мужчины — дать женщине наслаждение, и тогда изнасилование будет поспешно переименовано в любовное приключение. История знает немало примеров, когда женщины влюблялись в своих насильников. Женщина, испытавшая оргазм при изнасиловании, вряд ли станет заявлять полиции на насильника, и, таким образом, успешные изнасилования автоматически не становятся известны обществу. Получается, что изнасилование, в конечном итоге, считается преступлением только потому, что мужчина не доводит женщи-

ну до оргазма и часто приносит ей боль, истязая ее. Женское озлобление против насильника очень напоминает озлобление, которое испытывает женщина к возлюбленному-импотенту, который лишь возбуждает ее, но никак не может удовлетворить.

Статистика показывает, что количество изнасилований в США растет. И, как всегда, общество не в состоянии устранить причины и расписывается в этом, наказывая насильников, тогда как изнасилование — это всего лишь реакция на усиливающееся провокационное поведение женщин. Искусственно сместив очередность возникновения желаний, женщина сопротивляется насильнику в последней попытке сопротивления природе. Женщина бесится потому, что ее тело, не считаясь с ее стараниями поставить душу на первое место, божественно отреагирует оргазмом и сметет ее картонный домик дьявольских притязаний на мужскую душу.

Таким образом, наказан должен быть только тот насильник, который своим эгоистичным поведением дал женщине право утверждать, что половой акт для женщины должен быть предпослан рабским строительством духовного фундамента.

Групповое изнасилование тоже сомнительно в своей жестокости, ибо огромное количество женщин признается, и не менее огромное количество их предпочитает не признаваться, что в глубине души они представляли себя с несколькими любовниками одновременно, но никогда не имели ни подходящего случая, ни смелости для осуществления этого желания. При групповом изнасиловании лишь увеличиваются шансы довести женщину до оргазма.

Итак, все женские возжелания равенства обречены на провал до тех пор, пока их сексуальное поведение не сравняется с мужским. Как это ни кажется странным, победа и торжество "сексуальной революции" происходят на фоне разочарования и равнодушия к сексуальным отношениям.

*(Окончание в следующем номере)*

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ, "РУССКАЯ МЫСЛЬ"...

В последнее время газета "Русская Мысль" нарушила практику замалчивания проблем третьей эмиграции, и на ее страницах появился ряд статей на эту тему. Но вместо, казалось бы, естественной поддержки и объективного рассмотрения, газета делает этакую вселенскую смазь.

Наиболее серьезная из этих статей принадлежит В.Пруссакову ("РМ" от 30 августа 1979 г.). Идея ее состоит в том, что Советы забрасывают на Запад преступников, непризнанных гениев и психопатов, инфантильных путешественников и завербованных агентов. Всё это не новые мысли — так сказать, второй свежести, хотя автор полагает, что об этом еще никто не писал. При внешне солидном и будто бы дружественном тоне, аргументация автора крайне шатка и не выдерживает элементарной критики.

Утверждая, что среди эмигрантов есть преступники, автор доказывает это эмигрантской торговлей на римском рынке. Хотя лично я торговать не умею, хотел бы я знать, какой же еще существует способ, чтобы вывезти хоть немного из найитого за всю трудовую жизнь: ведь рубли или валюта к вывозу запрещены. Вот и покупают люди (в пределах нормы!) разные товары, а затем, естественно, продают их в Италии, теряя, вероятно, при этом большую часть их стоимости. А автор жалуется, что не может объяснить это явление своим итальянским друзьям. Да кажется, итальянцы и сами по части торговли не простаки.

Далее В.Пруссаков полагает, что советские власти очищают путем эмиграции свою страну и загрязняют Запад такой диверсией жуликов. Но власти в СССР уже знают по опыту (автор должен знать из теории), что и по социальным, и по генетическим законам общество неизменно создает новых специалистов такого же рода. В.Пруссаков с ужасом сообщает о порнографических маньяках. Ну что ж, издатели соответствующей литературы заработают несколько лишних долларов в своих красочных, но прогорающих один за другим магазинах.

Затем автор рассказывает о "любителе путешествий", семидесятилетнем советском журналисте, который, с трудом сдерживая слезы, спрашивал его: что мне делать здесь на старости лет, одному, без семьи, без языка?.. К сожалению, В.Пруссаков не предоставил слова этому журналисту. А быть может, у того было что сказать! Возможно, десятилетия тоталитарного гнета стали нестерпимыми? Может быть, он хотел донести до мира свои заветные мысли и наблюдения? Или гордые слова сенатора Джексона послужили последней каплей в его вере в великую западную демократию? Пруссаков винит во всем советскую власть, создавшую закрытое общество. Но почему же "Голос Америки" не предостерегает? Разве не его прямая обязанность читать по радио статьи Пруссакова и по-



добные им? Между прочим, каждый вечер я слушаю, как "Голос Америки" торжественно сообщает, что всякий, кто напишет по адресу пост-оффис-бокс 222, почтовый индекс 20044, получит ответ на любой вопрос. Из СССР не очень-то напишешь, а отсюда я написал несколько писем, но, как ни странно, ответа не получил. Советую теперь написать на легендарные 222-20044 этому семидесятилетнему журналисту...

Пруссаков затем обрушивается на непризнанных гениев: во все времена, при любом социальном устройении общества, имеются таковые элементы, — пишет он... Мы же думали, по наивности своей, что не *при любом* социальном устройстве, а именно при тоталитарном, душатся всяческие гении и таланты. "Большинство гениев как в СССР, так и на Западе, не работает: ждет признания... С этим дело обстоит из рук вон плохо: насколько мне известно, никого из не признанных в СССР не признали и на Западе", — пишет Пруссаков. Говоря совершенно всерьез, это уже трагично. Вероятно, и Лопаткин из романа Дудинцева "Не хлебом единым" погиб бы здесь в небрежении: он ведь и в СССР не работал, а изобретал... А Цветаева, которую именно в Париже, где "Русская Мысль" гордится своей родословной, затравили... Но тут слова мне изменяют...

"Царь-девица, Марина — недаром  
запоздалым, но грозным пожаром  
за тебя жгу я русский Париж  
с той его комариною нотой,  
с тем его мелкотемьем болотным,  
где не квакнешь конклавно — сгоришь..."  
(Г.Румянцева. Разрыв-трава. Торонто, 1979, стр. 64).

Но и посейчас:

"Осённый, сиятельный Париж,  
ты не устал, размахивая палкой..." (Там же, стр. 66).

Скажите, господа вершители западных судеб, как осуществлять обмен людьми и идеями, если вы поддерживаете в русской эмиграции мафиозность и проводите не конкурс талантов, а конкурс степеней, почетных званий и привезенных из Москвы связей с иностранцами? А ведь именно среди признанных в Москве гениев значительная часть, как свидетельствует М.Поповский, — лжеученые. ("РМ" от 29 марта 1979 г.).

И, наконец, завербованные, — пишет Пруссаков. Интересно, *в кого* завербованные? Тайных шпионов из открытых эмигрантов не сделаешь. Абели, как известно, готовятся иными методами... Впрочем, автор приводит только один пример — антиамериканский и антисемитский Самиздат в Америке, на русском и английском языках. Каждому ясно, что тут без помощи старых эмигрантов новым не обошлось. Но первый виновник этого — газета "Новое Русское Слово", не допускающая ни слова критики, ни слова правды об эмигрантских мучениях. Андрей Седых, кстати, и приехал из того цветаевского газетно-журнального Парижа, и привез те же

нравы. Что до антисемитизма, то я сам наблюдал, как в Израиле эмигранты, от ужаса перед предательским режимом, становились антисемитами. Так же, вероятно, и в "Новом Русском Слове", где, как выразился некогда Н.Тетенев, решиться войти в кабинет Седых — что сунуться в клетку со львом. Помнится, израильский коллега А.Седых — редактор "Едиот ахронот" Г.Розенблюм, писал, что даже если трудности абсорбции способны вызывать у иммигрантов оправданное озлобление, то их недовольство выражается порой столь устрашающим способом, что от него за версту разит спланированной провокацией. На это Кирилл Хенкин тогда же справедливо ответил, что агентов и провокаторов следует искать среди тех, кто погружает иммигрантов в атмосферу недоброжелательства, отчуждения, отчаяния. ("Неделя в Израиле" от 16 октября 1974 г.).

"Русская Мысль" часто предлагает читателям посылать в СССР вырезки из газеты. Я тоже прошу всех: посылайте фотокопии этой статьи В.Пруссакова! А вась, это поможет людям разобраться в положении.

Следующую статью в "Русской Мысли" на данную тему написал А.Сиротин ("РМ" от 12 июля 1979 г.). Но это уж на уровне дореволюционных "рассказчиков из еврейского быта". Отвечать на эти местечковые откровения не так обидно, как противно. Какой-то черновицкий воруа-мясник, какой-то жулик-дантист (кстати: никогда не слышал в СССР слова "дантист"; всегда ходил к *зубному врачу* в поликлинику), какие-то ловкие курчавые картежники или славные ребята, предлагающие что-то там покурить...

Что автор имеет дело со всеми этими "ребятами" — это его личное дело, но зачем он предлагает нам их полюбить и зачем "Русская Мысль" печатает такую дрянь, — это уж непонятно. Я бы вернул автору его же совет: "Ущипни себя за одно место и удивись!" И такая словесность в пуританской "Русской Мысли"?.. Впрочем, возможно, это нарочно, чтобы навести тень на этих грязных евреев? Так сказать, ходом коня. Но коня из Сиротина не выйдет, разве что сирота беспрозрачная... Ну, и еще Сиротин предлагает нам умиляться пейсатым мальчикам в Нью-Йорке, играющим на идиш. Говорят, в сталинскую эпоху был еврейский бунт, когда еврейских детей собрались загнать в еврейскую школу. Хоть бы проконсультировался Сиротин с маститым обозревателем "Русской Мысли" М.Сергеевым, который быстро разыскал в израильском журнале "22" нужную цитату: "Русские евреи, чувствующие себя больше евреями, — направляются в Израиль, противоположного толка — на Запад". ("РМ", 11 октября 1979 г.).

Наконец, "Русская Мысль" решила обратиться к Марку Поповскому. Главным достоинством его статьи является, заимствованный у Джона Осборна, заголовок: "Оглянись во гневе". ("РМ", 13 сентября 1979 г.). В остальном статья написана плохо. Поповский предлагает нам устрашиться судьбой приговоренных к расстрелу за хищение текстиля в особо крупных размерах (т.е. на миллионы) и умиляется тому, что в Америке не расстреливают убийц. Но мы не криминалисты и не преступники, и пусть бы Поповский обращался с этими темами в специальные журналы. Кста-

ти, Д.Михеев справедливо указывает, что в СССР рвачи всех презируют, а их — все ненавидят. ("РМ" от 30 августа 1979 г.). Второй пример Поповский берет из медицины: в СССР врач много времени тратит на записи в истории болезни — "для прокурора", чтобы доказать правильность лечения. Что возмущает здесь Поповского, — понять трудно. Разве в свободном мире не следует вести историю болезни? И разве не бывает неправильного лечения и даже судебных исков за ущерб здоровью? А остальное у Поповского и вовсе несерьезно: продавщицы, официанты, проводники в поездах, домоуправления и прочее. Или неприятности у признанных властью писателей, ученых, художников. И этим автор собирался убеждать своих читателей?

А мог ведь напомнить Поповский об очередях на получение квартиры по 10-20 лет, о прописке, о пятой графе при поступлении на работу, о приеме в институты только тех, кого хотят власти, о принудительных отправках инженеров и студентов в колхозы на пару месяцев ежегодно и о многом еще. Но в забывчивости автора, возможно, есть смысл: как напоминать эмигрантам о трудностях с работой и учебой в СССР, если у них в Америке в этом еще бóльшие трудности. Именно здесь коренится суть описываемой автором "болезни с заграничным названием" (ностальгии). Но об этом не фельетон надо писать, а серьезное исследование; и надо находить какие-то приемлемые решения, а не намекать на глупость и плохую память соотечественников...

С уходом от активного руководства З.А.Шаховской, "Русская Мысль", возможно, взамен некоторой доли изящного дилетанства ввела узкий профессионализм, но утратила какое-то аристократическое благородство. Нет надежды, что редакция будет следовать пожеланию Странника: "Пусть держатся русские эмигранты без испуга за Россию и друг за друга" ("РМ" от 13 сентября 1979 г.). И веет теперь со страниц газеты пылью, как из коридоров власти.

## СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА? \*

### 3. Историческая основа пехотной армии.

#### *ПАРАГВАЙ. 1932-1935 годы.*

Приблизительно так же рассуждали стратеги Боливии в 1932 году. Боливия, по южно-американским условиям, страна индустриальная: ее оловянные рудники, оборудованные американцами, считались основой ее экономического и военного могущества. Это был своего рода "большой город" Южной Америки. Боливийская армия, впервые в истории, была насыщена (помимо другой современной техники) пистолет-пулеметами (автоматами).

Парагвай – чисто аграрная и патриархальная страна, представлял собой "большую деревню". Парагвайская армия, отлично дисциплинированная и тренированная, была чисто пехотной.

Характерны были личности военачальников в период Парагвайской войны 1932-35 годов. В Боливии – германский генерал Кундт, представитель и адепт высоко индустриализированной державы. Военный советник Парагвая – генерал русской царской армии Беляев, воспитанный на пехотных доктринах Суворова–Драгомирова.

Спорная территория – лесисто-болотистое плато Чако (с предполагаемыми там сказочными богатствами, особенно нефти) – настоящая южноамериканская Сибирь или Маньчжурия. В горно-лесистой или же в лесисто-болотистой местности тяжелая техника механизированных дорог была, естественно, прикована к немногим скверным дорогам. Снабжение горючим и снарядами было исключительно трудным. Авиация оказалась почти бесполезной, как по причине недостаточной аэродромной сети, так и вследствие невозможности обнаружить действительно заслуживающих внимания крупных целей. Авиация хорошо приспособлена для борьбы против механизированной армии, в борьбе же против исчезающей в лесах и ущельях легкой пехоты авиация не имеет решающего значения.

Итак, механизированная колонна медленно движется по скверной дороге, часто увязая в грязи, с трудом преодолевая естественные препятствия, искусственные заграждения и засады. Тем временем отряды легкой пехоты с противотанковым оружием обтекают механизированную колонну с флангов, маршируя по узким лесным тропам и просекам, и перерезают сообщения далеко в тылу. Моторизованная колонна, лишившись постоянного притока снарядов и горючего, превращается в бесполезную

---

*\* Продолжение. Начало в номере 42.*

груды стального лома. В лучшем случае, она успевает вырваться назад; в худшем — она погибает.

Парагвайская тактика радикально отлична от партизанской войны. Партизаны прерывают сообщения (снабжение) механизированной армии только на мгновение, а потом поспешно удирают, избегая контрудара противника. Парагвайская тактика намертво перекрывает сообщения (снабжение) и не уклоняются от контрударов. Партизаны лишь утомляют противника, но не достигают решительной цели. Парагвайская тактика завершается решительной битвой на окружение.

В результате Боливия потеряла все свое тяжелое вооружение и около ста тысяч солдат — цифра громадная для небольшого государства. Спорная территория Чако была занята парагвайской пехотой. "Большая деревня" победила "большой город".

### *ФИНЛЯНДИЯ. 1939-1940 годы.*

*(По материалам бывшего генерала советской армии Ю.Н.Маркова — из журнала "Часовой", Брюссель, 1976, №7, стр. 5-10).*

Война началась 1 декабря 1939 года. Исходя из опыта стремительных маневров мирного времени, в Москве считали, что советская механизированная армия пройдет из конца в конец всю Финляндию за 10-15 дней. Для этого предназначалось 15 моторизованных дивизий, две или три тысячи танков. "Линия Маннергейма", от Балтийского моря до Ладожского озера, была, по западноевропейским стандартам, укреплена слабо: на 1 км фронта имелось 10 бункеров с пулеметами и противотанковой артиллерией. Тем не менее, отсутствующий на маневрах мирного времени шквал огня остановил танки и моторизованную пехоту. От советской авиации пользы оказалось немного. В течение декабря советская армия провела четыре наступления, в которых многодневная артиллерийская пальба перемежалась с непрерывными атаками танков и пехоты. В начале января две новые моторизованные дивизии, усиленные танками, начали, при поддержке авиации, наступление в обход линии Маннергейма с севера, от станций Медвежья и Кандалакша. Легкая финская пехота действовала по испытанным парагвайским рецептам. По непроходимым для техники лесам и болотам специально тренированная пехота обтекала фланги и замыкала окружение. Обе механизированные дивизии погибли, вместе со всей артиллерией и танками.

В январе получившая подкрепления советская армия провела два наступления и все же не могла продвинуться вперед, хотя на 1 км фронта было привлечено уже по 200 орудий. Только в марте удалось преодолеть линию Маннергейма, причем главный удар наносили 10 новых дивизий, наступавших в обход линии, по морскому льду, окружая Выборг. После падения Выборга был заключен мир.

За 100 дней войны советская армия продвинулась на 50 км — расстояние, которое на маневрах проходили за один день. Советская армия по-

теряла сто тысяч человек убитыми, несколько тысяч танков и бронемашин, и несколько сот тысяч ранеными и обмороженными. Финны потеряли около тридцати тысяч убитыми и тысячу человек пленными. Из советской армии в плен попало тридцать тысяч человек, которых Сталин потом отправил в лагеря. Отвратительная жестокость!

Война доказала, что несмотря на всем известную храбрость русского солдата, механизированная армия не так всесильна, как это кажется, а легкая тренированная пехота может выигрывать бои и в позиционной обороне, и в маневрировании на лесисто-болотистой местности.

### *МАЛАЙЯ. 1942 год.*

Защита Малайи от японского вторжения была доверена стотысячной моторизованной британской армии. Английский штаб, увлеченный идеями Фуллера о всесии механизированной армии, игнорировал опыт парагвайской тактики. Ограниченная в своих материальных ресурсах, японская армия была более внимательна.

Японская десантная армия, высадившаяся на северной оконечности Малайского полуострова, примерно в 800 км от Сингапура, имела самое незначительное количество современной техники и была сильно ограничена в снабжении. Более того, японская армия, состоявшая почти исключительно из пехоты с легким вооружением, насчитывала лишь сорок тысяч человек. Но тренированная пехота генерала Ямашиты ("Тигра Малайи") обтекала по непроходимым для техники болотам, лесам и ущельям фланги сильных механизированных групп и прерывала сообщения. Правда, английским генералам удавалось вырваться из окружения, но и только. В течение 40 дней японская армия прошла с боями 800 км и дошла до Сингапура, где, после нескольких дней боев, деморализованная и павшая духом, английская армия сдалась в плен.

Кампания в Малайе доказала, что легкая пехота может не только успешно сражаться, но и стремительно наступать, захватывать значительные территории.

### *КИТАЙ. 1946-1949 годы.*

Чан Кай-ши располагал армией в 300 дивизий, его авиация была оснащена американскими самолетами, а флот неоспоримо господствовал в Китайских морях. Коммунисты занимали небольшую территорию на северо-западе Китая и в Маньчжурии. В 1946 году советские войска ушли из Маньчжурии, передав занятые было территории войскам Чан Кай-ши, доставленным на американских транспортных самолетах. Но трофейное японское оружие Сталин передал в распоряжение Мао Цзэ Дуна, в возможность победы которого он, впрочем, не верил. Большие военные действия между коммунистами и войсками националистов начались в 1947 году.

Войска Мао – почти исключительно легкая пехота – обтекали фланги армейских групп противника и перерезали сообщения далеко в тылу.

В результате кампании 1947 года все гоминьдановские группы войск, находившиеся к северу от Пекина, оказались в окружении. Восстановить сообщения с ними не удалось.

Решающее сражение произошло осенью 1948 года. В октябре Чан Кай-ши лично прибыл в Пекин для руководства операциями. Лучшие бронетанковые войска были высажены в южной Маньчжурии, чтобы выручить из окружения Мукденскую группу войск. Бронетанковые части, после успешного продвижения вперед, были окружены и вскоре сдались. Та же судьба постигла продвигавшуюся к ним навстречу Мукденскую группу.

В декабре 1948 года красная армия окружила Пекинскую группу войск. Тяжелая артиллерия Мао взяла аэродромы под точный прицел и снабжение прекратилось. Через полтора месяца Пекин сдался. К этому времени армии Мао вышли на линию реки Ян-Цзы и весной 1949 года форсировали реку, одержав последнюю крупную победу.

Характерной особенностью войны было полное отсутствие авиации на стороне Мао. Интересно, что перед началом военных действий, когда конфликт был уже неизбежен, Сталин прислал Мао секретное советское руководство по ведению войны, составленное советским штабом на основе тяжелого опыта войны с Германией. Тщательно изучив эту книгу, Мао ответил: "Если бы мы воевали по этой книге, нас уничтожили бы еще 10 лет назад". Позже, в шестидесятые годы, Мао еще более резко порицал советские методы ведения войны.

### *ИЗРАИЛЬ. 1948 год.*

В мае 1948 года армия Израиля не имела танков; артиллерия и авиация были еще очень слабы и немногочисленны. Технический перевес был на стороне арабов, арабская авиация господствовала в воздухе. Можно было ожидать, что, по опыту маневров мирного времени, моторизованные армии Египта, Иордании и Сирии в несколько дней пройдут из конца в конец всю территорию Израиля: в течение первых пяти месяцев войны им противостояла пехотная армия. Однако арабские войска не умели преодолевать позиционной обороны — этому их, как и советскую армию, не учили на больших театрализованных маневрах. В результате, сирийская танковая дивизия была остановлена у бастиона Дегание (предместное укрепление на восточном берегу реки Иордан, южнее Тивериадского озера), египетская моторизованная дивизия была остановлена у бастиона Ашдод. Только иорданские войска, после упорных боев, заняли старый Иерусалим. Впрочем, израильские контратаки в Иерусалиме оказались безуспешными, а три наступления на иорданский бастион Латрун (ключевая позиция на полпути между Иерусалимом и Тель-Авивом) — организованные, по настоянию Бен-Гуриона по советской модели, с привлечением первых механизированных войск, — успеха не имели.

В октябре израильская авиация захватила господство в воздухе, а бронетанковые войска одержали первые победы на египетском фронте, в Синайской пустыне, где местность давала возможность охвата флангов и маневрирования.

### *ИНДОКИТАЙ. 1946-1954 годы.*

Послевоенный хаос и переговоры кончились в декабре 1946 года. Французские войска выбили повстанцев Хо Ши Мина из Ханоя. Однако, в духе учения Мао, Хо Ши Мин стал захватывать труднопроходимые сельские районы. Через четыре года он уже настолько окреп, что отправил своего главнокомандующего, генерала Зиана, на решительный штурм Ханоя. Новый французский генерал-губернатор де Латтр де Тассиньи свежими войсками остановил наступление и в январе 1951 года нанес решительный контрудар: пять дивизий Хо Ши Мина уничтожены, французы снова контролируют территорию, армия Хо Ши Мина отброшена в Южный Китай. Всё начинается сначала, с помощью председателя Мао. Понемногу снова захватывается труднопроходимая местность. Наконец, в начале 1954 года разыгрывается решительное сражение: Дьен Бьен Фу.

Французский отряд, выдвинутый в эту местность, окружен пехотными отрядами вьетнамской армии. Воздушное снабжение, как обычно бывает на войне (Сталинград!), оказалось совершенно недостаточным. Попытка моторизованных колонн пробиться на выручку также не удалась. Дьен Бьен Фу пал.

### *КОРЕЯ. 1950-1953 годы.*

Армия Северной Кореи была организована по советской модели, южнокорейская – по американской; в каждой было примерно по 10 дивизий. Наступление северокорейцев велось в духе советских операций 1944 года, при поддержке ураганной артиллерийской пальбы. Простая и решительная советская тактика и твердая дисциплина принесли быстрый успех: вся Южная Корея была потеряна; американцы удерживали только плацдарм вокруг порта Пусан.

Затем генерал Макартур направил усиленную дивизию американской морской пехоты в Инчхон (Чемульпо), во фланг и тыл северокорейской армии. Одновременно несколько американских дивизий перешли в наступление с плацдарма Пусан. Северокорейцы не могли держаться против превосходной огневой мощи и тренированности профессиональных американских войск. Господство в воздухе американцы захватили еще в первые дни войны. Решающее значение имел фланговый удар морской пехоты. Северокорейская армия была разгромлена, ее главнокомандующий погиб. Осенью американцы заняли почти всю Северную Корею и вышли на подступы к пограничной с Китаем реке Ялу.

"Благодаря нашему превосходству в воздухе коммунисты не смогут перебросить из Китая через реку Ялу более пятидесяти тысяч человек. Они будут раздавлены нашими сухопутными силами (230 тысяч) и авиацией", – говорилось в американском штабном анализе. На деле китайцы перебросили на передовую 300 тысяч солдат, которые не были обнаружены, как говорит один военный историк, "благодаря изумительной маскировке и маршевой дисциплине".

В декабре 1950 года китайцы перешли в наступление по наименее удобному для применения тяжелой техники району. Американцы оказыва-



лись в окружении, но, правда, успевали вырваться и отступить. Китайцы заняли Северную Корею; американцы потеряли пространство, но сохранили армию. Узость полуострова — 200 км — позволила американцам создать сплошную линию обороны. Сплошной фронт парализовал усилия китайской пехоты: не осталось брешей, посредством которых можно было провести окружение, охват флангов. В борьбе же на более широком фронте превосходство китайской пехоты могло оказаться подавляющим.

В 1951-53 годах китайцы безуспешно пытались прорвать укрепленный фронт. Для успеха им нехватало особой тренировки и огневой мощи. В это время китайцы имели вдвое больше артиллерийских орудий, чем американцы, но американцы выпустили в десять раз больше снарядов; кроме того, американские артиллеристы были лучше подготовлены и стреляли более точно.

Американская авиация господствовала в воздухе, уничтожая всё, что можно было уничтожить. Транспортная сеть Кореи была разрушена, однако 100 китайских дивизий (70 — в боевой линии, 30 — в резерве) продолжали получать всё необходимое. Линии снабжения обеспечивались тысячами кули, тащивших нужные грузы по лесным тропам.

Американцы потеряли тридцать тысяч человек убитыми, южные корейцы — пятьдесят тысяч. Общее число раненых достигало трехсот тысяч. Потери китайцев убитыми и ранеными оценивались в миллион или в полтора миллиона.

### **В Ы В О Д Ы.**

1. Пехотная армия является реальностью, способной одерживать победы и даже стремительно наступать. Пехотная армия Наполеона добралась до Бородина (под Москвой) за два месяца, а германская моторизованная армия до того же пункта — за четыре месяца. Другой пример — наступление японцев в Малайе и в Бирме в 1942 году.

2. Механизированная армия — грозная сила, но отнюдь не всепобеждающая.

3. Разрушительная мощь авиации является поистине страшной, однако дисциплинированная и закаленная армия может пережить и этот ужас.

Вообще же, как видим, значение и качество моторизованной армии неодинаково в разных странах и в разных условиях. Советская военная система — не самая лучшая, отнюдь не всеильная, но и не самая плохая. Наиболее совершенным образцом осталась старая германская армия.

*(Продолжение следует)*

В № 39-40 "Современника" за 1978 год Редакция журнала поздравила читателей-католиков с избранием славянина на Высокий Пост Пастыря Католической Церкви. Номер "Современника" с текстом этого поздравления был послан в Ватикан.

В связи с этим Главный Редактор "Современника" А.Г.Гидони получил от Монсиньора А.Ланцони – руководителя департамента Государственного Секретариата Ватикана письмо следующего содержания:

Уважаемый мистер Гидони!

Его Святейшество Папа Иоанн-Павел Второй просил меня выразить Вам благодарность за посланный Вами номер журнала "Современник". Он весьма признателен за этот любезный жест и за чувства, выраженные Вами.

Его Святейшество призывает на Вас милость и благословение нашего Бога-Отца и Господа нашего Иисуса Христа.

Искренне Ваш, Монсиньор А.Ланцони.

\* \* \*

В польском журнале "Культура" (№ 4/379 за 1979 год) напечатана статья Иозефа Лободовского, представляющая собой отклик на статью Галины Румянцевой "Польское стихотворение" графини Растопчиной" (статья Г.Румянцевой была опубликована в № 33-34 "Современника" за 1977 год). В сентябрьском номере газеты "Белорус" (Нью-Йорк, 1979 год) опубликована статья Владимира Брылевского "Стихи Александра Гидони", посвященная разбору книги стихов А.Гидони "Без России – с Россией".

\* \* \*

Решением Рабочей группы Редакции "Современника" Петр Матвеевич Болдырев кооптирован в состав Редакционной коллегии журнала.





## Библиография

**ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.** (Василий Белов. Воспитание по доктору Споку. М., 1978. Александр Галич. Генеральная репетиция. Франкфурт на Майне, 1974. Василий Кельсиев. Галичина и Молдавия. Бриджпорт, 1976. Владимир Кормер. Крот истории. Париж, 1979. Вацлав Сольски. Палач и его хозяин. Париж, 1978. В.Ходасевич. Некрополь. Париж, 1976).

*1. Мы, в эмиграции, слышим время от времени (включая из уст Солженицына) о расцвете сейчас в СССР литературы на деревенские темы; но, в общем, с ней мало знакомы, кроме превосходных рассказов и романов Солоухина.*

*Разбираемая книга представляет собою именно образец такой литературы, и на высоком уровне; в особенности, стоящая в ней первой (и, действительно, далеко превышающая по качеству остальные четыре новеллы) повесть "Плотницкие рассказы".*

*Тут описаны, безо всякого нажима, судьбы двух односельчан, родившихся в конце прошлого века, Олеси Смолина и Авинера Козонкова. Оба, каждый в своем роде, — типичные русские крестьяне; только первый вобрал в себя лучшие, а второй — самые скверные черты нашего национального характера.*

*Смолин от роду (таков был уже его отец и, похоже, такова же и его единственная дочка) — работяга, честный и скромный, с инстинктивной деликатностью и тактичностью, одобренной в меру развитым чувством юмора. Козонков — бездельник, наглый горлопан и, во всех случаях жизни, бессовестный плут, к которому, как по мерке, прикладывается есенинская строчка:*

*"Мужик, что твой пятый туз".*

*При нормальных условиях (и в царской России, в частности), Смолин с семьей пошли бы в гору, а Козонков — вниз, и, верно, кончил бы в тюрьме или под забором. Революция смешала карты...*

*Впрочем, мы видим, в наши дни, обоих в почти равном положении, в жалкой обстановке захолустного колхоза; только на совести у Козонкова — участие во всех ужасах раскулачивания (чем он сам-то лишь гордится и даже хвастается...), а у Смолина совесть чиста, хотя тяжелых испытаний у него за спиной много осталось.*

*"А тут еще и меня начали прижимать, такое пошло собачество..." — сжато роняет он о событиях после того, как он отказался подписать, в качестве понятого, акт о ссылке мало-мальски зажиточного соседа.*

*То, что эти два столь различных человека — Смолин и Козонков, меж-*

ду собою еще и приятели, хотя им и случается по пьяному делу сцепиться друг другу в волосы (а выпить они оба не дураки!) — такое только и бывает в России и, вероятно, иностранцу непостижимо.

Кусок правды о страшном, безумном и преступном периоде коллективизации (а мы еще всё, по инерции, ахаем про жестокости помещиков!) делает честь автору. И метко он подмечает, что старый плотник, разговорившись, потом опасливо спрашивает: "А ты не партийный?"

Герой Белова, ведущий персонаж всего сборника, инженер Константин Зорин, замлявшись, отзывается:

— Как тебе сказать... Партийный, в общем-то.

Раз люди начали всерьез стыдиться принадлежности к компартии, значит, сознание и совесть в них пробудились. И это — залог лучшего будущего для нашей родины!

2. Воспоминания безвременно и трагически умершего поэта, проявившего себя стойким антикоммунистом и наделавшего большевикам немало неприятностей своими разоблачительными песенками, написанными в увлекательной и даже блестящей форме, вызывали бы в целом полную симпатию, если б они не ставили ребром ряд острых и болезненных вопросов.

Нас — представителей второй волны, чрезвычайно удивляет у третьей (вне зависимости от этнической принадлежности тех или иных ее деятелей), каким образом многие из составляющих ее людей могли до недавних лет принимать и оправдывать большевистскую идеологию и методы? У нас почти ни у кого подобных иллюзий не было; если же у некоторых и имелись в ранней юности, то, как правило, еще задолго до второй мировой войны рассеялись.

Желание примириться со всесильным режимом, признать его ценности и тем облегчить себе жизнь, — оно, конечно, порою возникало; но совесть и разум ему решительно противились.

Слава Богу, у меня, например, с детства глаза были раскрыты: чуждость советского строя мне представлялась ясной с тех пор, как себя помню. И не то, чтобы наша семья специально пострадала (наоборот, она относительно благополучно сохранилась), а просто горе и муки всей страны, ущерб российской культуры, моря крови, подавляющий страх, слишком били в глаза и в уши.

Галич утверждает, будто не понимал, не верил; ссылается на несколько искусственную атмосферу театральных студий, где учился (но... ведь он, следовательно, вращался в среде русской интеллигенции, столь жестоко в те годы ущемляемой?).

Не зря молоденькая красавица Лия Канторович, еще до войны сумевшая всё рассмотреть и оценить, ему говорила: "Ты совершенно, совершенно не умеешь думать!"

Ну, — может, и так: не понимал и вправду. Он пришел, в конце концов, к антикоммунизму и, видимо, вполне доброкачественному, ибо радикальному; а что прежде заблуждался, — был молодцу не в укор. Вспомним евангельскую притчу о рабочих; не столь важно, к о г д а, — ни

даже, по чему, — человек стал антикоммунистом; главное, что он им стал вообще.

Воспроизводя в книжке пьеса Галича "Матросская тишина", хотя и талантливая, принадлежит целиком его прошлому до прозрения: ее наполняет казенная советская психология (все народы СССР готовы до одного умереть за свою родную советскую власть и т.п.). Еще казеннее и серее была, видимо, пьеса, созданию и постановке которой он отдал когда-то много сил: "Город на заре".

Но займемся основным: тем, для чего Галич, очевидно, и составил свои мемуары: вопроса о перемене его убеждений. И вот тут-то как раз дело неладно... Получается так, что для него решающим (а, пожалуй, и единственно существенным) явилось гонение в СССР на евреев. Ну, а если бы его не произошло (что ведь легко бы можно себе вообразить)? Неужели бы он тогда по-прежнему верно служил режиму и все зверста над другими народами его бы не волновали? Не хочется ни за что в это верить, а всё же очень допустимо именно такой вывод из его сочинения сделать. Не пишет ли он сам о себе и своих друзьях, что они:

"Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев! Знали, но..."?

Но это их лично не касалось. А на чужом опыте никто не учится — как в другом месте бросает он сам, уже с негодованием, по адресу современного Запада!..

Грустно оно тем, что на таких-то человеческих свойствах и играл большевизм, уничтожая население по категориям: дворяне и духовенство, зажиточное крестьянство, оппозиционные партийцы и т.д. — при равнодушии остальных.

Подлинные антикоммунисты должны сознавать: коммунизм плох для всех и бороться нам надо за всех, чтобы живым помочь, а за мертвых отомстить; а защищать интересы какой-то одной группировки, классовой, этнической или политической, — близоруко и потому бессмысленно.

Нашлись, однако, евреи, которые погибли за Россию, и в периоды, когда их как национальность никто не преследовал; вот им Россия, безусловно, воздвигнет со временем памятники: Мандельштаму, Каплан, Канегиссеру и скольким еще...

Несколько коробит и чрезмерное раздражение Галича по поводу объяснений, сделанных ему относительно запрета его пьесы, партийной чиновницей Соколовой. Советский антисемитизм отвратителен, как и любая форма национального угнетения, но кое-что в словах Соколовой бесспорно соответствует фактам (таким, которые признают и сами евреи, например, в издающихся в Израиле журналах).

Всё же Галич — в отличие, скажем, от Эткинды, так и оставшегося в душе марксистом, — пришел к тотальному отвержению коммунизма, и потому не станем его корить за прежнее, а помянем лучше добром за его деятельность последних лет, в России и в эмиграции.

Скверно, что писал он иногда по правилам не русской, а советской грамматики: "Стихи о Тютчевской усадьбе в Мураново". Му р а н о в о —

не Сорренто или Толодео, и предположный от него падеж будет — в Муранове. По-русски говорят и пишут: "Пушкин уехал в Болдино и там, в Болдине, пережил необычайный творческий подъем". Если мы перестанем различать данные, весьма существенные, оттенки речи, то наш язык от того многое потеряет.

3. Карпаторосское Литературное Общество в США прекрасно сделало, переиздав книгу В.Кельсиева, первоначально опубликованную в Петербурге в 1868 году.

Столкнувшись в Галиции и Закарпатии с двумя типами культуры — польской и русинской, Кельсиев всей душой возлюбил последнюю. Один из главных упреков полякам у него — аристократический характер их литературы, искусства, их быта. Не замечает он только того, что ведь аристократична не меньше и русская литература, хотя и на иной лад. Впрочем, тут не только в этом дело. Кельсиев остро чувствует враждебность поляков к России (в большей мере понятную, собственно говоря), а карпатороссов отождествляет с русскими (пункт довольно-таки сомнительный).

Привязанность Кельсиева к темным, забитым хлопам и к униатскому духовенству (почти единственной среди них интеллигентной прослойке) не знает границ и выдерживает любые испытания. Даже когда он сталкивается с тем, как некрасиво эти мужики надуют своих добродушных и беззаботных панов; как они, в пору польского восстания, грабят и выдают властям молодежь, героически (если и неразумно) борющуюся за свободу отчизны; и даже когда вовсе дикие гуцулы, в горы коих он заехал из этнографического любопытства, его самого обносят жандармам как опасного шпиона, да так, что его в результате высылают из пределов Австро-Венгрии!

Всё с той же порывистой страстностью Кельсиев невзлюбил евреев, в которых увидел эксплуататоров беззащитных галичан и угороссов (между тем, из его же сочинения видно, что те не просто хищники, а часто и советники селян, и даже их союзники против помещиков и чиновников). И уж тут он никак не хочет входить в положение народа, каковому тоже нужно жить и для того заниматься торговлей, ремеслом и пр.; в нем он замечает только дурное. Причем придирки его удивляют подчас мелочностью и желчностью: и молятся-то не так, как надо (а уж как русским свойственно уважать в сякую молитву, соблюдение своего закона, как бы он странен и необычен ни казался!), и светских манер не проявляют, даже когда радушни и любезны (вот уж вовсе не типичный для великоросса формализм!).

В остальном, чего не отнимешь, дорожные записки экс-революционера, эволюционирующего к славянофильству, Василия Ивановича Кельсиева набросаны живо, метко, с задором, и читаются с удовольствием, даже если местами и раздражают своей предвзятостью. Однако, сколь опасна роль предсказателя! Он вот заверяет, что Польша не возродится. Возродилась! — правда, чтобы вновь скатиться под власть угнетателей, худших,

чем когда-либо прежде. Но верно и опять еще восстанет, как Феникс из пепла: великий народ с подлинно великой культурой убитъ трудно. Finis Poloniae уже не раз наступал; и всегда — не окончательный.

4. Книжка В.Кормера очень слаба, с рыхлой композицией и множествем неувязок. Остается удивляться, что ей присуждена премия имени Дала на 1978 год, да еще и е д н о г л а с н ы м решением жюри!

Можно ее разделить по качеству на три части. После бледного начала примерно середина романа наиболее в нем удачна. Здесь описывается (не будем судить, насколько достоверно), как в СССР подготавливают мятежи и беспорядки в Центральной Америке. Действие разыгрывается на подмосковной даче, когда-то принадлежавшей Сталину, где отдыхают, трудятся и интригуют друг против друга служащие всяческих засекреченных отделов, на кои возложены функции подрывной работы за рубежом.

Тут же очерчены и некоторые относительно живые человеческие типы — очаровательная курьерша Галочка, старая партийка-библиотекариша и другие.

Конец сделан вовсе халтурно. Герой теряет рассудок, причем симптомы его болезни до неприличия скатаны с Гоголя. За счет его сумасшествия списывается разрешение всех иных поставленных вопросов, более или менее интересных для читателя (чем же завершилась революция в республике С.Ф.? какая участь постигла семью Интерлингаторов?).

Впадению героя в безумие предшествует появление тени Сталина. Курьезно, до чего эта идея, о возврате на сцену Вождя, преследует писателей-диссидентов! У Гладилина Сталин и впрямь оживает; у Кормера он встает из гроба лишь в виде призрака. Может быть, из подобного сюжета и можно бы кое-что извлечь, но у автора, увы, получается серая дребедень.

Лучший совет, какой бы ему стоило дать, — переписать свое сочинение заново, сохранив и расширив середину и начисто переделав завязку и, особенно, развязку.

5. Агиография Сталина растет; впрочем, данный роман не столько принадлежит к области с т а л и н о в е д е н и я, сколько открывает новую сферу я г о д о л о г и и. Однако личность Генриха Ягоды — верховного заплечных дел мастера и предшественника Ежова, скорее разочаровывает читателя: он тут выглядит человеком ординарным, даже слабым, вознесенным на выси случайностью и одержимым одним неосуществимым желанием — выжить! Но страх парализовал его волю и не позволяет ему, пока еще возможно, спастись бегством за границу.

Автор хорошо знает советский быт и нравы большевистских чиновников среднего и высшего разряда. Другой вопрос, в какой мере его версия событий заслуживает доверия. Вряд ли вполне. Предположение, что убийство Кирова было подстроено Сталиным, правдоподобно, но отнюдь не доказано.

Описание интимного разврата Кремлевского Горца, для которого, будто бы, его агенты похищали девочек на улицах Москвы, даже и не правдоподобно (не говоря о том, что подобных слухов никогда и не ходило). Хотя бы потому, что у Сосо Джугашвили была неограниченная власть, и если б он пожелал, то мог прибегнуть к более простым средствам.

Фантазии, будто Берия придушил умирающего тирана, уж и вовсе не похожи на реальность, а выглядят погоней за дешевой сенсацией.

Наоборот, мысли Сталина и его политические соображения изложены часто вполне убедительно. Например, его нежелание улучшить быт масс, ибо имея больше времени и свободы, они скорее оказались бы способны бороться против угнетения. Или его расуждения о необходимости ликвидации старых большевиков, слишком проникнутых идеализмом.

Ради этих мест в первую очередь и стоит данную книгу прочесть.

Чрезвычайно сомнительны настойчиво приписываемые Сталину уже тогда поперод антисемитские настроения. Если они у него имелись, то ни в чем тогда не проявлялись.

6. Переизданные Имкой, крайне субъективные воспоминания Ходасевича суть важный источник информации и — увы — дезинформации о Серебряном Веке. Общая атмосфера оного передана превосходно; автор утрирует, но это — его полное право (а в чисто художественном плане его мемуары, в результате, только выигрывают).

Книга распадается на очерки об отдельных писателях. Из них, о Сологубе сказано много верного и меткого, во вполне объективном тоне. О Горьком, которого повествователь близко знал, он говорит с неожиданными симпатией и теплотой.

То, что нам сообщается о Брюсове, Белом, и о менее известных — Муни, Гершензоне, Петровской, бесспорно интересно, хотя к оценке их интимных дел следует, пожалуй, подходить *cum grano salis*. Во всяком случае, мы здесь читаем рассказ очевидца о людях, которых он вполне понимал.

Хуже обстоит с отзывами о Блоке и Гумилеве. Решительное предпочтение, отдаваемое мемуаристом Блоку, приводит его порою к совсем неубедительным суждениям!

Не ревнуя ни к Блоку, ни к Брюсову (кого он, так сказать, застал уже взошедшими на горизонт светилами), маленький поэт Ходасевич определенно завидует своему выдающемуся сверстнику, родившемуся с ним в один год, большому поэту Гумилеву.

Не потому ли он и приписывает тому собственные непохвальные чувства: "Гумилев... мог завидовать Блоку". На деле-то, скорее, было наоборот, о чем нас сам Ходасевич и осведомляет несколькими строками далее: "Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным."

А уж в иных фразах предвзятость и мелкая досада звучат и вовсе не-



прикрыто: "Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы – и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей, до такой степени неподозревающих о том, что такое религия."

Переведем на человеческий язык: для Ходасевича р е л и г и я – это духовные искания символистов в стиле Гиппиус и Мережковского. Мистицизм Блока в данную схему укладывается, а православие Гумилева – никак.

А что надлежит думать о замечаниях, вроде следующего: "Изобразить взрослого ему нравилось, как всем детям"? Коль скоро Гумилев был ребенком, то гениальным и героическим, из тех, о ком сказано: "Если не будете как дети..."

Однако обаяние этого исключительного человека подействовало-таки и на зоила: "В Гумилеве было много хорошего" – снисходительно констатирует он. Да, правда: очень много, и очень хорошего...

Совсем плоха памфлетная статья Ходасевича о Есенине. Тут столкнулись полярные противоположности: сухой, комнатный интеллигент с небольшим дарованием и солидной эрудицией, и дитя народа, наделенное от Бога с л а м и н е о б ъ я т н ы м и; Сальери и Моцарт!

Гумилеву, человеку своего круга, Ходасевич еще мог простить прерывающееся; деревенскому пареньку с обликом о т р о к а в е р б н о г о – ни за что!

Дело осложняется особой какой-то, напряженной враждебностью Ходасевича к идее праведной мужицкой Руси, к любой, хотя бы и умеренной, форме идеализации народа и к нарождавшейся крестьянской литературе. Ярко пробивается его озлобленность в рассуждениях по поводу очень дельного и умного письма к нему поэта А.Ширяевца (вовсе несправедливо забытого, ибо высоко талантливое). Между тем, данная струя, в стихах и в прозе, продолжала шириться, и вот сейчас приносит в СССР богатые всходы...

Биография Есенина грубо перепутана. В Петербург он приехал не в 1913, а в 1915 году; не прямо из деревни, а из Москвы, где жил с 1912-го года, работал корректором и учился в Народном Университете. Нежелание Ходасевича признавать Есенина христианином – плод уже упомянутых его предрассудков: традиционная вера масс утонченному эстету чужда и неприемлема; ему годятся лишь искания Религиозно-Философского Общества. Достаточно глубокие духовные переживания крестьянского поэта протекали в иной среде.

От Ходасевича родилась гнусная сплетня, повторенная недавно в печати З.Шаховской со ссылкой на Бунина. В ней всё нереально. Он, будто бы, встретил Есенина на именинах у А.Н.Толстого в Москве, весной 1918 года. Но жена Толстого – Н.Крандиевская, категорически утверждает, что Есенин их посетил о д и н р а з, весной 1917 года, вместе с Клюевым (и совсем не в той обстановке!), а потом они его на пять лет потеряли из виду. Если всё же Есенин (не там и не тогда!) сказал некоей поэтессе К. (Крандиевской?), что они могут посмотреть на расстрел при по-

мощи Блюмкина, так ведь такая фраза только и могла звучать издевательской насмешкой по адресу присутствовавшего тут же Блюмкина. А с Блюмкиным, видимо, тогда знакомы были почти все в литературном мире, включая, например, Манделштама.

Неверен фактически и упрек Есенину, будто он нигде не употреблял слова *Р о с с и я*, а только *Р у с ь* или *Р а с с е я*. Употреблял; например:

"Неужель тебе и дела нет,  
Что в далеком имени Россия  
Я известный, признанный поэт?"

Да и *Р у с ь* он воспринимал, безусловно, как *ш е с т у ю ч а с т ь з е м л и* — и не иначе!

ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ). Ф.Светов. "Отверзи ми двери..." Париж, 1978.

"Ваш отзыв об его романе меня поражает! Книга, равная по силе Достоевскому, выше Солженицына и Максимова и минимум наравне с Домбровским... Главное же, полная напряженнейшего интереса, читающаяся враз, с захватом и увлечением... Как Вы можете называть ее *с к у ч н о й*?"

Так писал мне мой коллега по перу и, признаюсь, моя вина, — в моем письме к нему я употребил слово "скучная" необдуманно. Оставляя вышеприведенные сравнения на совести писавшего и под ними не подписываясь, я должен признать, что книга Феликса Светова, вышедшая в изд-ве Имжа Пресс в прошлом году, интересная и ценная, хотя и *м о н о т о н н а я*. Я сам читал ее довольно усидчиво, досадуя время от времени на ее "статичность" в смысле отсутствия живой акции. Этот объемистый психологический роман (560 страниц убористого и весьма мелкого шрифта) рассказывает читателю о душевных переживаниях русского еврея Льва Ильича Гольцева, решившегося креститься в православную веру. Место — Москва. Время — почти что настоящее. Период — десяток дней...

К недостаткам книги следовало бы отнести структурную нечеткость ее. Слишком много тем, самих по себе интересных, втиснуто в рамки этого романа. Повествование о художнике Ферморе, например, органически не связано с основной темой и могло бы стать сюжетом для отдельной повести. Некоторые личности как бы недорисованы, а их поведение недостаточно объяснено в смысле мотивов (например, у Веры и Любы). В романе слишком много диалогов, монологов, размышлений, при весьма убогом действии. Психологическая микродialeктика... Читатель так до конца и не знает, кто такой Костя? Двойник изанакарамазовского черта, или Воланда — у Булгакова, или Ивана Ивановича — у Максимова? Скорее —

последнее, ибо у Достоевского черт беседовал с Иваном Карамазовым с глазу на глаз, у Булгакова — вся книга выдержана в фантастически-символическом тоне, и только у Максимова и Светова этот, действительно "некто в сером", выступает реальнейшим образом, "на людях", а не является лишь невро-патологической объективацией, так сказать. Язык Светова хорош, но несколько тяжеловесен или, вернее, отличается барочным стилем. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на такой синтаксический "перл": период в 232 слова! (См. его превосходную статью о Солженицыне в "Вестнике РХД", №121, стр. 202-203).

В кредит книги можно было бы записать многое... Хорошо описан быт современной советской "образованщины". Некоторые персонажи обрисованы мастерски, например, старик — кладбищенский еврей. Убедительно передан тот духовный климат, в котором у Льва Ильича созрело решение креститься, а также процесс становления его из номинального христианина в христианина действительного. В повествование умело вкраплены литургические тексты. Всесторонне рассмотрен, в свете современного подхода, извечный "еврейский вопрос". Перед взором читателя проходит целая вереница еврейских типов: от ортодоксального до современного, от положительного до отрицательного, от убежденного сиониста до циничного "уби-бене-уби-патриота". "Зоологический антисемит" Саша (стр. 303, 305, 306) сбалансирован типичной "антирусситкой" Юдифью (стр. 406, 407). Умелую и правдивую защиту русской родины и русских братьев во Христе высказывает неофит Лев Ильич Гольцев, не отвергающий своих предков — "цадииков, раввинов, барышников, спекулянтов, торговцев живым товаром" (стр. 408), но противопоставляющий им себя в качестве "православного христианина". И не только говорит другим, но и рассуждает он сам с собой так искренне и убедительно, что читатель, чуждый предубеждения, начинает верить, что "генетический кунаж" еврейской крови с русской если и не легок, то все-таки возможен. Не такими ли "русскими-евреями" были Пастернак и Мандельштам или такие горячие русские патриоты, как авторы известной книги "Россия и евреи", или, совсем недавно, столь всеми любимый Галич?

Книга Ф.Светова, безусловно, заслуживает внимания.

**ЕВГЕНИЙ КАРМАЗИН.** А.Московит. Метаполитика. 1978. М.Поповский. Управляемая наука. Лондон, 1978.

Андрей Московит — это Игорь Маркович Ефимов, эмигрировавший из СССР в августе 1978 года. "Метаполитика" его относится к числу самых оригинальных и замечательных книг, пришедших на Запад из, казалось бы, навсегда заданного в России мира свободной мысли. Посвящена книга глущему вопросу наших дней: "как, каким образом народы достигали жизни свободной, цветущей, могущественной и как, из-за чего они эту силу, процветание — утрачивали."

Автор тщательно проштудировал соответствующую литературу и пришел к выводу, что приобретение и сохранение свободы основано на "зрелости" народа. Но что есть зрелость? Поистине, — говорит автор, — есть много эпох, когда деспотизм настолько свиреп и могуч, что поголовная покорность подданных не вызывает у нас строгого морального осуждения. Но зато нет эпох, когда человеку не был бы оставлен свободный выбор: ясно осознать ужас своего бесправия, но не поступаться своим представлением о человеческих достоинствах и свободе, которыми его жестоко обделила судьба. И в этом мужественном выборе, совершающемся невидимо для окружающих, есть такое бескорыстие, что мы интуитивно чувствуем: должна быть прямая связь между таким духовным подвижничеством и процессом "созревания" народа. Зрелость и незрелость народа, — продолжает автор, — всегда будут определяться не числом людей, дошедших до крайних пределов введенья или неведенья, но некоей метафизической суммой всех "Я", образующих "Мы", неким вектором направленным вверх или вниз. Так духовная энергия выбора отдельных людей, соединяясь, образует некое свойство народа, которое мы договариваемся именовать зрелостью.

И в то же время, — пишет А.Московит, — несмотря на все неоспоримые достоинства и преимущества, демократическое правление до сих пор не могло удержаться у власти дольше 150-200 лет. Культивируя свободу, оно вызывает такой бурный рост всех внутренних сил, набирает такую скорость движения, что рано или поздно разбивается о те подводные камни, которые подстерегают его на пути. Поэтому, — продолжает автор, — нам следует расстаться с иллюзиями и перестать надеяться, что промышленный прогресс сам собой выведет нас к свободной и богатой жизни. Свобода в индустриальном мире будет стоить так же дорого, как и раньше, и доставаться лишь тому народу, который знает ей настоящую цену. Народ же отсталый в политическом отношении всегда должен будет довольствоваться грубой тоталитарной властью, полурабским состоянием и бедностью.

Если всмотреться в хаос человеческих желаний, — пишет А.Московит, — то станет ясен внутренний смысл любого устремления человека: он жаждет свободы. Или, как иначе выражается автор, человек хочет расширить или сохранить царство своего "я-могу". Один эмигрантский поэт некогда сказал об этом: "Быть собой до последней минуты, Небывалому бросить: могу!" (Александр Перфильев. Стихи. Мюнхен, 1976, стр. 30).

Осознанная необходимость — никакая не свобода, а как раз обнаружение границ, за которыми свобода кончается и начинается несвобода, — так отвечает автор на осточертевший марксистский тезис, оправдавший столько чудовищных преступлений. С какой энергией человек устремляется на расширение своей свободы, — продолжает автор, — вот важнейшая характеристика его бытия в истории.

А.Московит показывает прямую зависимость силы и жизнеспособности государства от экономической и политической свободы его граждан.

Многие примеры весьма интересны, а иные просто поразительны. Но — странное дело — они как-то слабо убеждают нас и, в основном, оставляют холодными, хотя мы вполне согласны с выводами автора. Дело в том, что изложив исторические факты чуть ли не с фараонов и шумеров до средневековых городов-олигархий, автор практически обошел становление и рост демократии в современных великих державах. Уж не потому ли, что

*"Ходить бывает склизко  
По камешкам иным,  
Итак, о том, что близко,  
Мы лучше умолчим"?*

А ведь сказать было что! Хотя бы семисотлетняя история английской свободы, начиная с Великой Хартии вольностей и парламента и до Habeas corpus акта и парламентской реформы 1910 года. Или великолепная двухсотлетняя французская история — от молниеносной ликвидации террора в Термидоре до блестящей конституции де Голля.

Вообще, сравнительное рассмотрение новой истории великих держав могло бы дать автору интереснейшие предпосылки. Он бы обнаружил, что каждая великая держава прошла стадию террора под тем или иным знаменем: Англия — пуританизма, Франция — Просвещения, Россия и Китай — коммунизма, Германия и Италия — нацизма и фашизма, Япония — милитаризма. Даже США, свободные от монархии и сословного строя, не избежали 4-летней гражданской войны в 1861—65 гг. и страшного наследия расовой проблемы в наши дни. Так не является ли народ, преодолевший террор, зрелым?

Точно так же важнейшее значение имело бы сравнение различных конституционных и избирательных систем. Ныне уже можно предположить, что президентская республика устойчивее парламентарной, что французский образец президента как арбитра, стоящего над парламентом и правительством, практичнее (в европейских условиях), чем американская традиция равноправия президента и конгресса, что мажоритарная избирательная система в 2 тура (во Франции) целесообразнее пропорциональной системы, создающей неустойчивые правительства (в Италии), или выборов в один тур, дающих меньшинству избирателей большинство в парламенте (в Англии). Можно было бы указать так же на то, что американская система косвенных выборов президента позволяет (при трех кандидатах) меньшинству избрать президента, тогда как во Франции второй тур прямых выборов обеспечивает президенту абсолютное большинство; или же отменить изнурительный и парадоксальный характер первичных выборов партийных кандидатов в президенты в США — отдельно в каждом штате, в сравнении с порядком выборов лидера консерваторов в Англии в нескольких турах голосования, постепенно отсеивающихся кандидатов.

Не рассмотрев всех этих проблем, автор неверно трактует факты современной политики. Так, столкновения де Голля и Никсона с парламентами автор считает нарушением равновесия властей. Однако, роспуск парламента во Франции — это конституционное и необходимое право президента, а действия Никсона в деле Уотергейт были просто незаконными. Странным

образом автор понимает провал Черчилля на выборах 1945 г. как отказ народа идти на материальные жертвы перед лицом опасности, хотя именно в разгар холодной войны на выборах 1951 г. Черчилль одержал победу.

Представления автора по вопросам социалистической экономики вообще доходят до нелепостей. Так, по его мнению, возможно распадение экономики на отраслевые, независимые от власти мафии, тогда как современная промышленность не может прожить и дня без межотраслевой кооперации. Или автор думает, что любая система ревизий в производстве — бесплодна, так как требует от ревизоров непосильного объема знаний. Могут заверить И.Ефимова, что многие ревизоры в СССР достигли высокой степени совершенства в разоблачении злоупотреблений и что всегда можно ревизором специалиста с аналогичного предприятия, от которого и вовсе трудно скрыть что-либо. По мнению автора, деятельность администрации предприятия практически ускользает от эффективного контроля. К сожалению, автору неизвестно, что десяток планируемых показателей и система премий действуют с весьма внушительной эффективностью.

Недоказанным остается рассуждение автора о русской истории. Многие варварские черты в облике русского государства, — пишет он, — коренятся в его вековой борьбе с варварством хищных степных орд, и поэтому оно вечно отставало на пути прогресса. Действительно, борьба с половцами и печенегами, а затем татарское иго очень тяжело отразились на России. Но разве борьба с гуннами в Западной Европе была легкой? Или вековая борьба с арабами, захватившими кусок Италии, часть Португалии и с трудом остановленными уже на французской земле? (Примеры можно продолжить.) Таких испытаний и Россия не знала... Как сказал поэт,

*Но из грехов нашей родины вечной  
Не сотворите кумира себе...*

Быть может, многие особенности России коренятся не в ее истории, а в географии. Сибирь и Соловки издавна давали легкую возможность для расправы. А куда было ссылать во Франции — в Марсель или в Нант? Другое различие было в том, что на Востоке обычно было одно государство (Византия или Россия), которому неизбежно подчинялась церковь, а на Западе, где было много государств, церковь осталась независимой.

Зато большую ценность имеют для нас исторические факты, вытасканные автором из неизвестных широкому читателю фолиантов. Так, оказывается, что во Франции Меровингов число рабов не только не уменьшилось, а наоборот увеличилось в сильной степени, что экономическое благосостояние Киевской Руси 11-го и 12-го веков держалось на рабовладении, а в Ирландии в 12-ом веке было множество англичан, захваченных в рабство. Неплохая иллюстрация к нелепости марксистской схемы о переходе от рабовладения Рима к феодализму Европы.

В Китае в 204 году власть довела страну до того, что торговля замерла. Все налоги собирались натурой, деньги были отменены, а голод был та-

кой, что кости мертвецов были разбросаны по всей стране. Чем не военный наш коммунизм 1920 года? В Англии в 1388 г. подмастерья и ученики были обязаны в страдную пору бросать свое ремесло, чтобы снимать урожай. Сегодня в СССР эта обязанность возложена уже на интеллигенцию... Знаменитый лаконизм спартанцев, оказывается, только на одну половину происходил из благородной сдержанности, а на другую — из страха сболтнуть лишнее...

Спаситель отечества князь Пожарский "отослан был головою" к ничтожному, но родовитому сопернику, подвергся унижительному обряду, был проведен с торжественным позором пешком под руки под конвоем от царского крыльца до крыльца соперника...

Всякий деспотизм, — заключает А.Московит, — пристально и подозрительно следит за тем, чтобы ни один глубокий ум, ни один яркий талант, ничья пламенная вера не получили возможности проявить себя. Там, где это ему удастся... народ сходит с исторической сцены. Но там, где творческое начало оказывается победителем, там могут быть созданы духовные ценности, способные пережить тысячелетия, которых "ржа не истребляет и воры не украдут".

\* \* \*

Книга М.Поповского о советской науке выгодно отличается от ряда книг недавних эмигрантов, затрагивающих ту же тему. Автор "Управляемой науки" не прибегает к эффектным приемам и пропагандным сенсациям (что можно найти на иных страницах, скажем, "России без прикрас и умолчаний" Л.Владимирова или "Западни" А.Федосеева), не гонится, по его выражению, за "копеечными секретами", а строит повествование на тщательно изученных фактах.

Предоставим слово автору. Имя моего героя — миллион, — пишет он, — ибо по последним данным в СССР насчитывается 1169 тысяч научных работников. Такое положение создалось далеко не сразу. Еще в 1914 году в России числилось всего 11,6 тысяч людей ученого звания. Но даже и эту, казалось бы, небольшую группу после революции большевики решили взять измором. Один за другим погибали академики в своих вымороженных квартирах. Мартиролог жертв русской науки двадцатых годов можно было бы продолжить до бесконечности. Тех, кого не убили голод и холод, сыпьяк и брюшняк, — добивали власти. То было лишь начало, но начало многообещающее.

Великий террор 1936-38 годов всей тяжестью обрушился уже на новое, советское, поколение ученых. Жернова государственной мельницы перемололи и их. В тюрьмах, лагерях и "шаражках" побывали тысячи деятелей науки. Те из них, что вернулись, создали эпоху в своей области науки. Но сколько же их вернулось?

После войны, — продолжает автор, — рывок: Сталин удвоил, утроил зарплату кандидатов и докторов. Блеск его победоносной империи надо было поддержать созданием нового класса. И тут перед каждым специалистом с его копеечной зарплатой вдруг возникла удивительная возмож-

ность: защити диссертацию и будет тебе благо. "Благо для защитившего выступало в самом неприкрытом, самом бесстыдно обнаженном своем виде: едва утверждена диссертация, как недавно еще скупая бухгалтерия автоматически с того же дня начинала одаривать тебя солидным ежемесячным содержанием. Не пошли — повалили в науку молодые и старые...!"

Недавно автор выступал в одном из московских институтов с беседой "Зачем ученому совесть" и невзначай произнес слово "плата". — И тогда мои собеседники как-то очень уж дружно оживились, — пишет автор. Плата не слишком велика, — сказал при общем одобрении своих товарищей молодой человек. Ну что такое 280 (зарплата кандидата)? Право же, 500 (докторское жалованье) — лучше. И все мы предпринимаем героические усилия, чтобы приблизиться к этой заветной сумме. (Средняя зарплата по стране — 160 рублей, а зарплата научного работника без степени — 105 рублей). Такой поворот беседы всех развеселил...

Тем временем научная этика, — пишет М.Поповский, — разлагается. Возникла система приписывания себя к чужим научным работам, которая породила среди директоров институтов подлинных гигантов мысли и талантов трудоспособности. По произведенным обследованиям, ученый может написать максимум 10 работ в год. Но, например, академик Овчинников за 15 лет опубликовал 300 трудов и среди них несколько книг. А за подписью академика Несмеянова вышло в свет 1200 трудов. Вот уже сорок лет он выдерживает в науке поистине бешеный темп: каждые 12 дней публикует статью или монографию. Вот что значит быть директором! "Сказать, что наука для директора НИИ — дойная корова, — значит ничего не сказать. Ибо не с подойником подходит такой руководящий товарищ к науке-кормилице, а с железнодорожной цистерной."

М.Поповский тщательно изучил положение в разрекламированных научных городках и показывает их в новом свете. Проект сразу обрел политическую окраску. Сибирский и Дальневосточный научные центры стали осмысляться как форпосты колониального господства в Сибири, чтобы глубже внедрить в сознание тридцати миллионов сибиряков русскую, советскую цивилизацию.

Значительное место в книге уделяет М.Поповский национальному вопросу в советской науке. В национальных республиках проводится давление, чтобы вытеснить из общественной, научной, политической жизни всех и всяческих иноземцев и иноверцев. Убирайтесь к себе в Россию, — говорят им. Сегодня давление на русских, — сообщает автор, — возросло настолько, что писатели, журналисты, врачи, ученые начинают постепенно отступать в Россию. Стремление выбраться из национальных городов испытывают уже тысячи людей. Я получал письма, — сообщает автор, — от большого круга знакомых, которые десятилетиями жили в Узбекистане, Таджикистане, на Кавказе, на Украине. Они просили помочь им подыскать место в любом среднерусском городе. Жить в атмосфере угроз и давления многим уже не хватает сил.

Ряд утверждений автора вызывает серьезные возражения. Так, По-



повский критикует "Литературную газету" за то, что она сводит падающий потенциал науки к неправильной оплате научных работников, умалчивая при этом о главном — психологии и этике ученых. Но при существующей безразличной системе оплаты никакая этика не выдержит... Что все-таки могли бы тут сделать сами ученые? На мой взгляд, — отказаться защищать докторские диссертации, сделать докторскую степень позорной, оставить ее для негодяев.

Автор полагает, что возрождение религии среди ученых может изменить положение и ссылается на энтузиазм, с которым был встречен сборник "Из-под глыб". Всё это не слишком убедительно. Как известно, этот сборник вызвал серьезные возражения именно среди ученых, в частности, в сборниках "Самосознание", "Демократические альтернативы" и в ряде других книг. Нынешняя революция в Иране показывает, что религия, захватив власть, тоже может приводить к тоталитарному террору и мракобесию. Государственный клерикализм в Израиле производит самое отталкивающее впечатление своим насилием над личностью. Да и сам автор, сообщая, что для многих ученых церковность уже обратилась в образ жизни, приводит и мнение, что в наше время много людей играет в религиозность, т.к. это повышает их престиж в интеллектуальном обществе. В всяком случае, заметим, что и энтузиасты сборника "Из-под глыб" не выступили с призывом: нет — докторским диссертациям! И вправду, как сказал поэт:

*"А все-таки отказывались легче  
Дворяне от дворянских привилегий,  
Чем вы от ваших великосоветских..."*  
(Иван Степанов. — "Время и Мы", № 28, 1978, стр. 90).

В заключение обзора книги об управляемой науке лучше всего приведу слова автора: "Страх — ключ к пониманию психологии советского ученого. Если даже ты не знаешь за собой ничего предосудительного, не являешься ни евреем, ни диссидентом, то и тогда ты не чувствуешь себя спокойно, ибо никогда не известно, что именно власти сочтут крамольным и криминальным в удобный для них момент."

**КАСТУСЬ АКУЛА.** Илья Клаз. Белая Русь. Роман. Минск, 1977.

Книга этого автора, имени которого прежде не слыхивал, попала мне в руки лишь благодаря ее названию. Написана она по-русски и издана в Минске тиражом в 30 тысяч экземпляров. Цифра весьма показательная. В "суверенной" БССР книги наиболее популярных, пишущих по-белорусски авторов, таких, как Шамякин, Быков, Брыль, редко превышают тираж в 8-10 тысяч. И это в республике, где, согласно официальной статистике, имеется свыше 27 тысяч разных библиотек. Даже Белорусская Советская Энциклопедия на белорусском языке, изданная недавно в Минске в тринадцати томах, удостоилась лишь тиража в 25 тысяч...

Тема романа И.Клаза заинтересовала меня. В нем повествуется о восстании в Пинске (1648 год), где православные горожане и крестьяне ведут борьбу с войсками полевого гетмана Великого Княжества Литовского Януша Радзивилла. На помощь им Богдан Хмельницкий присылает своего атамана Нябабу, обещая "белорусцам" всяческую помощь, если те пойдут вместе с русскими, "чтоб есми вовеки все едино были".

Как известно, белорусская национальная литература не смогла подобно, с подлинно национальных позиций, осветить белорусское прошлое. Не так давно талантливый белорусский писатель Владимир Короткевич написал роман "Колосья под серпом твоим" (о восстании Кастуся Калиновского). В вышедших его частях хорошо изображены были предпосылки восстания, правдиво показана роль непопавшей белорусской шляхты. Тем самым писатель нарушил партийные "табу", и публикацию его романа приостановили. Такова судьба белорусских писателей: либо держись подальше от исторической темы, либо пиши "эрзацы".

Книга Ильи Клаза — типичный "эрзац". Пишет он по приему контраста. Польский униатский ксендз Халевский — это у автора воплощение дьявола, князь Радзивилл — самый жестокий из тех невероятно жестоких феодалов, под гнетом которых, согласно марксистской истории, стоиал белорусский православный народ. Зато атаманы Нябаба и Гаркуша если еще и не ангелы, то крылья у них уже проклевываются. Сама "чернь" клонится явно к царю Алексею Михайловичу, горя пламенным патриотизмом к "православной Руси". Мечта о "воссоединении с Москвитной" так и прет. О ней говорится в письме Алексея Хмеля (гетмана Богдана Хмельницкого) русскому царю, о ней говорят и пинский владыка Егор, и белорусский атаман Гаркуша, и украинский Нябаба, а бедолага-кузнец Алексашка аж во сне видит царя Алексея — "защитника" православной "Белой Руси".

Чтобы доказать, что, мол, земли "Белой Руси — исконно русские", автор призывает на помощь даже белорусского гуманиста и первопечатника Франтишека Скорину. Вот характерная сцена, где герои читают найденную ими книгу:

"Нябаба поднял еще одну книгу. Буковки потускнели, покрылись черными крапинками странички. Но все же разобрал название: "Библия. Премудрости божьей книга починается. Зупольно выложена на русский язык доктором Франциском Скориной... из славного града Полацака". Шаненя стоял удивленный и задумчивый. Пересохшие губы механически повторяли за Нябай: Катехизис... то есть наука стародавняя христиан святого письма... для простых людей языка русского... Сымон Будный..." (стр. 168).

Автор романа уверен, что между "русским языком" Скорины, на который переведена его Библия, и современным русским читатели поставят знак равенства. Тем самым и докажется вековечное "тяготение" Белоруссии к Москве. Легче будет вдалбливать и другие фальсификации истории. На таких "фокусах" и держится вся эта жалкая книжонка.

**ЮРИЙ ГИДОНИ.** Дэвид Хэмфрис. Джо Кларк. Портрет. Торонто, "Тотем букс", 1979. **George Guidoni. David L. Humphreys. Joe Clark. A Portrait. Toronto, A Totem Book, 1978.**

Книга Д.Хэмфриса, несмотря на неплохой журналистский стиль и интересную содержательность, не вызвала большого читательского интереса при ее первой публикации. Это неудивительно: герой ее — нынешний Премьер-Министр Канады Джо Кларк, не только не был в то время главой правительства, а казался ничем особенно не привлекающей политической фигурой. Пресса даже прозвала Кларка за его ординарность "Джо — Какой?" Однако теперь, после федеральных парламентских выборов в мае 1979 года (после которых Кларк стал Премьер-Министром) интерес к посвященной ему книге, естественно, возрос.

Ничего загадочного в этом нет; далеко не каждый Премьер-Министр в канадской истории поднялся до столь почетного поста с "высот" мелкого среднего класса, разбросанного по крохотным городкам на западе Канады. Весь процесс этого "подъема до вершины", начиная с детства Кларка и кончая его избранием на пост лидера Прогрессивно-консервативной партии, показан в книге Хэмфриса.

Сам автор — давний друг Кларка, имел полный доступ к его переписке и архиву для написания книги. Свою цель Хэмфрис высказывает кратко и просто: "Я всегда был убежден, что наша страна не знает Джо Кларка, как я его знаю. Я предложил эту книгу в надежде, что она поможет канадцам узнать гораздо больше об одном из их политических лидеров." Конечно, близкий друг Кларка знает его лучше, чем остальные канадцы, но после того, как он проработал на виду у всей страны в течение полугода, можно с уверенностью сказать, что Кларк, которого знает Хэмфрис, не есть тот Кларк, который сейчас руководит правительством.

Возможно, дружеские отношения между Кларком и Хэмфрисом являются причиной необъективности книги: с уклоном к идеализации Кларка. В предисловии Хэмфрис говорит: "Я не игнорирую его (Кларка — Ю.Г.) недостатки." Действительно, кое-какие недостатки им названы: отсутствие большого политического опыта, излишний прагматизм и в то же время некоторая догматичность. Однако на этом описание слабостей Кларка и кончается, а в сравнении с изображением сильных сторон, они вообще выглядят как почти несуществующие. Само же отношение Хэмфриса к слабостям Кларка довольно легкомысленно: чувствуешь, что они ему вроде бы даже нравятся, придавая такую уникальность его герою. По словам Хэмфриса: "Вкусы у Кларка были просты... Он всегда предпочитал посмотреть кино, любое кино, нежели сходить на балет." (Стр. 266). Это, видимо, умиляет Хэмфриса.

В целом, Кларк, в изображении автора книги, предстает перед читателем как решительный, твердый и сообразительный человек, обладающий высоким интеллектом и чувством юмора. Увы, такого Кларка канадцы еще не видели и, можно опасаться, вряд ли увидят. Свою слабость и нерешитель-

тельность он проявил, как только занял пост Премьер-Министра и столкнулся хотя бы с проблемой перевода канадского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Свою недалекновидность он демонстрирует сейчас, пытаясь денационализировать канадскую компанию по добыче и развитию горючего ("Петрокэн"), ну, а о чувстве юмора и вообще говорить трудно. Если у Кларка и есть достоинства, о которых пишет Хэмфрис, то присутствуют они в довольно микроскопических дозах.

Канада — страна открытых возможностей. Здесь каждый простой человек может сделаться кем он хочет, в том числе и Премьер-Министром. Джо Кларк стал олицетворением этого случая. Время покажет, заслужил ли он этот шанс, подаренный ему судьбой, или же на посту Премьера он останется всего-навсего простым человеком.

**ОЛЕГ БУКОВ.** Филлис Оти. Тито. "Пингвин Букс", 1974. Ракеле Муссолини. Интимная биография, рассказанная его вдовой. Литературная запись Альберта Зарки. Нью-Йорк, 1977. **Oleg Bukov. Phyllis Auty. Tito. Penguin Books, 1974. Rachele Mussolini. Mussolini: An Intimate Biography by His Widow as told to Albert Zarca. New York, 1977.**

В год столетия со дня рождения Сталина представляется вполне логичным поговорить о единственном из коммунистических лидеров нашего века, который бросил открытый вызов Сталину в борьбе с ним и выиграл в этой борьбе. Книга английской специалистки по Югославии, посвященная этому лидеру — Иосипу Броз Тито, является, бесспорно, одной из лучших биографий политического Мафусаила, пожизненного президента и крупнейшего — по индивидуальным качествам — вождя-практика в лоне международного коммунизма.

Книга Филлис Оти по-научному основательна и по-хорошему публицистична. Она дважды сама интервьюировала югославского президента, изучила огромный материал в югославских и британских архивах; ее опыт времен Второй Мировой войны, когда она служила в армии и в министерстве иностранных дел, также весьма ей пригодился. Под ее пером фигура Тито предстает полнокровной, объемно изображаемой с разных сторон. В целом работа ее способна вызвать интерес как у специалиста по югославским делам, так и у менее искушенного читателя.

Сама Филлис Оти скромно говорит о своей книге, как о "промежуточной" на фоне классических, по-своему, биографий Тито (В. Дедиера, с эра Фицроя Маклина и К. Зилиакуса), а также тех, которые еще будут написаны (стр. 12). Однако именно ее эрудированность и беспристрастная аналитичность продиктовали ей умело набросанные штрихи портрета Тито, делающие честь ей как автору, даже в сопоставлении с очень сильными предшественниками (о будущих исследователях мы, естественно, ничего сказать не можем). Вот, к примеру, одна из ее характеристик Тито:

люция требует своих жертв, смертей, тюремных заключений и несправедливостей. Он думал, что сделал всё возможное, чтобы смягчить эксцессы революции, ограничив экстремистские стремления некоторых из его сподвижников. Хотя он и не останавливался перед беспощадным уничтожением врагов, когда речь шла о необходимости выжить, сам по себе Тито, в основном, — гуманный человек, вполне нормальный, и во многих отношениях он почти ординарен.

И всё же он далек от ординарности, поскольку в нем соединились все необходимые признаки величия и трудно определимого дара счастливой судьбы... Он комбинировал осторожность и предусмотрительность... с готовностью крупно и рискованно играть, когда на то представляется шанс. Неудачи скорее вызывают в нем гнев, нежели самораскаяние, однако он никогда не давал усыпить себя достигнутыми успехами. Встречаясь с кризисами, он смел и решителен. Эти качества пригодились ему во время войны и в борьбе с русскими после войны... Он был и революционером, и консерватором одновременно... Спрошенный однажды, действовал ли бы он иначе, начни заново свою жизнь, он ответил: "Я думаю, что действовал бы так же. Возможно, какие-то вещи я сделал бы лучше. Я сожалею лишь, что не смог осуществить многого." Когда его спросили, каким бы он хотел остаться в памяти потомков, он ответил: "Я не могу ничего решить здесь. Пусть история рассудит, что было положительного в моей жизни; именно за это меня будут помнить люди. Насколько я могу судить о себе, я пытался посвятить свою жизнь доброму делу для народа моей страны, и я буду служить ему, пока способен на это." Тито знает, что ему обеспечено место в истории его страны, истории коммунизма и нашей эпохи." (Стр. 344 и 345).

Против последнего утверждения трудно возразить: Тито — фигура крупная, и — что особенно характерно — это один из немногих коммунистических лидеров, имеющих с в о е лицо, обладающий р е а л ь н ы м и, а не раздутыми культам, человеческими достоинствами. Тем не менее, насчет окончательных оценок личности Тито можно поспорить. М. Михайлов писал в одной из недавних статей: "Думаю, что после ухода Тито, в Югославии произойдет "двадцатый съезд" с осуждением культа личности югославского диктатора, но тут надо иметь в виду, что такое осуждение может произойти и с просоветских позиций. Вторичное подчинение Югославии Москве было бы трагедией..." (М. Михайлов. О диссидентском движении в Югославии. — "Новый Журнал", Кн. 136, Нью-Йорк, 1979, стр. 186).

Именно в этом заключается драматичная диалектика современной югославской ситуации, переплетенной с личностью Тито. Югославская разновидность коммунизма есть в с ё ж е к о м м у н и з м с его тоталитарным ужасом, однако национальная независимость Югославии удерживается с помощью построенной Тито "модели социализма" и на фоне советского "образца" или какой-нибудь чехословацкой "гусаковщины", титоизм выглядит наиболее предпочтительным вариантом развития (в условиях, когда не созрели еще силы и обстоятельства для разрыва с ком-

мунистической доктриной к а к т а к о в о й). Естественно, что изучение жизни и деятельности Тито является полезным уроком для любого человека, желающего понять югославскую проблематику во всей ее сложности. Книга Филлис *Оти* весьма способствует такому пониманию. Прослеживая биографию Тито, начиная с дней его юности, автор рисует впечатляющие картины его становления сначала как ортодоксального коммуниста, а затем как своего рода "коммунистического Лютера". Сами по себе увлекательные детали из истории подпольной деятельности Тито в королевской Югославии, его работы в Коминтерне, затем его партизанской карьеры во время Второй Мировой войны, представляют большую ценность. Не может, разумеется, оставить равнодушным читателя изображение автором позиции Тито в его борьбе против Сталина, а также против пресловутой "доктрины Брежнева". "В 1968 году, — отмечает Филлис *Оти*, — он (т.е. Тито — О.Б.) осудил советское вторжение в Чехословакию. Как стало известно, он предупредил советского посла, что Югославия будет сражаться, если ее атакуют. Это была последняя карта, которую даже самый удачливый лидер малой страны может разыграть." (Стр. 308). В издательской аннотации книги Филлис *Оти* справедливо подчеркивается, что кроме Тито, "ни один другой государственный деятель восточной Европы не нашел способа противодействовать русскому империализму".

В целом авторская манера Филлис *Оти* характеризуется академической беспристрастностью, однако она отнюдь не уклоняется от политических оценок и полемических выводов. Не со всеми из них можно согласиться, но все они пробуждают мысль и желание следовать за автором путями ее анализа. Это уже — гарантия успеха и полезности книги, мимо которой не может пройти ни один читатель, интересующийся восточноевропейскими (югославскими, в частности) проблемами.

\* \* \*

В краткой биографической заметке журнала "Тайм" о скончавшейся недавно вдове Муссолини говорится:

"Умерла от сердечного приступа в Карпена ди Форли (Италия) Раделе Муссолини, 89 лет, скромная, неизменно преданная жена итальянского диктатора Бенито Муссолини. Раделе Гуди впервые встретила Муссолини в 1906 году, когда она работала на кухне отеля, принадлежавшего его отцу. Муссолини грозил покончить с собой, если она не согласится выйти за него замуж, но все-таки их брак был официально зарегистрирован лишь в 1915 году (пять лет до того они жили вместе не зарегистрированными). В период власти Дуче, с 1922 по 1943 годы, Донна Раделе занималась домашним хозяйством и воспитанием пяти своих детей. После того, как диктатор был расстрелян партизанами и повешен за ноги, рядом с Клареттой Петацци — его наиболее известной любовницей, вдова (лишенная всех средств) вернулась в родное местечко Форли. Живя там, она успешно боролась за получение правительственной пенсии, за погребение останков Муссолини по христианскому обряду и за возврат бывшей собствен-

ности. Последние 15 лет она также содержала отель-ресторан. Она признавалась: "Учитывая все происшествия моей жизни, могу сказать, что если б я не умела приготовить блюдо тортеллини или подать посетителю стакан вина, я бы давно уже покончила с собой." ('Time', November 12, 1979)

Пожалуй, сейчас самое время рассказать русскоязычному читателю о мемуарах покойной Ракеле Муссолини. Ее книга содержит массу интересных сведений о жизни человека, который — как бы ни относиться к его деятельности — принадлежит к числу великих людей. Портрет Муссолини, нарисованный его супругой, не свободен, конечно, от субъективности в оценках, однако он очень полезен в том плане, что перед читателем предстает фигура именно ж и в о г о ч е л о в е к а — не застывшего монументально "Дуче" из официальных биографий, и не карикатурного паяца, каким запомнился Муссолини советским, скажем, кинозрителям после талантивого, но исторически необъективного фильма Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм".

Ракеле Муссолини рисует своего мужа, не затушевывая его недостатки, но и не преуменьшая восхищения им. Разумеется, ее рассказ сильнее в сфере интимности, нежели там, где она рассуждает о политике. Ее усилия изобразить, например, Муссолини миротворцем при всех обстоятельствах, могут вызвать лишь улыбку у исторически эрудированного читателя, но сами по себе факты, о которых рассказывает Донна Ракеле, проясняют некоторые лабиринты конкретных политических интриг. Именно д е т а л и, неожиданные "личностные повороты" в обрисовке политиков и событий, придают повествованию Ракеле Муссолини особенно жгучий интерес. Отношения ее мужа с Гитлером, королем Виктором-Эммануилом Третьим, с маршалом Бадольо или с Черчиллем — всё это захватывающие сюжеты. Для русского читателя, безусловно, любопытны данные о личном знакомстве Муссолини с Лениным.

Как сообщает Донна Ракеле, Муссолини, после основания им газеты "Пополо д'Италия" в 1914 году и разрыва с социалистами, встретился с Лениным в Милане. "Ленин, — пишет Донна Ракеле, — приехал из Швейцарии с тем, чтобы попытаться вернуть Муссолини в ряды Социалистической партии, однако Бенито не хотел и слышать об этом, несмотря на свою симпатию к Ленину. Они встречались прежде друг с другом в первые годы столетия, в Швейцарии, когда Муссолини работал и учился там. Я нашла Ленина весьма любезным, располагающим к себе человеком, с его маленькой бородкой и очками типичного ученого. Много лет спустя Бенито сказал: "Счастье Ленина, что он сумел умереть прежде, чем Сталин получил возможность его убить." (Стр. 36).

Книга Ракеле Муссолини читается на одном дыхании, как увлекательный детектив. Можно было бы перечислить массу любопытных описаний и сцен, интересных психологических мотиваций, весьма колоритных изображений как личной жизни Муссолини, так и его участия в общественных делах. Позволим себе воспроизвести лишь одно из заключительных — надо сказать, очень сильных — мест книги, дающих представление и о том, как

"проходит слава земная", и о том, как она возрождается иногда. Донна Рахеле вспоминает о неожиданной, но волнующей встрече:

"Это произошло в 1969 году. В одно из воскресений я обедала с группой друзей в ресторане Милано-Маритимо — небольшого адриатического курорта. За соседним столом группа мужчин веселилась, громко распевая песни, не оставлявшие сомнения в их политических склонностях: они были коммунистами. Мои друзья, зная о моем вспыльчивом характере, склонялись к тому, чтобы переменить место нашей трапезы, однако я успокоила их: стояла чудная погода, я чувствовала себя отдыхающей и не желала устраивать никаких сцен.

Мы закусывали, когда один из мужчин за соседним столом громко проговорил: "Хотя и многих мы перебили, всё же масса людей считает себя по-прежнему фашистами. Погодите немного, и вы еще увидите памятники в честь Муссолини. Время доказывает, что мы — его враги — были идиотами."

Я застыла при этих словах. Знал ли он, кто я такая? Пытался ли он вызвать скандал? В 1946 году это было бы весьма возможно, однако в 1969-ом его слова воспринимались как глупая и очень рискованная провокация. Взволнованный официант приблизился к нашим соседям и тактично объяснил им, кто я. В комнате наступило молчание; все взгляды устремились на меня; а один из сидевших за соседним столом встал и приблизился к нам.

— Вы синьора Муссолини? — спросил он.

→ Да. Ну и что же?

— Дело в том, что я — бывший партизан.

— Вот как? Какое это имеет значение? Разве вы не знаете, что война кончилась?

— Я знаю, конечно. Однако я давно хотел встретить жену Бенито Муссолини.

— Что ж, вы встретили ее. А теперь будьте любезны оставить меня в покое. Я хочу продолжить свой обед.

— О, я никоим образом не желаю досаждать вам, синьора! Напротив, я хочу просить у вас прощения. Ведь я был в свое время в 52-ой Гарибальдийской Бригаде.

— Ах, вот оно что! Вы были в числе тех, кто устроил резню, чтобы замаскировать убийства женщин и детей? И вам не стыдно за ваши дела? И вы еще можете стоять здесь, передо мной — женою Муссолини?..

Наклонившись ко мне, мужчина взял мою руку и поднес ее к своим губам. Заглядывая мне в глаза, он сказал: "Синьора, в рядах Сопротивления меня звали Биллом. Я был одним из тех, кто опознал вашего мужа в немецком грузовике в Донго, на пути к Валтелине. Я заставил его выйти, обыскал и арестовал его."

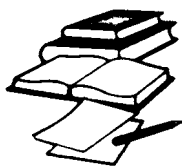
Мое сердце бешено заколотилось. Здесь, передо мной, держа мою руку, стоял человек, который подтолкнул моего мужа к первой ступени его жуткой смерти. Какой странный поворот судьбы принес мне встречу с этим человеком... Он, видимо, был очень молод в 1945 году.



Билл, вероятно, хотел облегчить свою совесть. Словно зная о некоторых моих мыслях, он продолжал: "Я спросил Муссолини, есть ли у него с собой деньги. Он взглянул на меня и ответил удивительно спокойным голосом: "Можете обыскивать — у меня ничего нет. Но в машине остался мой чемоданчик. Там тоже нет денег, но зато есть нечто, что может спасти Италию — важные документы". Синьора, я проверил, и это было правдой. Ваш муж был арестован. С того времени я не знал душевного покоя. Я всё ещё слышу его голос и вижу взгляд, которым он смотрел на меня. Синьора Муссолини, мне было тогда восемнадцать лет. Сейчас я взрослый человек, но я не могу жить, если вы не простите меня. Случай свел нас вместе. Возможно, это знак судьбы. Простите меня, синьора."

И вот, в гробовом молчании ресторанный комнаты в Милано-Маритимо, спустя двадцать четыре года после трагических событий, я перекрестила склонившегося передо мной человека и простила того, кто арестовал Бенито Муссолини за день до его казни. Какой смысл хранить ненависть? Ему было всего восемнадцать лет!.. Позднее я узнала, что руководство компартии решило услать Урбано Ладзаро, по кличке Билл, в Аргентину. Жертвы умеют прощать; победители ничего не забывают." (Стр. 283-285).

Думается, что по одной этой сцене можно судить и о характере Раке-ле Муссолини, и о книге ее, равно как и об изменившемся (в значительной степени под влиянием нынешнего кризиса итальянской демократии) отношении многих итальянцев к Бенито Муссолини. Хотя бы из-за одного этого книгу воспоминаний его жены стоит прочесть.



## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ "РУССКОЙ МЫСЛИ"

*В преддверии выхода в свет (на английском и русском языках) моей автобиографической книги "Солнце идет с Запада" одно из моих "писем в Редакцию", замолченных эмигрантской прессой, становится актуальным вторично. Ниже приводится его текст.*

В свое время на страницах "Русской Мысли" я выступал с заявлением, где отводил политические нападки на себя г-на Э.Штейна в связи с делом ВСХСОН. При всей своей неуклюжести эти нападки, однако, были всего лишь тихим аккордом на фоне того громохочья по моему адресу, которым разразилась недавно выходящая в Аргентине газета "Наша страна", обвиняющая меня во всех смертных грехах в диапазоне от литературного плагиата до "предательства" и "шпионажа". По уверениям этой газеты, я "заслан" в Канаду для шпионской деятельности, куда, "на помощь мне", была затем послана и моя жена (надо полагать, и мои дети тоже!).

Полемизировать непосредственно с таким "органом печати", как "Наша страна", я считаю ниже своего достоинства. Есть уровень грубости и глупости, опустившись до коего, сам рискуешь оказаться глупцом и хамом. Редакция "Нашей страны", видимо, рассчитывает, что детальная с ней полемика создаст ей дополнительную рекламу, а этого не следует делать. Однако я не могу не сопоставить выпады против меня "Нашей страны", где муссируются всякие слухи о деле ВСХСОН, с появлением на Западе одного из лидеров этой организации — Е.А.Вагина, который, насколько мне известно, в настоящее время находится в Западной Европе.

Я знаю о закулисной истории дела ВСХСОН и рассказываю об этом в одной из глав моей книги "Солнце идет с Запада" (она готовится к печати). В ней, как я уже заявлял несколько раз в прессе, будут освещены весьма интересные факты. Я не только не боюсь гласности в связи с делом ВСХСОН, но, напротив, добиваюсь ее. Если до сего времени я предпочитал не высказывать своих суждений об этой организации, то это объяснялось нежеланием получить упрек в том, что я "нападаю" на людей, которые находятся в СССР и не могут мне ответить. С появлением на Западе Е.А.Вагина ситуация меняется. В связи с этим я хотел бы поставить перед г-ном Вагиным через Вашу газету ряд вопросов.

1. Признает ли он, что конспиративная деятельность ВСХСОН была поставлена из рук вон плохо и что он в качестве одного из лидеров организации должен нести за это моральную ответственность?

2. Подтверждает ли он, что я наотрез отклонил сделанное мне людьми, которых он прекрасно знает, предложение вступить во ВСХСОН и,

следовательно, я не был ее участником?

3. Какую оценку он дает собственному поведению на следствии, учитывая, что на основе *его показаний* вызывались на допросы в КГБ и имели крупные неприятности многие работники Пушкинского дома в Ленинграде, где он работал до своего ареста (так же, как на основе показаний "особенно откровенного" Н.В.Иванова проводились допросы в ленинградском университете)?

4. В книге "ВСХСОН", издания 1975 года, где собраны материалы, в большинстве своем дающие апологетическую оценку людей, входивших в организацию, тем не менее, признается, что на следствии в КГБ они вели себя далеко не лучшим образом. Так, В.Осипов вынужден признать: "Отдельные ВСХСОНцы, оказавшись в тюрьме, вели себя малодушно". Правда, тут же Осипов пытается их малодушие наивно оправдать ссылками на поведение... декабристов или петрашевцев и даже... на свой собственный страх перед КГБ после ареста в 1961 году! Александр Петров-Агатов на 177 странице той же книги говорит о "всех членах" ВСХСОНа, "несколько скомпрометировавших себя на следствии". О самом Вагине В.Осипов пишет как о "сознавшемся" на следствии, говоря тут же о показаниях "остальных участников против руководителей" (стр. 118). Можно было бы привести и другие примеры в этом ключе.

А ведь в 60-е годы в КГБ к арестованным пыток и каких-либо физических методов обработки, сравнимых со сталинскими приемами, не применяли! Ссылаться на нечто сверхчеловеческое, о чем могли говорить узники сталинского времени, невозможно. Конечно, и "облегченная" тюрьма КГБ – не радость, но, кидаясь в подпольную деятельность, надо же было морально подготовиться к тому, что, в общем, переносимо, если иметь в душе стойкость и не *словесную*, а истинную христианскую мораль.

Интересно знать, как г-н Вагин оценивает в свете всего сказанного поведение свое и своих поделельников на следствии?

Таковы мои вопросы, и я подчеркиваю, что имею моральное право их задать, участвуя в антикоммунистическом движении в СССР задолго до Вагина и его друзей, столкнувшись с КГБ на более острых оборотах и выдержав гораздо больше испытаний. Когда я впервые был арестован, мне было 20 лет; я входил в подпольную организацию "Социал-прогрессивный союз", круг участников которого был количественно не меньшим, нежели у ВСХСОНа. Несмотря на предательство одного из связанных с организацией людей – Геннадия Тарасевича, который сообщил КГБ о моем участии в подпольной деятельности, я сумел повести себя так, что ни один из членов этой организации (кроме меня) не был арестован и судим, и никакого "дела СПС", например, не возникло. Конечно, сие, может быть, и хуже "для истории", поскольку об организации "Социал-прогрессивный союз" на Западе не писали, как о ВСХСОН, но явно лучше для тех людей, которые были моими товарищами по борьбе и которых я не выдал, независимо от исторических ссылок на "декабристов и петрашевцев".

Всё сказанное мною могут подтвердить многие люди, а моя книга

"Солнце идет с Запада" позволит прояснить и другие интересные моменты, в том числе и обстоятельства, связанные с организацией ВСХСОН.

Я надеюсь, что авторитет такого видного органа прессы, как газета "Русская Мысль", побудит г-на Вагина, в свою очередь, объясниться относительно поставленных мною вопросов, что было бы, на мой взгляд, полезно для общего дела русской эмиграции.

1976 г.

*Мои надежды на заинтересованность "Русской Мысли" в объективном рассмотрении обстоятельств, связанных с делом ВСХСОН, оказались необоснованными. В парижской газете предпочли спрятать мое письмо (возможно, показав его Вагину "для сведения") и поддерживать легенду о Вагине как о "герое и мученике". Любопытно, что г-н Вагин, охотно распространяющий сплетни против меня в частных разговорах, не осмеливается (до сих пор, по крайней мере) печатно выступить с обвинениями по моему адресу. А казалось бы, что проще? Если я "выдал" чекистам ВСХСОН, то чего же медлит лидер этой организации, постоянно занятый раздуванием ее мнимой "значимости" и печатающийся весьма широко?*

*Думаю, что г-н Вагин просто боится внимания общественности ко всем аспектам дела ВСХСОН, в частности, к морально-этической стороне вопроса о поведении его самого и других членов организации на следствии и суде, когда они выдавали друг друга и связанных с ними людей. Боится он и того, что в результате открытой дискуссии потускнеет бутафорский образ ВСХСОН как "первой крупной антисоветской организации", ибо она не была ни самой первой, ни самой крупной, а поведение ее членов перед лицом следствия, безусловно, ниже поведения многих других подпольщиков, оказавшихся в аналогичных условиях.*

*Только безумным снижением моральных критериев оценки, распространением расслабленно-"диссидентской" психологии антиреволюционного и кружкового всепрощенчества, можно объяснить то, что г-на Вагина и его друзей объявляют "героями". Недаром диссиденты 60-70-ых годов в большинстве своем любят подчеркивать, что они "против революции" и что их движение носит лишь "гуманитарно-правовой" характер. Они отрицательно относятся к идее организованный борьбы против советского режима. Такая психология не может не мстить за себя. Раз люди не связаны "организационными рамками", то, естественно, они могут считать себя свободными от обязательств, налагаемых этикой революционного подполья. Посему они так легко "раскалываются" на следствии, выдают других людей, а потом не менее легко "прощают" друг друга. Случай Вагина, как будто бы, иного порядка. Он входил в подпольную организацию, ставившую своей целью даже насильственное свержение советского режима (это в принципе я могу только приветствовать!), однако по своим личным качествам и Вагин, и большинство его друзей, были типичными "диссидентами", не способными к серьезной революционной деятельности.*

*Г-н Вагин прекрасно знает, что не я выдал ВСХСОН чекистам. Он вообще знает больше, чем пишет об этом. Однако он, по-видимому, боится того, что з н а ю я (и о чем я рассказываю в главе "За кулисами дела ВСХСОН" моей книги). В этом причина его нежелания вступить со мной в открытую полемику.*

*Со своей стороны, я публично заявляю, что если бы можно было организовать независимый "суд чести" или подобный ему форум для рассмотрения истинных причин краха ВСХСОН, с объективным информированием об этом русской зарубежной общественности, то я готов принять в нем участие. Вопрос: способна ли эмиграция создать такой форум и готов ли к участию в нем г-н Вагин?*

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

## ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

О р г а н и з а ц и о н н о г о К о м и т е т а  
"За Русское Национально-Демократическое Государство  
(Россия без колоний)"

Руководство ОК РНДГ/РБК уполномочено опровергнуть следующее.

За последнее время в некоторых органах печати появились материалы, намеренно или ненамеренно искажающие информацию о составе руководящего центра и о деятельности Комитета. Приведем примеры.

1. В "Обзоре зарубежной печати" журнала "Голос Зарубежья" № 14 (Составитель – В.Рудинский) и в отделе "Периодика" газеты "Русская Мысль" от 20 сентября этого года (подписано – М.Сергеев) голословно утверждается, что вторым, помимо П.Болдырева, руководителем Оргкомитета является художник И.Синявин. Это утверждение не соответствует действительности.

Делающим периодические обзоры прессы гг. В.Рудинскому и М.Сергееву должно быть известно, что еще в 9-ом майском номере журнала "Факты и Мысли" за 1979 г. было объявлено о создании вполне самостоятельной государственно-демократической группы РБК, возглавляемой П.Болдыревым. От имени и по поручению группы П.Болдырев составил и огласил "Меморандум Содружества", русский текст которого был напечатан в том же номере "Фактов и Мыслей" и в журнале "Современник" № 42. "Меморандум" четко отмежевывал государственно-демократическую группу от всех других направлений РБК.

Государственно-демократическая группа была вскоре преобразована в независимый Организационный Комитет под названием "За Русское Национально-Демократическое Государство". Этот акт также был освещен в 11-ом июльском номере "Фактов и Мыслей". В руководящее ядро нового ОК, помимо П.Болдырева, были избраны главный редактор журнала "Современник" А.Гидони и ответственный секретарь того же журнала Г.Румянцева. В состав комиссии по выработке политической программы был введен – в качестве специалиста по некоторым социально-экономическим вопросам – главный редактор журнала "Факты и Мысли" И.Гурвич.

Руководство ОК РНДГ/РБК опровергает слухи, будто в состав его членов (и тем более лидеров) входит вышеупомянутый художник Синявин; в свое время, действительно, принимавший определенное участие в создании первоначального варианта организации "Россия без Колоний". В дальнейшем, однако, к созданию и функционированию государственно-демократической группы и затем нынешнего Оргкомитета "За Русское Национально-Демократическое Государство" художник Синявин не имел ни

малейшего отношения, поскольку он продемонстрировал, что сутью его взглядов является плохо замаскированный шовинизм. О самостоятельной деятельности этого художника нам длительное время вообще ничего не известно, кроме недавних слухов, что он, будто бы, собирается возвратиться в Советский Союз. Если это действительно так, то его западная "карьер" получила поистине достойное завершение.

2. В нью-йоркской украинской газете "Свобода" от 25 октября 1979 года также появилось, вызванное, по-видимому, недоразумением неправильное информативное сообщение. Под фотографией титульного листа журнала "Факты и Мысли" сообщается, что этот журнал, якобы, является печатным органом организации русских антиимпериалистов "Россия без Колоний". Мы еще раз подчеркиваем, что 1/ ОК РБК в старом виде давно уже не существует; 2/ журнал "Факты и Мысли" не является органом вновь образованного ОК РНДГ/РБК.

На обложке "Фактов и Мыслей" черным по белому записано, что он поддерживается американской организацией 'To Free Captive Nations' и издается другой организацией 'Russian Problems'. Мы поддерживаем контакт с обеими организациями, но это не значит, что их журнал есть наш журнал.

Оргкомитет и редколлегия "Современника", действительно, имеют в лице журнала "Факты и Мысли" делового партнера. Но было бы чистейшим вымыслом утверждать, будто этот журнал – "официальный орган" ОК РНДГ/РБК.

3. В статье С.Рафальского "На пути ко второму февралю" ("НРС", 11 ноября 1979 г.), с присущей этому сомнительному борзописцу беспардонностью и слепой яростью склеротического недомыслия говорится следующее: "И только "третья волна"... прибыла с готовым... и проштудированным категорическим решением национального вопроса. Идея объединенного... государства большинству этих людей как будто никогда и на ум не приходила. *И в результате два великоросса (читай П.Болдырев и И.Синявин – курсив и примечание наши) дают свои имена Организационному комитету по изданию острорусофобского журнала (читай: "Факты и Мысли")*".

Мы не собираемся вступать в бессмысленную полемику с мало компетентными людьми, брызжащими дурно пахнувшей слюной вместо хотя бы мало-мальски вразумительных аргументов. Хочется подчеркнуть лишь наше полное удовлетворение реакцией г-на Рафальского и компании, ибо их припадочная истерия ясно показывает, что деятельность наша не пропадает зря. Нам удастся беречь уснувшую совесть даже у этих безнадежных выкидышей истории, мрачных мастодонтов русского шовинизма и империализма, давно уже закосневших в теплом бесконфликтном западном "далеке", в безопасной дали от советского ГУЛАГа, в журнальном уюте и газетном признании тупоголового и лениво ворочающего мозгами старо-

эмигрантского болота. А будить совесть и есть наша главная цель.

Вся эта эмигрантщина, конечно, мало что решает. Но поднаторела в том, чтобы досадно путаться под ногами, занимать драгоценные печатные страницы, отвлекать внимание, устраивать балаган вместо серьезного обсуждения. А зачастую эта публика прибегает к откровенно запретным приемам, смердит, юлит, визжит, как в коммунальной кухне, шельмует и дезориентирует. Необходимо устранять постепенно это реликтовое эмигрантское наследие, блокировать дурную и суетливую возню этих списавшихся эмигрантских "кумиров". Способ здесь один: выводить их шаг за шагом на чистую воду, на свежий воздух, где они сами себя компрометируют. Этим мы, в меру сил, и занимаемся.

Мы все же надеемся, что общими усилиями здоровой и чуткой к велениям времени части русского Зарубежья положение в нашей эмигрантской печати начнет изменяться к лучшему. Тогда отомрут и нынешние неуклюжие вымыслы в адрес Оргкомитета "За Русское Национально-Демократическое Государство", дав со временем место правдивой информации, спокойному и деловому обсуждению проблем.

Руководящий Центр ОК РНДГ/РБК

1979 г., ноябрь.



## Объявления

Вышли в свет очередные (с десятого по пятнадцатый) номера журнала "ФАКТЫ И МЫСЛИ" (Редактор – Иосиф ГУРВИЧ).

Журнал издается раз в месяц и освещает проблемы, волнующие эмигрантов из Советского Союза. Первоочередное внимание уделяется национальному вопросу.

Цена подписки на журнал "ФАКТЫ И МЫСЛИ":

12 месяцев – 10.00 долларов.

6 месяцев – 5 долларов 50 центов.

3 месяца – 3.00 доллара.

Цена одного номера: 1.00 доллар.

Чек и мани-ордер адресовать: **Russian Problems**  
154/156 Broome St., apt. 6c New York, NY 10002. U.S.A.

### НОВАЯ КНИГА

ВЛАДИМИР ФИЛАНДРОВ "ДЖУЛЬЕТТА ИЗ ГЕНУИ"  
Повести и рассказы

"МАХИМ" - ФРАНЦИЯ – 1979 – Большой формат – 160 стр. с илл. и предисловием автора – 33 франц. франка – Тираж ограничен.

Герои произведений тридцатидвухлетнего писателя – самые разные люди: простые сибирские рабочие, русские деревенские жители, арестованный художник, новый эмигрант-неудачник.

В Советском Союзе за свои острые и всегда бескомпромиссные рассказы и повести Владимир ФИЛАНДРОВ, ленинградский журналист, заплатил три годами лишения свободы и был вынужден после своего освобождения эмигрировать во Францию.

При заказе непосредственно у издателя – цена книги всего 28 фр. (7 долл.), включая пересылку обычной почтой. Заказы адресовать:

Mr. V.Filandrov, B.p. 50, Choisy-Le-Roi, France,

Оплачивать одновременно с заказом банковским перечислением на счет: 02420567 AG. 893 Banque Nationale de Paris, B. p. 49, Choisy-Le-Roi, France.

Книгопродавцам и распространителям – обычная скидка.

Дополнительная скидка 10 % при заказе более 5 экземпляров.

В скором времени выйдет из печати воспроизведение книги стихов МИХАИЛА АРМАЛИНСКОГО "С О С Т О Я Н И Е", вышедшей в Ленинградском Самиздате в 1975 году. Книга включает три раздела: "Внешность" – стихи о кажущемся понимании человеческой личности, "Ситуации" – стихи о странностях природы, и "Просветление" – стихи, написанные под впечатлением надежды.

## ПОД ЭГИДОЙ "СОВРЕМЕННОКА"

В связи с двадцатилетием существования журнала "Современник", исполняющимся в следующем, 1980 году, и стремясь содействовать всеческому развитию русской литературы, Редакция журнала решила осуществить издание специальной поэтической антологии "Поэзия Русского Зарубежья семидесятых годов".

Мы обращаемся ко всем поэтам, живущим ныне в эмиграции, с просьбой принять участие в антологии, должной дать представление о развитии поэзии Зарубежья за период кончающегося ныне десятилетия нашего века. Редакция "Современника" особо подчеркивает, что мы готовы дать место в антологии всем профессионально пишущим авторам, независимо от их политических или литературных убеждений, и вне зависимости от их принадлежности к той или иной эмигрантской группировке.

Предварительные условия участия в антологии:

1. Автор должен прислать на адрес редакции "Современника" не более пяти-шести стихотворений, которые представляются ему наиболее характерными или эстетически значимыми из числа написанных за период с 1970 по 1979 годы включительно. Стихи должны быть перепечатаны на машинке в соответствии с обычными правилами. Принимаются стихи, как не публиковавшиеся прежде, так и напечатанные в газетах или журналах (но не в книгах).
2. К подборке стихов должна быть приложена краткая автобиографическая справка (не более одной машинописной страницы). Желательна также фотография автора.
3. Поскольку издание антологии будет осуществлено исключительно силами издательства "Современник", не располагающего большими денежными средствами, мы не будем высылать авторских экземпляров. Каждый автор сможет выкупить экземпляр антологии (или требуемое количество экземпляров) по издательской цене. Это, хотя бы в небольшой степени, возместит расходы "Современника" по изданию книги.
4. Сроки представления материалов для антологии: с декабря 1979 г. по июль 1980 года.
5. Любые денежные пожертвования в пользу издания антологии "Поэзия Русского Зарубежья семидесятых годов" будут с благодарностью приняты и отмечены в печати.

РЕДАКЦИЯ "СОВРЕМЕННОКА"

# А Н О Н С !!!

В следующих номерах "Современника" читайте:

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. "Поэма без Предмета" (Песня Шестая).

ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН. "Расстрелянное Пятидесятилетие" (Продолжение).  
Окончания повестей АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ "Иосиф и его небратья" и  
ЛЬВА ФАБРИЦИУСА "Страсти по Майку".

Окончание статьи МИХАИЛА АРМАЛИНСКОГО "Сексуальная контрреволюция в США".

ДИМИТРИЙ ПАНИН. "Общество независимых".

ТАРАС ГУНЧАК. "Панславизм или панрусизм".

Е.ВАЛИН. "Афродита – Гесперос".

Продолжение статьи АЛЕКСАНДРА УДОДОВА "Советско-китайская война?"

Статья ВЛАДИМИРА РУДИНСКОГО "Кельтские мотивы в русской литературе".

Пьесы П.ПЕТРОВА: "Переезд" и "Саша" (Русский князь).

ФРАНЦ КАФКА. "Доклад в Академии Наук" – Перевод с немецкого  
ТАТЬЯНЫ ПРОКОПОВОЙ.

Стихи и поэтические переводы авторов "Современника"; материалы советского и западного Самиздата; письма, обращения, документы, полемические статьи.

В отделе "Библиография" будут рецензироваться журналы: "Континент", "Время и Мы", "Голос Зарубежья", "Новый Журнал", "Русское Возрождение", "Ковчег", "Эхо" и другие периодические издания.



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Содержание на английском языке . . . . .	3
Английское резюме некоторых материалов номера . . . . .	5
Обращение к читателям в связи с 20-летием журнала . . . . .	6

### *ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ.*

ЛЕВ ФАБРИЦИУС. Страсти по Майку. Повесть . . . . .	8
НИКОЛАЙ ВОЕЙКОВ. Монреальская ночь. Стихотворение . . . . .	20
АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Иосиф и его небратья. Повесть . . . . .	21
МАРИЯ ВОЛКОВА. Два стихотворения. . . . .	54
ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН. Расстрелянное Пятидесятилетие. . . . .	56
ГЕННАДИЙ ПАНИН. А к р о с т и х . . . . .	67
АЛЕКСАНДР УДОДОВ. Удивительная Швеция. О ч е р к . . . . .	68
ИВАН БУРКИН. Два стихотворения . . . . .	72
ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. Осенние стихи . . . . .	74
ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ. От Гоголя до Гегеля или "Мертвые души" в "Селе Степанчикове" Достоевского . . . . .	77
ГРИГОРИЙ РЫСКИН. Из "Дневника коммунальной квартиры". П о э м а . . . . .	86
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ. "что может быть прозрачнее" . . . . .	88
НИНА АВСЕЕНКО. Женские образы в романе Солженицына "В круге первом" . . . . .	89
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС. Стихи. Предисловие А.Гиндиной . . . . .	97
ИВАН С-КИЙ. О путях, кои не обойти . . . . .	99
С.ТОЛ. Два стихотворения. . . . .	104
КАСТУСЬ АКУЛА. Грехи "Современника" или заговор против "Современника"? . . . . .	105
А.РОСТОВСКИЙ. Два стихотворения. . . . .	111
ВАЛЕНТИ ЦУКЕРМАН. Литературная Одесса сегодня: Творчество Аркадия Львова . . . . .	112
АЛЕКСЕЙ ШЕЛЬВАХ. Два стихотворения. . . . .	118
ВЛАДИМИР СЕДУРО. Спектакль триумфального успеха . . . . .	120

### *ИСТОРИОГРАФИЯ И ФИЛОСОФИЯ.*

ПЕТР БОЛДЫРЕВ. Диктатура массы и судьба русской культуры .	131
ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ). Что же такое знание? . . . .	153
А.ГИДОНИ. Испанская Республика 1873 года в освещении русской журнальной прессы . . . . .	162
ЕВГЕНИЙ КАРМАЗИН. Лакировка израильской истории . . . . .	177

## Л и т е р а т у р н о е   Н а с л е д и е

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. Русские поэты Харбина .....	181
АЛЕКСАНДР ДЫННИК. А.С.Грибоедов .....	185
ЕКАТЕРИНА КУЛЕШОВА. О символике и развязке в сатире Салтыкова-Шедрина "История одного города" .....	190

### Ф о р у м

ДИМИТРИЙ ПАНИН. Возражения Солженицыну .....	199
КАСТУСЬ АКУЛА. Максимов размышляет .....	204
З а м е т к и   Р е д а к т о р а . О клоунаде и принципах .....	208
В.КАЛНЫНЬШ. О так называемом восстановлении советской власти в Прибалтике .....	213
АНДРЕЙ ДРУЖИНИН. Два юбилея Януса (Троцкий и Сталин) ...	220
ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ. Мнимая и реальная провокация .....	228
Из редакционной почты (М.КИСЕЛЬ, А.ВИШНЕВСКИЙ, В.МАОК, Ф.НЕСТЕРОВ, ...Ский, В.ГИНДИН) .....	232
МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ. Сексуальная контрреволюция в США ..	238
Е. КАРМАЗИН. Оглянись во гневе, "Русская Мысль,.."	247
АЛЕКСАНДР УДОДОВ. Советско-китайская война? .....	251
Х р о н и к а .....	257

### Б и б л и о г р а ф и я

Владимир Рудинский. *Книжное обозрение (Василий Белов. Воспитание по доктору Споку. Александр Галич. Генеральная репетиция. Василий Кельсиев. Галичина и Молдавия. Владимир Коржер. Крот истории. Вацлав Сольски. Палач и его хозяин. В.Ходасевич. Некрополь. )*. Игумен Геннадий. *Ф.Светов. "Отверзи ми двери..."* Евгений Кармазин. *Две рецензии (А.Московит. Метapolитика. М.Поповский. Управляемая наука)*. Кастусь Акула. *Илья Клаз. Белая Русь*. Юрий Гидони. *Дэвид Хэмфрис. Джо Кларк. Портрет*. Олег Буков. *Две рецензии (Филлис Оти. Тито. Рахеле Муссолини. Интимная биография, рассказанная его вдовой.)*. .... 258 – 280

П р и л о ж е н и е . Письмо в "Русскую Мысль" .....	281
Официальное сообщение ОК "За Русское Национально-демократическое государство" ("Россия без колоний") .....	285
Объявления. Анонс. Исправление опечаток .....	288
Оглавление на русском языке .....	291

РЕДКОЛЛЕГИЯ "СОВРЕМЕННОКА"

К.И.Акула, П.М.Болдырев, Л.Е.Гендлин, А.Г.Гидони.  
Г.А.Румянцева, У.А.Самчук, Л.Е.Фабрициус, Ю.П. Харьян.

Представители "Современника":

- в США (Нью-Йорк) – П. Болдырев **Peter M. Boldyrev.**  
**P.O. Box 243. Valley Cottage N.Y. 10989 U.S.A.**
- в США (Бостон) – Ю.Кроль  
**Y. Krol, 53 Colborne Rd., Brighton, Ma 02135 USA**
- в США (Сан-Франциско) – Е. Вертлиб **E. Vertlieb.**  
**1060 Roosevelt St. Monterey, CA 93940 U.S.A.**  
**Tel. (408) 649-3810**
- во Франции (Париж) – Е.Кармазин  
**E. Karmazin. 21 rue de Chabrol. Paris, 10. France.**
- в Канаде (Монреаль) – Ю. Борик  
**Y. Borik, 5260 Victoria Ave., Apt. 1, Montreal, Canada**
- в Израиле – Л. Гендлин  
**L.Gendlin, Tapuz 3 / 8, Kfar Saba, Israel**

-----  
ПО Д П И С Н О Й К У П О Н

Ваши Имя, Отчество и Фамилия . . . . .  
(Пожалуйста, печатными латинскими буквами!)

Ваш адрес: . . . . .  
. . . . .

Приложите Ваш чек или мани-ордер, выписанный на "Современник", и пошлите по адресу редакции: **SOVREMENNİK PO Box 2217, Station 'C'**  
Downsview, Toronto, Ont. CANADA M3N 2S9

Пожалуйста, включите посылное пожертвование в Ваш чек. Это – Ваша реальная поддержка "Современника" – независимого русского литературно-общественного журнала, хранителя и продолжателя лучших свободлюбивых традиций великой русской литературы.

My cheque is enclosed for the following amount

<input type="checkbox"/>	\$10	<input type="checkbox"/>	\$15	<input type="checkbox"/>	\$25	<input type="checkbox"/>	\$50
<input type="checkbox"/>	\$100	<input type="checkbox"/>	\$500	<input type="checkbox"/>	\$		

Ваша подпись . . . . .

## ОПЕЧАТКИ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

*В отрывке ("Римская улыбка") из романа Галины Румянцевой "Цветок станции сабвея" на стр. 46 (строка 16 снизу) следует читать: модель и т.д.*

*В статье Александра Удодова "Советско-китайская война" надо читать: в 1939 году и т.д. (строка 25 сверху, стр. 167).*

**\$10.00**

**ISSN 0038 – 5948**

**Sovremennik Publishing Association Incorporated  
P.O. Box 2217, Station 'C', Downsview, Ontario, Canada M3N 2S9**